РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

5

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ

"НАУКА"
МОСКВА-1996

СОДЕРЖАНИЕ

Г.М. Хёнигсвальд (Филадельфия). Полисемия: взгляд историка 3
А. Тимберлейк (Беркли). Вкусить от древа познания и убояться: вариативность в развитии винительного-родительного падежа (По поводу книги В.Б. Крысько. Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М., 1994. 224 с.) 7
В.Б. Крысько (Москва). Маргиналии к "Старославянскому словарю" 20
И.Г. Рузин (Москва). Возможности и пределы концептуального объяснения языковых фактов 39
А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский (Москва). Идиоматичность и идиомы 51
Х. Андерсен (Лос-Анджелес). Взгляд на славянскую прародину: доисторические изменения в экологии и культуре (I) 65
К.А. Переверзев (Харьков). Семантика каузации на фоне лексической и пропозициональной типологий 107
Б.Я. Островский (Москва). Опыт систематизации глагольных категорий (на материале языка дари) 119

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

М.М. Маковский (Москва). *А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский, М.Н. Михайлов, П.Б. Паршин, О.И. Романова.* Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике 133
В.С. Баевский (Смоленск). *Н.В. Павлович.* Язык образов: Парадигмы образов в русском поэтическом языке 140

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик, Г.А. Климов (отв. секретарь), *Т.М. Николаева, Ю.В. Откупщиков, В.В. Петров, В.М. Солнцев,* Н.И. Толстой (главный редактор), *О.Н. Трубачев* (зам. главного редактора), *А.М. Щербак*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2
Институт русского языка, редакция журнала "Вопросы языкознания"

Тел. 201-74-42

Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

© Российская академия наук,
Отделение литературы и языка РАН, 1996 г.

№ 5 1996

© 1996 г. Г.М. ХЁНИГСВАЛЬД

ПОЛИСЕМИЯ: ВЗГЛЯД ИСТОРИКА

Посвящается Генри Хижу

У компаративистов свои, достаточно своеобразные, взгляды на проблему полисемии, которые они стесняются обсуждать публично[1], возможно, исходя из убеждения, что джентльменам не пристало объяснять всем и каждому, каким образом они справляются со своей работой — до тех пор, пока они с ней не справились.

Проблема полисемии, или множественности значений слова: "Каковы представления компаративистов об этой проблеме?" Здесь уместно сделать две оговорки. Одна касается того, что речь, в соответствии с лучшей лексикографической традицией, идет о значении *слова*, а не о значении предложений или значении фрагментов текста[2]. Другая оговорка касается самого термина 'значение': существует тенденция сводить обсуждение значения слова к значению исключительно существительных, или имен объектов — предпочтительно объектов, которые можно изобразить, как в рисованном словаре (не распространяя термин на значение корней, окончаний, союзов, частиц и т.п., и тем более на значение, присущее порядку слов, интонации и — последнее, но не менее важное, — преобразованиям[3]. Это неверно. Только если поймать лингвистов или других обычных людей на слове, можно выяснить, что в слово "значение" они вкладывают более широкий, более интересный и более конкретный смысл.

1. Неструктурированная полисемия. В некоторых случаях мы рассматриваем словарный состав языка как гомогенное множество, лишенное каких бы то ни было любопытных аномалий и различий в разветвленности семантической структуры. В таком случае говорят о референтной области, к которой относятся слова или части слов. Эти референтные области описываются аналогично тому, как они представлены в словарях и энциклопедиях. Более того, в некотором смысле они соотносятся с особенностями сочетаемости языковых единиц в масштабах дискурса ("глобальное окружение")[4], хотя никто не станет утверждать, что это соотношение легко исчислить. Например, было бы неверным полагать, что правила сочетаемости для слова *oak* "дуб" соответствуют некоторому фрагменту правил сочетаемости для слова *tree* "дерево" только потому, что некоторые деревья являются дубами: слово *oak*, обладающее по сравнению со вторым словом более ограниченным референтным значением, может употребляться в контекстах, в которых слово *tree* окажется неприемлемым (например, [-]*s and other trees*... "[дуб]ы и другие деревья"). При том, что это соответствие может помочь нам заглянуть несколько дальше привычного представле-

[1] Настоящая статья первоначально была представлена в качестве доклада на симпозиуме, проводившемся в университете шт. Пенсильвания в честь проф. Г. Хижа. Мы сохраняем стиль доклада.

[2] В данной статье под термином 'слово (слова)' понимается номенклатура значащих единиц языка, которая принята у лексикографов и грамматистов и которая включает словообразовательные и грамматические морфемы, синтаксические показатели и т.п.

[3] Речь идет не о том, изменяется ли значение фразы при преобразовании, а о том, присуще ли значение самому преобразованию.

[4] Невозможность употребления слова в данном окружении признается конституирующим свойством, а не простой случайностью. — Сказанное не следует трактовать как поддержку анти-генеративистской идеологии; см. предыдущую сноску.

ния о том, что языковые единицы обладают (поддающимся измерению) звучанием и, кроме того, обладают также (качественным) значением, оно лишено глубокого смысла. Но если значение слова с трудом поддается определению, связные дискурсы можно рассматривать только как функции каждого из контекстов употребления данного слова, так что наш тезис сводится к утверждению, что слово приобретает новое значение каждый раз, когда оно употребляется в новом контексте, и, таким образом, есть основания говорить о неструктурированной полисемии, хотя эти рассуждения не очень плодотворны. Напротив: такие утверждения вызвали множество пустых спекуляций относительно того, не обладает ли данное слово 'в действительности' только одним значением, которое лишь интерпретируется каждый раз по-новому.

2. Дискретные значения. Относительно некоторых слов утверждают, что *они* обладают (а) "буквальным" и (б) "переносным" значением (как, например, слова *crown* "корона, коронка" и *bridge* "мост", которые, помимо основных значений, в стоматологии имеют переносные значения), в то время как у других слов выделяют (в) "конкретные" и (г) "абстрактные" значения, как, например, у слов *around* "кругом, вокруг; около; приблизительно (о количестве)" и *over* "наверху, над; сверх (определенного количества)"). Несомненно, есть и другие подобные дихотомии, формальные свойства которых еще менее изучены. Когда мы пытаемся описывать их в простых референциальных терминах, подыскивая геометрические и топологические соответствия и говоря о семантических "областях" или о "непрерывности" и "прерывистости" в пределах этих областей, мы еще очень далеки от понимания того, каким образом могут быть выявлены и классифицированы их формальные свойства. Тем не менее, все эти дихотомии имеют одно общее свойство: они являются абсолютными. В каждом данном дискурсе слово имеет либо прямое, либо переносное значение. Возможная неопределенность (возникающая, например, при игре слов — впрочем, в большинстве случаев игра слов основана на неопределенности, вызываемой различными значениями слов) может быть разрешена в ту или другую сторону при расширении контекста. В таких случаях нет места неопределенности или расплывчатости.

3. Откуда берутся различные значения слов? Роль архаизации. С течением времени, по мере исчезновения возможностей для употребления содержащих их дискурсов, слова могут исчезать. Строго говоря, подобную архаизацию слов неправильно называть языковым "изменением", поскольку она лишь подтверждает [истинную] природу языка, а также референтную функцию слов. Трудно найти пример более устойчивой связи, чем та, в рамках которой отсутствие означаемых (signifies) сопровождается отсутствием означающих (signifiants). Тем не менее, хотя подобная утрата лексики может являться следствием отсутствия [означаемых], она оказывает реальное влияние — самим фактом своего отсутствия — на оставшуюся часть словаря. Вновь обращаясь к нашим геометрически-топологическим параллелям, можно сказать, что утрата фрагмента периферии несущественна для целого. Но если утрачивается фрагмент центральной области, то оставшаяся часть в некотором смысле утрачивает непрерывность. Например, появление стальных ручек для письма вместо перьев привело к тому, что в немецком языке оборот типа *mit einer frisch gerupften Feder schreiben* "писать свежевыдернутым пером" стал восприниматься как устаревший. Но поскольку приспособление для письма продолжало обозначаться тем же словом *Feder*, в настоящее время это слово имеет два различных значения (настолько различных, будто они принадлежат двум разным словам — *Feder*[1] и *Feder*[2]) — 1) "перо" и 2) "ручка". Аналогичным образом, нем. *Strohhalm* имеет в настоящее время два различных значения — *Strohhalm*[1] "соломинка, сухой стебель злака" и *Strohhalm*[2] "соломинка (из искусственного материала, для напитков)"[5]. Для людей, которые пола-

[5] По аналогии с употреблением слова *Feder*, в данном случае также, вероятно, были утрачены контексты, которые были приемлемы лишь до тех пор, пока для питья использовались настоящие соломинки. Раньше это слово *Strohhalm*, несомненно, использовалось для обозначения присобления для потягивания напитков, что имело единое, нерасчлененное значение.

гают, и — что особенно важно — в чьей речи эмоции и секреции непосредственно связаны с соответствующими настроениями и, следовательно, о них можно говорить как о реальных сущностях, значения английских слов *gall*[1] "жечь" и *gall*[2] как обозначение соответствующего настроения не являются разными значениями, а различаются лишь "употреблением"[6] При изменении привычного употребления слов и устаревании фрагментов контекста их употребления подобные значения разделятся. О подобных вещах должны задумываться лексикографы, что они и делают. В любом случае, следует еще раз подчеркнуть, что референтная часть нашего рассуждения — лишь опора. Настоящая цель рассмотрения — сосуществование слов и т.п., которые, как показывают наши примеры, ex hypothesi имеют отношение к данной проблеме.

4. "Аналогия". Оформившиеся различные значения могут "по аналогии" вызвать появление других различных значений. И хотя в этом случае мы также не можем рассчитывать на полностью оформленное исчисление, формальная сторона знакомой нам четырехчастной пропорции, A : B :: C : X; X = D (где D — историческая инновация), здесь выражена более отчетливо[7]. Точно так же, как архаизация значения в центре семантической области может привести к появлению нового значения, аналогический "скачок" может вызвать цепную реакцию в семантической структуре. Таким образом, оперативным фактором в данной четырехчастной пропорции является семантическое отношение μ между A, B, с одной стороны, и C, X = D, с другой, в смысле различий между, по сути дела, любыми репрезентативными для каждого слова дискурсами. Значит, значение англ. *head*[1] соотносится со значением *head*[2] таким же образом, каким значение англ. *foot*[1] соотносится со значением *foot*[2], так что вместо прослеживания истории архаизации значения для каждого полисемантичного слова (напр., *my head*[1] *hurts*... "у меня болит голова", *head*[2] *of the mountain*... "вершина горы", а также *my foot*[1] *hurts*... "у меня болит нога"; *foot*[2] *of the mountain*... "подножие горы"), требуется только одна матрица для размещения с помощью μ четырехчастной пропорции из следующих элементов: *my head hurts*..., *head of the mounain*.... *my foot hurts*..., *foot of the mountain*. Исходя из природы вещей, часто невозможно разграничить прототипическое и аналогическое увеличение числа значений; кроме того, от этого различия мало что зависит даже в тех случаях, где его можно провести, так что о нем вообще лучше забыть[8].

5. Омонимы. После обсуждения таких сложных вещей большое облегчение — заняться чем-либо более простым. Будем кратки. Одним из достижений лингвистики XIX в. было обнаружение фонетических изменений, которые можно определить в чисто фонологических терминах — без необходимости приводить списки слов или других языковых единиц. Эти изменения были названы "звуковыми соответствиями"[9]. Пара звуковых соответствий может иметь вид $a > m$, $b > m$; другими словами, они могут сходиться и образовывать омонимы. Омонимия — это случайная, неструктурированная полисемия. Англ. *swallow*[1] "ласточка" (< *h*) и *swallow*[2] "глоток" (< *g*) семан-

---

[6] См. конец разд. 1. — В данном анализе мы исключаем из рассмотрения более сложный случай, когда одно слово заменяется другим лишь в части своих семантических связей, а также изменения, которые претерпевает при этом семантическая структура.

[7] Термину "аналогия" в данном случае придается техническое значение.

[8] Чтобы добавить в наши рассуждения исторических красок, следует считать, что в тех случаях, когда экстралингвистические условия (выход из употребления гусиных перьев или натуральных губок для мытья) неизвестны, имеет место аналогическое изменение — допущение, которое вряд ли имеет познавательную ценность. Хронология первых фиксаций слов в текстах, по данным словарей, тоже вряд ли будет здесь полезна. — Только в двуязычных словарях возникновение полисемии иногда обосновывается как результат перевода с одного языка на другой. Для наших целей это, конечно, неважно. С другой стороны, для истории языка заимствование через перевод не является чем-то необычным, равно как и параллельное развитие более чем в одном языке. Например, не только в немецком, но и в других языках слово со значением 'соломинка' (нем . Strohhalm) имеет два значения.

[9] Звуковые чередования по определению регулярны и не допускают исключений.

тически не связаны друг с другом в том смысле, что контексты их употребления существенно[10] не пересекаются и не образуют какую-либо аналогическую матрицу.

6. Вот каковы типы полисемии, с которыми сталкиваются компаративисты:

(1) Нерасчлененная область значений, при которой полисемия проявляется в виде ситуативных употреблений слова ("сколько контекстов — столько значений"), как в случае с нем. *Feder* до того как гусиные перья в качестве инструмента для письма вышли из употребления.

(2) Различные полисемантичные слова, возникшие в результате архаизации или аналогических изменений, и, несмотря на системный характер различий между их значениями, сохранившиеся в языке в первоначальном виде — как в случае с нем. *Feder*^{1} и *Feder*^{2}.

(3) Омонимы, или слова (= множество омонимичных слов) с семантически несвязанными значениями, возникшие в результате фонетических изменений.

Перевод с английского *О.И. Романовой*

[10] Т.е. способом, близким к наложению.

№ 5 1996

© 1996 г. А. ТИМБЕРЛЕЙК

ВКУСИТЬ ОТ ДРЕВА ПОЗНАНИЯ И УБОЯТЬСЯ: ВАРИАТИВНОСТЬ В РАЗВИТИИ ВИНИТЕЛЬНОГО—РОДИТЕЛЬНОГО ПАДЕЖА

(По поводу книги В.Б. Крысько. Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М., 1994. 224 с.)

Нельзя не поразиться этому монументальному исследованию. Нельзя не поразиться тому факту, что оно появилось только теперь, на нынешнем продвинутом этапе научного развития (как случилось, что оно не было написано десять лет назад или пятьдесят?). Нельзя не поразиться громадному объему собранного и проанализированного материала, изощренности и строгости анализа. Нельзя не поразиться, наконец, и методологическим постулатам этого исследования.

Излагаемая обычно в различных пособиях точка зрения на развитие винительного—родительного (В = Р, если пользоваться удобным сокращением Крысько) в восточнославянском состоит приблизительно в следующем. К тому времени, когда образуется достаточный корпус письменных источников, документирующих восточнославянский, употребление родительного в качестве винительного у существительных ед.ч. м.рода *о*-основ, выступающих в функции прямого объекта и обозначающих (взрослые) человеческие существа, преобладает, хотя и не является вполне последовательным. В = Р употребляется менее регулярно, если ситуация осложняется одним из следующих обстоятельств: существительное обозначает не взрослого человека или не человека вообще; существительное не относится к *о*-склонению; существительное употреблено в предложной конструкции. Со временем В = Р распространяется на все одушевленные существительные ед.ч. м.рода (кроме существительных от **а*-основ). В процессе распространения В = Р употребляется более последовательно с именами, обозначающими лиц, нежели животных, с индивидуальными обозначениями лиц, нежели с обобщенными, и т.д. Позднее, когда утрачивается различие между именительным и винительным у существительных м.рода во мн.числе, В = Р развивается и во мн.числе, у имен м.рода ранее, чем и имен ж. (и ср.) рода, и опять же в зависимости от характера референции, присущего имени в определенном контексте. Развитие тех же явлений у местоимений, приходящееся приблизительно на тот же хронологический отрезок, идет в основном параллельно, хотя зависит от иных параметров, чем у существительных[1]. С каждым категориальным контекстом можно соотнести определенный период, продолжительностью приблизительно в столетие или несколько более, в который в основном происходит данное изменение.

---

[1] Изменения у местоимений тесно связаны с их энклитическим или неэнклитическим характером, как это хорошо известно для местоимений первого и второго лица (клитика **мѧ** — ортотоническое *мене*). Для третьего лица, которому было посвящено исследование Э. Кленин [Klenin, 1983], статус энклитики также является решающим фактором. В Повести временных лет [1962] настоящий вин.ед. м.рода и употребляется только, когда местоимение непосредственно следует за глаголом и по всей видимости является энклитическим (**единъ ею извлекъ мечь проньзе и къ срⷣцю** ⟨6523 г., I, 46⟩) или (редко) когда местоимение стоит во второй позиции во фразе и присоединяется в качестве клитики к первому слову или к другой клитике (**како бы и погꙋбити** ⟨6523 г., I, 45 об⟩). **Єго**, напротив, встречается в неэнклитической позиции (**кго же любѧше повелику Борисъ** ⟨6523 г., I, 46⟩; **не ѣзъ кго слѣпилъ но Дⷣдъ** ⟨6605 г., I, 88об⟩).

Рассматриваемое исследование не ограничивается лишь развитием традиционной концепции и заполнением существующих лакун. Оно бросает прямой вызов всей совокупности стереотипов, относящихся к развитию винительного—родительного. К числу отдельных мифов, на которые нападает исследователь, относятся следующие.

— Что имелись существенные различия, обусловленные типом основы. Автор доказывает, напротив, что В = Р у **i*-основ возникает не позднее, чем у **o*-основ. Равным образом, когда позднее В = Р развивается у существительных м.рода во мн.числе, это с одинаковой скоростью происходит и для **a*-основ и для **o*-основ [Крысько 1994: 75, 111, 115]. Род, однако же, остается в числе факторов, влияющих на изменение: В = Р развивается раньше в м.роде, нежели в женском [Там же: 116].

— Что развитие В = Р зависит от социального статуса лица, обозначаемого существительным [Там же: 28—35].

— Что В = Р появляется ранее у существительных, обозначающих лицо, нежели у существительных, обозначающих животных. Автор, напротив, утверждает, что процесс перехода к В = Р начинается у названий животных не позднее, чем у названий лиц: "Как мы убедились, названия животных в ед.ч. с самого начала письменного периода обнаруживают принадлежность к классу одушевленных имен..." [Там же: 113; ср. еще с. 47 и сл.]. Во мн.числе переход к В = Р у имен, обозначающих животных, начинается, по мнению автора, в XIII в. [Там же: 113], вскоре после начала того же процесса у имен, обозначающих лиц. Для объяснения хорошо известных примеров того, как В = И у имен, обозначающих животных, появляется в течение столетий после древнейшего периода, предлагается считать, что полное обобщение В = Р (в отличие от начала этого процесса) было задержано рядом вторичных процессов [Там же: 19]. Сверх того утверждается, что метафорическая персонификация не имеет никакого отношения к развитию В = Р [Там же: 55].

— Что возвратное притяжательное прилагательное свои задерживает развитие В = Р [Там же: 12 и сл.].

— Что совпадение им.мн. и вин.мн. у существительных м.рода и связанное с ним развитие В = Р происходит в XIV в. В.Б. Крысько полагает, напротив, что совпадение имело место уже в XI (или XII) в. [Там же: 104], тогда как начало перехода к В = Р относится к XII (или XIII) столетию. [Там же: 104, 111, 115].

Эти атаки кажутся почти что пощечиной ученому вкусу: как могли поколения исследователей заблуждаться столь решительно? В определенном смысле различия в датировках представляются, однако, менее существенными, чем могло бы показаться. Предшествующие исследователи исходили из молчаливого допущения, согласно которому письменный и устный языки переживают одни и те же постепеные изменения; изменение сначала происходит в устном языке, а затем, с некоторой задержкой, — в письменном. Датировки, дающиеся в учебных пособиях, относятся ко времени, когда изменение можно наблюдать в полном объеме. Автора же разбираемого исследования интересует "первый не вызывающий сомнений пример", который может рассматриваться как прямое отражение спонтанного устного употребления. Ср. еще: "Приведенные выше датировки развития В = Р во мн.ч. исходят из первых фиксаций соответствующих форм в письменности, т.е. ориентируются на распространение этих инноваций в народно-разговорном языке" [Там же: 118].

До некоторой степени, таким образом, речь идет о том, какой ставится вопрос: когда изменение в основном произошло (традиционная постановка) или к какому времени относится первая фиксация (вопрос Крысько). Проблема в том, как поступать с ответами. Например, в древнейших восточнославянских текстах В = Р отмечается как у существительных, обозначающих животных, так и, естественно, у существительных, обозначающих лиц. Если мы пользуемся критерием первой фиксации, нужно сделать вывод, что В = Р у имен одушевленных появляется столь же рано, как и у имен личных. Это заключение отличается от общепринятого, основывающегося на том,

что, поскольку В = Р менее последовательно встречается у неличных одушевленных существительных, он представляет более позднее явление. Таким образом различия в формулировке вопроса о датировке могут обусловить существенно разные ответы.

На каждом шагу автор заостряет полемику, цитируя и опровергая традиционные мнения. Его риторическая установка ниспровергателя авторитетов не только придает живость и остроту дискуссии, но служит и еще двум целям. Первая из них (она будет подробно разобрана ниже) — демифологизировать священный постулат о том, что анализируемые изменения были постепенными и зависимыми от семантики. Вторая, связанная с первой, — предложить новую гипотезу происхождения категории одушевленности и ее формального выражения, состоящего в употреблении формы родительного в функции винительного. Представляется удобным рассмотреть эти две основные цели в обратном порядке.

Большинство гипотез о генезисе В = Р, за исключением некоторых старых предположений о том, что В = Р у существительных возникает из-за изначального синкретизма родительного и винительного у тех или иных местоимений (**kogo* или винительного-родительного **mene, *tebe* у Мейе), опираются на три идеи. Во-первых, то, что по форме выглядит как родительный, в синтаксическом плане является винительным[2]. Во-вторых, употребление родительного в каком-то классе существительных предполагает, что в нем имеет место синкретизм именительного и винительного для данного числа и типа парадигмы. В-третьих, употребление В = Р является производным от синтаксической функции генетива как падежа объекта. Обычно предполагается, что при одушевленном объекте возникала опасность смешения субъекта и объекта и именно устрашающий призрак этого смешения обусловил возникновение В = Р. Опасность смешения, однако, могла быть куда менее очевидной и угрожающей, чем обычно считается, а мотивация В = Р могла быть более абстрактной. Естественно думать, что при типичном переходном действии субъект является более одушевленным, чем объект [Silverstein 1977; Hopper, Thompson 1980]. В силу этого язык будет использовать все те средства, которые ему доступны, чтобы снабдить объекты, являющиеся одушевленными (или определенными, индивидуализованными, местоименными — в зависимости от языка) таким морфологическим показателем, который отличался бы от показателя субъектов действия[3]. С этой точки зрения В = Р в славянских языках представляет собой один из многих возможных механизмов, подобных, например, появлению в испанском употребления выражающего направленность предлога *a*, который служит морфологическим показателем одушевленного (определенного, местоименного) объекта[4].

Вне зависимости от того, искалась ли мотивация в опасности смешения или в более абстрактном понятии маркировки одушевленных существительных в функции объекта, трудность всегда заключалась в определении механизма: каким образом первоначальный синтаксический родительный превратился в — морфологически-винительный, способный быть показателем одушевленности? В исследованиях, появившихся на рубеже столетий, источник искали в той или иной специфической конструкции с родительным падежом[5]. Сложность состоит в том, как обнаружить сходство между одушевленностью и любой из специфических функций родительного, например, партитива; никакой общности в таких случаях не наблюдается[6]. Источником могли бы быть конструкции с глаголами восприятия, если бы соблюдалось

---

[2] "Au point de vue de la syntaxe, ces prétendus, génitifs sont des accusatifs; et il n'a pas confusion de deux cas, mais, ce qui est tout autre chose, de deux formes casuelles; le fait est purement morphologique" [Meillet 1897: 24].

[3] Многочисленные примеры приводятся в работе Томсона [Томсон 1909].

[4] В испанской лингвистической традиции отчетливо указывается на тот факт, что употребление *a*, противопоставленное отсутствию этого предлога, зависит не только от одушевленности в узком смысле этого термина, но и от типа референции. А. Белло пишет одновременно о "personalidad y determinación" [Bello 1981, § 889].

[5] Многочисленные примеры можно найти у Томсона [Томсон 1909].

[6] Томсон дает обзор различных возможностей [Томсон 1908б].

правило, по которому винительный употреблялся бы для обозначения воспринимаемого предмета, а родительный — для обозначения лица; однако отнюдь не очевидно, что глаголы восприятия следовали подобной модели управления [Meillet 1897: 157]. Томсон предположил, что *сынъ видитъ отьца* восходит к употреблению родительного падежа в интенциональных предикатах типа *он ищет шляпы*, но его объяснение никак эту связь не проясняет: "Правда, его [родительного падежа] значение несколько отличалось от значения вин.п., но в известных случаях эти падежи были бы сходны по значению" [Томсон 1908а: 245]. В = Р развивается прежде всего у индивидуализованных наименований: "Всякая новая форма вин.пад., отличная от именительного, должна возникнуть прежде всего при названиях лиц с конкретным индивидуально определенным значением" [Томсон 1909: 59]. Это, однако же, как раз те существительные, которые первыми перестают употребляться в родительном падеже, когда управление глагола меняется с родительного на винительный (как у глаголов *ждать*, *искать* и под. в современном русском языке). Факторы, содействующие появлению В = Р, представляются в этом случае прямо противоположными тем, которые способствуют генетивному управлению [Klenin 1983: 108]. Томсон оказывается вынужденным признать, что "потребность в форме преодолевает известное различие в значении" [Томсон 1909: 70].

Отдавая себе отчет в этом парадоксе, Э. Кленин выдвинула гипотезу, согласно которой В = Р восходит не к какой-либо определенной функции родительного, а возникает по мере того, как вообще употребление родительного дополнения ограничивается в пользу винительного. "Судьба утраченных форм родительного падежа состояла в том, что они были морфологически переосмыслены как формы родительного-винительного; источником родительного-винительного была морфологическая реинтерпретация родительного дополнения" [Klenin 1983: 104]. Если дело обстояло таким образом, мы должны были бы наблюдать постепенное изменение управления у ряда глаголов, при котором старый синтаксический родительный от неодушевленных существительных уступал бы место винительному, но сохранялся бы у одушевленных существительных. В действительности, однако, трудно выделить обширную группу глаголов, которым была бы свойственна существенная вариативность в управлении родительным и винительным падежом[7]. Реально мы можем отметить лишь постепенное расширение употребления форм родительного падежа от одушевленных существительных, выступающих как дополнение при глаголах, управляющих винительным падежом.

Возможно, именно трудности в установлении связи между родительным падежом и одушевленностью побудили автора рассматриваемой работы предложить новую интерпретацию. Построение этой новой гипотезы осуществляется в несколько этапов.

Сначала Крысько отмечает, что некоторые существительные ср.рода, такие, как им., вин. **podon* > **podъ*, совпадают по форме с существительными м.рода от *o*-основ в вин. падеже (**braton* > **bratъ*), а в конечном счете также и в им.падеже (**bratos* > > **bratъ*). (Безразлично при этом, как именительный совпал с винительным — в результате аналогического выравнивания номинатива по аккузативу, особой фонологической редукции конечного **-os* до **-ъ*, или по аналогии с *u*-основами.) Однако "[и]менно с позиции с и с т е м ы объединение ИП и ВП, отождествившее masculina T neutra, должно было представляться неприемлемым" [Крысько 1994: 160].

---

[7] Хотя В.Б. Крысько приходит к выводу, что "практически любой глагол, управляющий ВП объекта мог спорадически сочетаться с объектным РП и наоборот" [Крысько 1994: 166], двумя страницами ранее он пишет о трех классах глаголов, различающихся тем, что им в разной степени свойственна вариативность этого рода. Третий класс, состоящий из глаголов, "для которых и аккузативное, и генетивное управление являлись одинаково частотными", "включает прежде всего глаголы физического восприятия" [Крысько 1994: 164]. Таким образом, оказывается, что всего несколько глаголов — относящихся при этом к весьма специфическому семантическому типу — характеризуются действительно свободной вариацией генетивного и аккузативного управлений.

Далее, в поисках механизма, который мог бы предотвратить неприемлемое и неотвратимое смешение муж. и ср.рода, Крысько обращается к генетивному управлению, на котором сосредоточивались и все другие интерпретации. Камнем преткновения для этих интерпретаций был, как уже говорилось, тот факт, что генетивному управлению у глаголов благоприятствовали такие параметры, как неодушевленность, неопределенность, обозначение несчетных предметов, т.е. как раз противоположные тем, которые способствуют появлению В = Р. Избегая этой проблемы, автор утверждает, что вариативность винительного и родительного вовсе не обусловлена факторами такого рода. Вместо этого он, приводя ряд заставляющих задуматься, но тем не менее не слишком многочисленных примеров форм родительного, употребленных при глаголах, которые обычно не рассматриваются как управляющие родительным падежом, высказывает следующее предположение: "По-видимому, не будет преувеличением утверждать, что практически любой глагол, управляющий ВП объекта, мог спорадически сочетаться с объектным РП и наоборот" [Крысько 1994: 166]. Затем, основываясь на этих спорадических примерах, автор совершает логический скачок и утверждает, что между винительным и родительным имеет место свободная вариация[8].

В условиях полностью свободной вариации и тенденции избавиться от генетивного управления родительный от одушевленных существительных был переосмыслен как синтаксический винительный: синтаксические варианты типа {*имамь отьць*$_{\langle\text{винительный}\rangle}$ ~ *имамь отьца*$_{\langle\text{родительный}\rangle}$} превращаются в морфологические варианты типа {*имамь отьць*$_{\langle\text{винительный [= именительный]}\rangle}$ ~ *имамь отьца*$_{\langle\text{винительный [= родительный]}\rangle}$}. Формы неодушевленных существительных переосмыслению не подвергаются, и поначалу отношение {*имамь столъ*$_{\langle\text{винительный}\rangle}$ ~ *имамь стола*$_{\langle\text{родительный}\rangle}$} сохраняется в неприкосновенности. Изменения, произошедшие на этом этапе, вызывают "нежелательную синтаксическую омонимию В = Р типа *отьца* и РП типа *стола*". Эта омонимия, предположительно, требовала разрешения, которое и было достигнуто обобщением форм В = Р для одушевленных ({*имамь отьца*$_{\langle\text{винительный [= родительный]}\rangle}$}) и постепенной утратой формы родительного у неодушевленных ({*имамь стола*$_{\langle\text{родительный}\rangle}$}).

Это построение, состоящее из многих звеньев, трудно оценить в целом. Дважды обоснованием служит неприемлемая омонимия, выступающая как мотивирующий изменение фактор (один раз омонимия между **podъ* и **bratъ*, другой раз омонимия в парадигме {*имамь отьць ~ отьца ~ столъ ~ стола*}). Поскольку, как мы знаем, слияния происходят в языках постоянно, остается лишь недоумевать, почему именно эти случаи омонимии оказались столь неприемлемы.

Возникает и еще одна принципиальная проблема. Предлагаемая гипотеза опирается на реконструкцию такого состояния языка, которое не находит аналогии в языках, доступных нашему наблюдению; этому состоянию свойственна полностью свободная вариация между синтаксическими вариантами. Опираясь на подобную картину лингвистической праистории, предлагаемая реконструкция превращается в нечто в роде основного мифа, в котором видимый в настоящее время мир объясняется как результат теперь уже недоступного для наблюдения процесса создания порядка из первобытного недифференцированного хаоса. В мифе, с которым мы имеем дело, винительный и родительный наконец стали различаться, выкристаллизовавшись из темной массы свободной вариации — совершенно так же, как тьма и свет в самом

---

[8] В начале своей книги Крысько критикует другого исследователя за то, что тот подходит с излишней осторожностью к интерпретации отдельных форм родительного как примеров В = Р, поскольку "ни один из этих глаголов не обнаруживает в древнерусских памятниках сколько-нибудь регулярной сочетаемости с РП" [Крысько 1994: 17]. В другом случае [Там же: 107] автор, стремясь доказать, что ряд примеров с формами родительного мн.числа при глаголе *избити* является на самом деле реализацией В = Р, настаивает на том, что этот глагол управляет только аккузативом. Оба утверждения плохо согласуются с высказанным убеждением, что в какой-то период родительный и винительный находились в отношениях абсолютно свободной вариации.

знаменитом из всех мифе о сотворении мира: "Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною ⟨...⟩ И сказал Бог: да будет свет. И стал свет ⟨...⟩ и отделил Бог свет от тьмы".

Одной из основных целей рассматриваемого исследования была новая интерпретация происхождения В = Р. Однако у работы Крысько имелась и другая цель, состоявшая не только в том, чтобы опровергнуть традиционные частные постулаты, касающиеся развития одушевленности, но и поставить под сомнение основополагающее понимание развития одушевленности как постепенного процесса. Во всех тех случаях, когда наблюдается вариативность, зависящая от того или иного фактора, Крысько показывает, что этот фактор не может сам по себе объяснить все случаи употребления каждого из вариантов[9]. Это, конечно же, вполне естественно. Вариативность всегда обнаруживает множество переменных: факторы регистра речи и социолингвистические параметры, равно как и факторы системные (лексическая семантика существительных и глаголов и — шире — смысл словосочетания в тексте). Изменение, рассматриваемое во времени, представляет собой процесс длительный, постепенный и нарастающий по многим переменным; его общие параметры остаются теми же, тогда как детали меняются[10]. Вариативность не может быть описана при помощи одной "строгой закономерности"; в ином случае никогда не было бы ни содержательной вариативности, ни самих изменений.

Мы должны быть удовлетворены, если нам удастся выделить какие-то закономерности, хотя бы частичные, которые уменьшают видимый хаос вариативности. Рассмотрим в качестве примера употребление В = Р у существительных м.рода во мн.числе. В "Повести временны́х лет" можно обнаружить несколько таких примеров. В одном из них употреблено словосочетание **созвати болѧре**, представляющее собой "классический пример" [Крысько 1994: 110]:

> **наоутриѧ же Ст҃ополкъ созва болѧръ и Кыꙗнъ и повѣда имъ еже бѣ ему повѣдалъ Дв҃дъ ꙗко братъ ти убилъ а на тѧ свѣчалсѧ с Володимеромъ и хотѧть тѧ оубити** ⟨6605 г., I, 87об⟩

Этот пример может быть не вполне достоверным, поскольку В = Р употреблен только в тексте Лаврентьевской летописи. В любом случае остается вопрос, почему писец — более ранний или более поздний — воспринял этот контекст иначе, чем контекст других шести примеров данного словосочетания, в которых употребляется В = И.

Обычно словосочетание **созвати болѧре** появляется в сообщениях о действии, целью которого было создание определенной ситуации, а именно ситуации диалога, в которой правитель просит совета, а **болѧре** его дают:

> **и с°зва ц҃рь болѧре своꙗ въ полату, и реч имъ: што ств°римъ ꙗко не можемъ противу ему стати и рѣша ему болѧре посли к нему дары** ⟨6605 г., I, 87об⟩

Люди, которых созвал византийский император, не рассматриваются как отдельные индивиды, но как все те, кто удовлетворяет формуле; это та группа, которая должна быть собрана, чтобы дать совет. В этих случаях, следовательно, существительное

---

[9] См., например [Крысько 1994: 68]: "Отсутствие строгих закономерностей в сочетаемости различных глагольных форм с В = Р, как и с В = И, доказывает нерелевантность морфологических признаков глагола для управляемого им существительного". Хотя в данном примере вывод представляется правильным, остается вопрос, во всех ли случаях можно игнорировать факторы, которые не реализуются в "строгой закономерности". В другом месте исследования [Крысько 1994: 65], рассматривая существительные, обозначающие животных [Крысько 1994: 65], автор сначала допускает, что "в некоторых случаях варьирование В = И и В = Р действительно может быть объяснено различием между неопределенным (неизвестным, впервые упоминаемым) и определенным (известным) объектом", однако затем, показав, что данный фактор не покрывает всех примеров, делает вывод, согласно которому "семантико-грамматические свойства нелично-одушевленных существительных не играли принципиальной роли в утверждении В = Р".

[10] В качестве примера изменения, условия которого не остаются постоянными во все время его протекания (параметры, обусловливающие обобщение окончаний в косвенных падежах мн.числа), см. [Живов 1993].

представляет собой органический или внутренний для данного действия объект; сочетание глагола и имени создает целокупную картину. То же самое наблюдаем в предложении:

Созва Володимеръ болѧры своѧ и старци градьскиѣ и реⷱ имъ сѣ приходиша ко мнѣ Болгаре рѣкуще [...] Да что ѹма придасте? что ѿвѣщаетѣ ⟨6495 г., I, 36об⟩.

В нем сообщается, что Владимир создал ситуацию диалога со своими советниками.

Когда же **Ст҃ополкъ созва болѧръ и Кыянъ**, его целью было не попросить у них совета, но внушить народу свою обманную версию событий. Иными словами, его целью было не создать ситуацию (противопоставленную отсутствию такой ситуации), участниками которой были бы лица, удовлетворяющие формуле и действующие именно в этом качестве (что соответствовало бы употреблению В = И), но оказать вполне определенное воздействие, создающее одно из ряда возможных состояний, на индивидов, участие которых не вытекает автоматически из описываемого события (как это и должно быть при В = Р). В силу тех же причин и другие примеры относительно раннего употребления В = Р от существительных м.рода во мн.числе, которые приводит Крысько, тяготеют к семантически ограниченной группе глаголов — либо к глаголам перемещения (*съгонити*), либо к глаголам насильственного изменения состояния (*избити*) [Крысько 1994: 106—107]. Оба эти типа глаголов сообщают, как правило, о результатах воздействия на уже существующее множество предметов или лиц, а не о создании ситуации. Эти факты соответствуют более общей закономерности, по которой, когда В = И и В = Р находятся в отношении вариативности, различие между ними касается типа описываемой ситуации; если описывается ситуация, участники которой определены формулой, вытекающей из природы события, употребляется В = И, если же речь идет о специфическом действии в отношении независимо определяемых индивидов, появляет В = Р.

Представляется целесообразным рассмотреть два относительно обширных корпуса текстов (см. [Timberlake 1966a]).

В "Повести временных лет" употребление В = Р у существительных *о*-основ м.рода ед.числа уже является доминирующим. В таблице 1 приводятся статистические данные для четырех существительных, обозначающих лиц, в пяти контекстах, которые в дальнейшем обсуждаются более подробно.

Начнем с последнего, пятого, контекста. Когда существительное является частью предикативной конструкции, либо как именная часть сказуемого (**поставлю ѹношю кнѧзѧ имъ** ⟨6523 г., I, 38⟩), либо как скрытый субъект предиката (**Заѹтра же видѣша людье кнѧзѧ бѣжавша** ⟨6577 г., I, 58об⟩), употребляется В = Р. В четвертом контексте, когда существительное стоит в аппозизии к имени собственному, старый В = И не употребляется почти никогда (обычно: **шедше ѹбиите**

Таблица 1

Формы вин.ед. от отдельных существительных в "Повести временных лет"

Существительное	СЫНЪ		КНЯЗЬ		БРАТЪ		МУЖЬ		Всего	
Контекст	В = Р	В = И	В = Р	В = И	В = Р	В = И	В = Р	В = И	В = Р	В = И
1) князь	3	1	4	1	6	0	3	1	16	3
2) князь свои	4	2	2	1	8	1	1	4	15	8
3) князь нашь	2	1	3	0	4	1	3	0	12	2
4) князь Изяславъ	14	1	1	0	6	0	0	0	21	1
5) князь бѣжавъ	0	0	6	0	0	0	0	0	6	0
Всего	23	5	16	2	24	2	7	5	70	14

брата моѥго Бориса ⟨6523 г., I, 45об⟩). В третьем контексте, когда у существительного имеется определение, выраженное притяжательным, отличным от *свои*, В = И встречается лишь в редких случаях (обычно: **въ градѣ идеже оубисте мужа моего** ⟨6453 г., I, 16⟩). Почти столь же редко употребляется В = И и в третьем контексте, когда существительное выступает без всякого определяющего его прилагательного (обычно: **вѣдѣху ꙗко сами убили кнѧзѧ** ⟨6454 г., I, 16⟩).

С заметной частотой старый В = И появляется лишь во втором контексте, когда существительное имеет в качестве определения возвратное притяжательное прилагательное *свои*. Как видно из таблицы 1, В = И у имен, имеющих в качестве определения *свои* (8 примеров из 23, т.е. 35%), встречается в три раза чаще, чем В = И в четырех других контекстах вместе взятых (6 примеров из 61, т.е. 10%). Различие в числах указывает, что наличие возвратного притяжательного прилагательного имеет по крайней мере статистический эффект[11].

Ранее предполагалось, что *свои* способствует сохранению старого В = И, поскольку, выступая в качестве определения при объекте, оно уничтожает потенциальную омонимию между субъектом и объектом [Томсон 1908b: 239]. Крысько, указывая, что антицедентом *свои* отнюдь не всегда является субъект высказывания, делает из этого вывод, что употребление *свои* не может быть релевантным фактором [Крысько 1994: 14—15]. Однако воздействие данного местоимения вполне может быть вызвано другими причинами. *Свои* благоприятствуют (хотя и не требует непременно) формульной интерпретации существительного: определяемое им имя относится к любому, кто находится в заданном отношении к субъекту[12]. Формульная интерпретация существительного соотносится с употреблением В = И (**ѿтуда поиде внизъ и взѧ Любець и посади мужь своⷨ** ⟨6390 г., I, 8⟩: *X* дал место *У*, где *У* относится к числу лиц, являющихся чиновниками *X*)[13]. Без атрибута *свои* существительное скорее может быть понято как относящееся к лицу, идентифицируемому независимо от контекста, и в этом случае уместен В = Р (**идеже оубисте мужа моего**: что касается *X*, который был моим мужем, вы убили *X*).

Выбор падежной формы соотносится, в конечном счете, не только с типом референции существительного, но и со смыслом сочетания глагола и имени, т.е. со смыслом всего высказывания. Сохранению старого В = И способствует экзистенциальный контекст, который предполагает соответствующую интерпретацию существительного как формульного. Это может быть проиллюстрировано примерами, которые приводит Крысько, показывая, что в Успенском сборнике имеются неожиданные случаи старого В = И от слова *богъ* [Крысько 1994: 26]. В этих примерах находим, в частности, глагол *имати*, который представляет собой основной переходный экзистенциальный глагол. Ср. экзистенциальный смысл фразы **разоумѣхъ ꙗко бъ҃ великъ имаши** ⟨83б⟩ (ты имеешь в твоем владении такой *X*, что *X* есть могучий бог) с неэкзистенциальным

---

[11] В четырех из шести примеров словосочетания созвати **болѧре** с В = И существительное имеет в качестве атрибута возвратное притяжательное прилагательное *свои*, которое подчеркивает то обстоятельство, что данное существительное интерпретируется как наименование лица по той роли, которую оно играет.

[12] Семантическая функция аналогична здесь той, которую Пешковский [Пешковский 1956: 162] выделяет в минимальной паре, взятой им из монолога Годунова в сцене в царских палатах. В предложении *В семье моей я мнил найти отраду / Я дочь мою мнил осчастливить браком* невозвратное притяжательное местоимение соответствует действию, относящемуся к конкретному лицу: что касается *У*, которая является моей дочерью, я хотел устроить брак для *У*. В предложении *Кто ни умрет, я всех убийца тайный: / ⟨...⟩ / Я отравил свою сестру царицу*, возвратное местоимение соответствует тому, что лицо, бывшее объектом действия, определяется его отношением к субъекту действия: *X* убил *У*, *У* является сестрой *X*. Именно в силу этого отношения преступление, приписываемое Годунову, оказывается особенно отвратительным.

[13] Кратко этот вопрос рассмотрен в работе [Frink 1962]. Крысько трактует это значение в слове *мужь* как лексикализованное [Крысько 1994: 33].

смыслом фразы **блаженаꙗ' і же дьржащи въ роуцѣ вѣітвь маслиньноу приде і въ градъ блгословлащи ба** ⟨там же⟩ (что касается *X*, где *X* есть конкретный бог, некоторое действие распространяется на *X*) [Князевская и др., 1971].

Значима и модальность высказывания[14]. Так, форма В = Р от существительного *сынъ* ожидается, когда имеется в виду событие в прошлом и в силу этого лицо, о котором идет речь, обычно отождествлено независимым от самого данного высказывания: **и кназа ихъ убиша Туторкана и сна его** ⟨6604 г., I, 77⟩. В = И появляется в словосочетании *сынъ свои* в модальном распределительном контексте: **радъ имѣлъ ꙗко Новугороду быти Стополчю и посадити снъ свои в немь и Володимеру посадити снъ свои в Володимери** ⟨6610 г., I, 93⟩. В этом высказывании сыновья рассматриваются не как единственное в своем роде лицо, а как переменные (для каждого *X*, где *X* есть князь, существует сын *X*-а, такой, что *X* сажает сына *X-а* в таком-то городе). Модальность представляется значимой и для четырех сообщений о рождении сыновей, помещенных под 6494 г. О трех рождениях, которые уже случились, сообщается с помощью В = Р (в том числе: **и ѿ слова сего зачатъ Слово Бжье в утробѣ и породи сна [и] нареч има ему Гсъ** ⟨6494 г., I, 34об⟩). Напротив, пророчество об одном будущем рождении (сохранившееся только в Ипатьевском списке) и излагается с помощью В = И: **и пакі се двца въ оутробѣ зачнеть [и родить сынъ] и прозо[в]оуть има ему Еньманлъ** ⟨6494 г., I, 34⟩. Пророчество состояло в том, что случится определенное чудесное событие: у девы появится *X*, при этом *X* соответствует дефиниции сына. Таким образом, старый В = Р продолжает употребляться с объектами экзистенциальных или модальных предикатов, которые придают имени формульную референцию.

Второй пример. Экспансию В = Р во мн.числе у существительных м.рода, обозначающих лицо, можно наблюдать в деловом языке Полоцка первой половины XV столетия. Хотя Станг безнадежно заявляет, что "man findet hier ein Nebeneinander von beiden Konstruktionen, daß schwerlich unter irgendwelche Regeln zu bringen ist" [Stang 1939: 128], определенная регулярность все же просматривается [Timberlake 1996a]. В большинстве случаев в это время уже употребляется В = Р: **Пак ли нѣ заплатитѣ конѣ, ино велимъ здѣсѣ вашихъ купцовъ, правыхъ людѣи, пограбити** ⟨UB 11.92, 1450⟩; **и мы по тому слюбленью по Гармонову вашихъ есмо купцовъ пропустили к Витебьску и к Смоленску, оли же и на Москвѣ побывали** ⟨UB 10.272, 1446⟩. В = И встречается приблизительно в одной четверти всех примеров, в контекстах, сообщающих, что была создана ситуация, в которой лица, определяемые формулой, оказались в данном месте: **А про то есмѣ посылали к вамъ свои послы на имя** ⟨...⟩ ⟨UB 11.93, 1450⟩ (люди того типа, которых посылают с определенной миссией, были посланы и теперь находятся в вашем городе); **инъ тати тые поимали и бирчу вашему подавали** ⟨UB 10.168, 1445⟩ (люди того типа, которые подлежат аресту, были схвачены и теперь находятся в вашем ведении). Последний пример показывает, между прочим, что употребление В = И не было полностью лексикализовано. Поразителен тот факт, что параметры сочетаемости глагола и существительного в западной редакции делового языка XV в. (**посылали свои послы**) оказываются теми же, что и в "Повести временных лет", написанной за три столетия до этого (**посади мужь свои**).

Итак, в двух рассмотренных выше корпусах текстов, равно как и в более ограниченном наборе примеров инновативного В = Р в **Стополкъ созва боларъ и Кыꙗнъ** и консервативного В = И в **бѣ великъ имаши**, В = И имеет тенденцию употребляться постольку, поскольку в высказывании сообщается о создании ситуации, действующие

---

[14] Модальность высказывания часто взаимодействует с типом референции у имени, как это имеет место в обсуждаемых Е.В. Падучевой примерах с *-то* и *-нибудь* [Падучева 1985, гл. X].

лица которой определяются общей формулой; в то же время В = Р имеет тенденцию употребляться постольку, поскольку в высказывании сообщается о действии, распространяющемся на лицо, которое определено независимо от данного высказывания. Это, конечно, идеализированное полярное противопоставление, которое требует уточнений, если мы хотим адекватно описать употребление в определенном контексте в конкретный момент времени, однако оно задает принцип, которому подчиняется вариативность морфологических форм в истории становления винительного—родительного у существительных.

В свете подобных данных, указывающих на системный и постепенный характер изменения и вариативности — данных, согласующихся с длительной традицией их лингвистической интерпретации, — вызывает удивление категорическое утверждение Крысько, согласно которому "остается констатировать, что вариативность беспредложных ВП и РП в древнерусском языке не обусловливалась ни семантическими, ни грамматическими, ни какими бы то ни было другими факторами" [Крысько 1994: 166].

Такой подход к вариативности связан в рассматриваемой монографии с противопоставлением двух типов языка и двух типов изменения [Крысько 1994: 52]. В развитии "живой речи" на какой-то стадии доминирует одна форма. Затем обе формы мирно сосуществуют в свободной вариации без всякой семантической нагрузки, и после этого одна из форм, обычно более новая, обобщается. Этой "живой речи" противостоит неорганичная искусственность письменного языка. В последнем в результате "вторичных процессов, не обязательно имеющих народно-разговорную основу" [Крысько 1994: 53], сосуществующим вариантам действительно могут быть приписаны семантические различия. Таким путем и образуется "искусственная вариативность".

С этими представлениями можно было бы согласиться постольку, поскольку утверждается, что варианты не появляются на свет с врожденными семантическими различиями. Однако когда бы и в какой бы разновидности языка вариативность не появилась, варианты непременно получают какую-то значимость — они оказываются различны по регистру, или по значению, или по контекстуальной дистрибуции. Сомнительно, что разные типы языка ведут себя в этом по-разному. Проиллюстрирую это одним примером. В американском испанском [s] в позиции конца слова имеет тенденцию утрачиваться. Эта тенденция сильнее проявляется в неформальном разговоре, нежели в формальном стиле, в большей степени у необразованных носителей, чем у образованных. В распределении вариантов играют роль и внутренние системные факторы. Например, [s] скорее утрачивается в позиции перед согласным следующего слова, нежели в позиции сандхи, когда следующее слово начинается с гласной. Влияние этого системного и натурального фактора ([s] лучше сохраняется в позиции перед гласной) в равной мере распространяется на образованных и на необразованных носителей, на спонтанную речь и на речь формальную (см. среди прочих возможных описаний [Terrell 1986].

Еще один пример можно привести из классического исследования Лабова. Собранный им материал показывает, что фразы, в которых в стандартном английском стояла бы связка, в речи нью-йоркских афро-американцев употребляются как со связкой, так и без нее [Labov 1969]. Связка обычно оказывается эксплицитно выраженной[15], если предикативная составляющая не является глаголом, а именно когда она является существительным (71% выраженных употреблений) (*I'm not no strong drinker*) или прилагательным (61% выраженных употреблений) (*I **was** small*). Напротив, связка обычно остается невыраженной, когда она употребляется в качестве вспомогательного глагола с причастием наст. времени в прогрессивной конструкции (18% выраженных употреблений) (*he just fell' like he ø gettin' cripple' up from arthritis*) или с контрактированной формой буд. времени (всего 10% выраженых употреблений) *gon'*

[15] Под эксплицитной выраженностью подразумеваются как контрактированные формы (например, *I'm*), так и формы полные (например, *I am*).

< gonna < going to (he ø gon' try to get up). Очевидно, что вариативность подчиняется здесь принципу дополнительности: связка не требует эксплицитного выражения постольку, поскольку сама предикативная составляющая является глагольной. "Вариативность" в этой несомненно "живой речи" не является свободной или произвольной, но подчиняется системным, имманентным принципам. Хотя различия между устным и письменным типами языка безусловно существуют, параметры вариативности в них сходны. В обоих вариативность определяется как системными факторами, так и факторами языкового регистра и социолингвистических параметров.

В подходе рассматриваемого исследования к вариативности ощущается желание автора отнести истоки анализируемого им изменения назад, в первобытный Эдем, когда язык был устным и подлинно русским (и потому отразившимся лучше всего в диалекте Новгорода), а вариативность оставалась девственной и свободной вариативностью, не осквернённой искусственными одеяниями семиотической значимости. Но, к сожалению, *вкусивши однажды от древа познания*, оказывается невозможным укрыться от вариативности и вернуться к безгреховной природе ("Голос Твой я услышал в Раю и убоялся, потому что наг, и скрылся"). Любое объяснение истоков формы винительного у одушевленных существительных должно учитывать один неприкрытый и хорошо наблюдаемый факт — факт вариативности и постепенности изменения.

Кажется, впрочем, что, в конце концов, используя идеи Кленин и Крысько, можно построить гипотезу о развитии формы винительного у одушевленных существительных, которая не игнорировала бы факт вариативности. Как согласны все исследователи, в раннем славянском одни глаголы управляли винительным (далее $V_{\langle\alpha\rangle}$), *другие родительным* (далее $V_{\langle\beta\rangle}$). Именные парадигмы могут быть распределены по трем классам: (a) неодушевленные существительные (например, **stolъ*), у которых именительный и винительный совпадают; (b) одушевленные существительные (например, **otьcь*), у которых именительный и винительный совпадают и (c) существительные, одушевленные или неодушевленные, у которых именительный и винительный не совпадают (например, **sestra* или **kosa* или существительные во мн.числе типа **stoli*). Отсюда получаем шесть морфосинтаксических моделей, схематически представленных на схеме.

Схема

Модели управления

	Имя	Аккузативное управление	Генетивное управление
(a)	**stolъ*, **medъ*	$\{V_{\langle\alpha\rangle}\ N^{\langle\text{неодушевл.}\rangle}_{\langle\text{винит. [= именит.]}\rangle}\}$	$\{V_{\langle\beta\rangle}\ N^{\langle\text{неодушевл.}\rangle}_{\langle\text{родит.}\rangle}\}$
(b)	**otьcь*, **bratъ*	$\{V_{\langle\alpha\rangle}\ N^{\langle\text{одушевл.}\rangle}_{\langle\text{винит. [= именит.]}\rangle}\}$	$\{V_{\langle\beta\rangle}\ N^{\langle\text{одушевл.}\rangle}_{\langle\text{родит.}\rangle}\}$
(c)	**sestra*, **kosa*, **stoli*	$\{V_{\langle\alpha\rangle}\ N^{\langle\text{(не)одушевл.}\rangle}_{\langle\text{винит. [≠ именит.]}\rangle}\}$	$\{V_{\langle\beta\rangle}\ N^{\langle\text{(не)одушевл.}\rangle}_{\langle\text{родит.}\rangle}\}$

Обращаясь к предположению Кленин ("источником родительного—винительного была *морфологическая реинтерпретация родительного дополнения*"), а затем к идее Крысько (реинтерпретация $\{$*имамь отьца*$_{\langle\text{родительный}\rangle}$ как *имамь отьца*$_{\langle\text{винительный [= родительный]}\rangle}\}$, можно утверждать, что форма родительного, употребленная с $V_{\langle\beta\rangle}$ глаголом, в принципе может пониматься либо как настоящий синтаксический родительный, обусловленный глаголом (таким образом $\{V_{\langle\beta\rangle}\ N_{\langle\text{родительный}\rangle}\}$), либо как винительный, который оказался совпадающим с родительным по морфологической форме (таким образом $\{V_{\langle\beta\rangle}\ N_{\langle\text{винительный [= родительный]}\rangle}\}$). При последней интерпретации

данная форма в принципе может подменять формы этимологического винительного, употребляющиеся с $V_{\langle\alpha\rangle}$ глаголами.

Вопрос тогда состоит в том, как эта подмена происходит в различных типах парадигм. В первом классе (неодушевленных) существительных не будет никакого стимула для замены унаследованного †$N_{\langle\text{винительный [= именительный]}\rangle}$} на более новый {$N_{\langle\text{винительный [= родительный]}\rangle}$}, поскольку неодушевленные допускают синкретизм винительного и именительного. По другой причине эта замена не произойдет и в третьем классе парадигм (например, у существительных *а*-основ, таких как **sestra*, **kosa* или, первоначально, у существительных м.рода во мн.числе). Если мотивацией для утверждения В = Р является стремление обеспечить для одушевленных существительных столь же четкое морфологическое различение именительного и винительного, как и для неодушевленных, никакой необходимости в В = Р в этом классе не возникнет, поскольку в нем именительный, винительный и родительный уже различаются своей морфологической формой.

Второй парадигматический тип состоит из одушевленных существительных, которые (первоначально) не различали винительного и именительного. Если одушевленные выступают в функции объекта, возникает аномальная ситуация, когда винительный отличен от именительного у многих неодушевленных существительных (таких как **kosa*), но не у существительных одушевленных. По этой причине вполне естественно, что именно у тех одушевленных существительных, которым присущ синкретизм именительного и винительного, развивается, когда появляется такая возможность, особый объектный падеж специфичный для одушевленных; возможность эта состояла в том, что форма родительного, которая употреблялась при {$V_{\langle\beta\rangle}$} глаголах, стала употребляться как винительный объекта при $V_{\langle\alpha\rangle}$ глаголах. При $V_{\langle\alpha\rangle}$ глаголах новый винительный {$N^{\langle\text{одушевл.}\rangle}_{\langle\text{винит. [= родит.]}\rangle}$} будет конкурировать со старым {$N^{\langle\text{одушевл.}\rangle}_{\langle\text{винит. [= именит.]}\rangle}$}. В условиях этой конкуренции новый винительный будет употребляться постольку, поскольку существительное и соответствующий контекст будет одушевленным и индивидуализированным, следуя принципу, сформулированному Томсоном ("Всякая новая форма вин. пад., отличная от именительного, должна возникнуть прежде всего при названиях лиц с конкретным индивидуально определенным значением" — см. выше)[16].

Претерпел ли в действительности изменение старый родительный в {$V_{\langle\beta\rangle}$ $N^{\langle\text{одушевл.}\rangle}_{\langle\text{родит.}\rangle}$}, остается неясным — всякое изменение будет здесь скрытым. Возможно, такое изменение вовсе не было необходимым условием для экспансии новой формы на {$V_{\langle\alpha\rangle}$ $N^{\langle\text{одушевл.}\rangle}_{\langle\text{винит. [= родит.]}\rangle}$}. По этому поводу можно вспомнить характерную историю изменения *napron* в *apron* в среднеанглийском, изменения, которое обычно (и справедливо) рассматривается как обусловленное двусмысленностью [n] в сочетании данного существительного с неопределенным артиклем: к какой из морфем относится [n], реализует ли *anapron* {*a # napron*} или {*an # apron*}? В одном документе XV в. инновативное *aprons* без [n]!) встречается во мн.числе (*lynnen clothe for aprons*), однако в то же самое время старое сочетание *a napron* сохраняется в ед.числе при неопределенном артикле, т.е. в том самом двумысленном контексте, который мотивировал рассматриваемое изменение (*a naperon of lynyn-clothe of two elles*) [Timberlake 1996b]. Хотя здесь нет точной аналогии, для нас важно то обстоятельство, что двусмысленность в одном контексте может обусловить изменение в другом контексте, при том что этот исходный контекст сам по себе никак не меняется. Подобным же образом в этом случае один факт того, что форма объекта при {$V_{\langle\beta\rangle}$} выглядит как

---

[16] При такой интерпретации свое естественное место находит тот переходный этап [Крысько 1994: 25], когда составляющие в пределах одной именной фразы стоят в разных падежных формах: **Оүмершю Рюрикови предасть кнѧ[же]нье свое Ѡлгови ѿ рада имъ суща въдавъ емү сн҃ъ свои на руцѣ Игорѧ** ⟨6387 г., I, 8⟩.

$\{N_{\langle \text{винительный [= родительный]} \rangle}\}$, создает возможность для этой формы употребляться при $\{V_{\langle \alpha \rangle}\}$ глаголах, даже если при этом $\{V_{\langle \beta \rangle} N_{\langle \text{родительный} \rangle}\}$ остается без изменения.

При таком подходе мы можем связать возникновение В = Р с генитивным управлением глаголов (как и делает большинство исследователей), сохранить верность представлениям о постепенности изменений и неискусственности вариативности и при этом высоко оценить новизну и тщательность анализа огромного материала, введенного в научный оборот в свежей по мысли и побуждающей к новым исследованиям книге В.Б. Крысько.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Живов В.М. 1993 — Унификация склонения существительных в косвенных падежах мн.числа в памятниках XVII века: характер вариативности и обусловливающие ее факторы // Сб. статей памяти Г.А. Хабургаева. М., 1993.

Князевская О.А., Демьянов В.Г., Ляпон М.В. (ред.) 1971 — Успенский сборник XII—XIII вв. М., 1971.

Крысько В.Б. 1994 — Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М., 1994.

Падучева Е.В. 1985 — Высказывание и его соотнесенность с действительностью. Референциальные аспекты семантики местоимений. М., 1985.

Пешковский А.М. 1956 — Русский синтаксис в научном освещении. Изд. 7-ое. М., 1956.

Повесть временных лет 1962 — Полное собрание русских летописей. Том первый. Лаврентьевская летопись и Суздальская летопись по академическому списку. М., 1962.

Томсон А.И. 1908а — Родительный—винительный падеж при названиях живых существ в славянских языках // ИОРЯС. Сер. 2, 1908. Т. 13. Кн. 2.

Томсон А.И. 1908б — К вопросу о возникновении род.-вин.п. в славянских языках. Приглагольные род.п. в праслав. языке // ИОРЯС. Сер. 2. 1908. Т. 13. Кн. 3.

Томсон А.И. 1909 — К вопросу о возникновении род.-вин.п. в славянских языках. Сходные явления в других языках // ИОРЯС. Сер. 2. 1909. Т. 14. Кн. 1.

Bello A. 1981 — Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los americanos // Ed. by Ramón Trujillo. Santa Cruz de Tenerife 1981.

Frink O. 1962 — Genitive-accusative in the Laureantian Primary Chronicle // Slavic and East European journal. V. 1962.

Hopper P., Thompson S.A. 1980 — Transitivity in grammar and discourse // language V. 56. 1980.

Klenin E. 1983 — Animacy in Russian. A new interpretation. Columbus (Ohio) 1983.

Labov W. 1969 — Contraction, Deletion, and Inherent Variability of the English copula // Language V. 45. 1969.

Meillet A. 1897 — Recherches sur l'emploi du génitif-accusatif en vieux-slave. P. 1897.

Silverstein M. 1977 — Hierarchy of features and ergativity // Grammatical categories in australian languages. Canberra. 1977.

Stang Chr.S. 1939. Die altrussische Urkundensprache der Stadt Polozk. Oslo. 1939.

Terrell T. 1986 — La desaparición de /s/ postnuclear a nivel léxico en el habla dominicana // Ed. by Rafael A. Núñez Cedeño et al. Caracas. 1986.

Timberlake A. 1996a — "Чемꙋ ксн слѣпилъ браᵀ свои": Templates and the development of animacy // Rling. V. 20. 1996.

Timberlake A. 1996b — On Grammatical (and Other) Change // Lingua (в печати).

UB-1896 (1981) — "Liv-, est- und kurländisches Urkundenbuch". Abt 1. 10: 1444—1449 / Hrs. von F.G. von Bunge, ab Band 7 im Auftrag der baltischen Ritterschaften und Städte fortgesetzt von Hermann Hildebrand, Philipp Schwartz und August von Bulmerincq. Darmstadt, 1905.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1996

© 1996 г. В.Б. КРЫСЬКО

МАРГИНАЛИИ К "СТАРОСЛАВЯНСКОМУ СЛОВАРЮ"[1]

Долгожданный, обещанный издательством "Русский язык" еще в 1991 году, "Старославянский словарь" (далее – ССС) наконец вышел из печати – в 1994-м. Острая необходимость в этом издании ощущалась в первую очередь российскими историками языка, чаще всего лишенными возможности обращаться к пражскому "Slovníku jazuka staroslovĕnského" (далее – SSS), который имеется лишь в самых крупных столичных библиотеках. Нечего и говорить об отсутствии у славистов России и СНГ первоисточников – самих старославянских текстов, первые публикации которых давно стали библиографическими редкостями, а зарубежные репринты просто недоступны. Таким образом, ССС, изданный достаточно приличным для научной книги тиражом в 5060 экземпляров, восполняет зияющий пробел частных и многих государственных библиотек. Благодаря появлению словаря историки-лингвисты получают в свое распоряжение обширный, тщательно и добротно описанный материал. Высокий уровень ССС обусловливается квалификацией его авторов – чешских ученых Э. Благовой (составившей статьи на буквы **д, и, к, н,** все предлоги и союзы), С. Геродеса (**а, б, в, г, є, м, о** – от начала до **осждити**), Л. Пацнеровой (**ж, ѕ, з, л, п**), М. Бауэровой (**о** – от **осждити** до конца, частицы в буквах **а** – **п**) и российского палеослависта Р.М. Цейтлин (**р** – **ѵ**); нелегкий труд редактирования столь объемистого тома (842 с.) разделили Р.М. Цейтлин, Р. Вечерка и Э. Благова.

"Предисловие" к словарю (с. 3–12) содержит краткий очерк старославянской лексикологии и лексикографии и общую характеристику самого ССС. Отмечается, что в словаре обработан весь лексический материал (около 10 тысяч слов) восемнадцати так называемых классических старославянских рукописей (список и общепринятые сокращения их названий хорошо известны, и далее мы будем использовать эти сокращения без расшифровок); остается лишь сожалеть, что новонайденные и частично уже опубликованные синайские рукописи не были учтены в ССС, так как работа над ним закончилась задолго до издания. Несколько парадоксально звучит, правда, следующая фраза из "Предисловия": «Древние надписи X–XI вв., представляющие громадный культурно-исторический интерес и содержащие важные факты различных языковых уровней, в своем словарном составе крайне ограничены, а потому не включены в состав "Старославянского словаря"» (с. 9). Думается, что даже ограниченный лексикон древнеболгарских надписей в силу их близости к живой южнославянской речи того времени имеет существенное значение для характеристики старославянского языка и именно поэтому не должен был бы игнорироваться лексикографами-палеославистами. Аутентичность словаря реальному языковому состоянию описываемой эпохи снижается также вследствие того, что тексты расписывались "по их лучшим изданиям" (с. 3): относительно недавнее обращение исследователей к рукописям Зогр [Moszyński

[1] Работа выполнена в рамках темы "Историческая грамматика древнерусского языка", финансируется Российским гуманитарным научным фондом, и написана в период стажировки в Упсальском университете благодаря стипендии, выделенной Шведским институтом.

1961] и Супр [Aitzetmüller 1967; 1969; 1970; 1974] выявило многочисленные отклонения публикаций от оригиналов и дало основания предположить, что аналогичная сверка других изданий, не снабженных фотокопиями рукописей, может привести к сходным результатам [Moszyński 1961: 131].

Принципиальным отличием ССС от других исторических словарей, издаваемых в России, является включение в него всех имен собственных – этого нельзя не приветствовать. Всяческого одобрения заслуживает и постоянное внимание авторов к материалу греческих и латинских оригиналов, а также обращение к другим "косвенным источникам" (с. 10) – данным этимологии, показаниям исторических и диалектных словарей славянских языков, данным картотеки Пражского словаря в ее полном объеме. Этот широкий фон ССС, безусловно, обеспечивает высокую степень надежности предлагаемых в словаре решений. Необычным для российской исторической лексикографии является и описание валентности, чрезвычайно ценное с точки зрения исторического синтаксиса; так, например, при глаголе **наслади̑ти сѧ** приводятся следующие актанты: **чесо; чесомоу̑; о чемь; на чемь,** при **наставити – кого на что; до чесо; въ что; въ чемь** (попутно заметим, впрочем, что формы род. падежа местоимения **что**, используемые для схематического обозначения актантов, отличаются мало уместным в данном случае разнообразием, ср. **чесо** на с. 628, 629, 640, 666, 674, 747, но **чесого** – вариант, крайне редкий в памятниках, – на с. 626, 632, 657, 675, 746).

Важной особенностью ССС является указание количества употреблений каждой лексемы с перечислением памятников, где она встретилась; трудно переоценить значение таких данных для лингвостатистических исследований.

Следующие разделы словаря – "Описание старославянских рукописей" и "Фонетико-фонологическая и правописно-графическая характеристика старославянских рукописей", написанные Р. Вечеркой (с. 13–40), – представляет собой ценное пособие для всех, кто сталкивается в своей научной, да и учебной деятельности со старославянским языковым материалом. Подробные характеристики всех 18 источников ССС включают не только историю рукописей, литературу о каждом тексте, но и компактное изложение основных графических и фонетических особенностей памятников. Частные замечания к этим разделам таковы: не указано время написания Мариинского евангелия (с. 14); не вполне понятно, почему в **ловити – ловлиж**, в отличие от **съпати – съплиж, позобати – позоближ** и др., "чередование может быть не фонетического, а аналогического происхождения" (с. 28); трудно согласиться с обозначением **кс** и **пс** как диграфов (с. 29) – все-таки этот термин обычно применяется к двухбуквенным обозначениям одной фонемы (**оу̑**).

В небольшом разделе "Нормализация написания заглавного слова основной словарной статьи", также написанном Р. Вечеркой (с. 41–43), оговариваются условные приемы, призванные унифицировать подачу разнородных написаний памятников в пределах словаря посредством восстановления "идеальной" орфографической и фонетической формы, которая соответствует старославянскому канону. Большинство из этих принципов вполне рациональны; возражения вызывает, в частности, избыточная, на наш взгляд, подача параллельных форм с напряженными редуцированными типа **книж** и **быж**, которая к тому же не выдерживается последовательно: так, для **пр҃ѣбити, пити, съвити** варианты с **ь** не приводятся.

Кажется необоснованным и внесение неорганических редуцированных в такие заглавные слова, как **алъдин, алъкати, алъчьба, алъчьбьнъ, алъчьнъ, аньдрѣи, варъваръ, єпарьшьскъ, наньзиньскъ** и т.п. vs. **алгоу̑и, архангѣлъ, варвара, єпархъ, нанзианзинъ**. На первый взгляд подобное распределение соответствует правилу ССС, согласно которому "по принципу наибольшей употребительности... даются написания с неэтимологическим **ъ** между двумя согласными или в группе согласных (есть ли разница? – *В.К.*), если такие формы имеются в рукописях" (с. 42). Однако в статье

алъдии наибольшей употребительностью" характеризуется форма **ладии** (10 примеров против двух с **алъд-** и одного с **алд-**), в статье **алгоуи** из трех примеров в одном имеется **ъ**, а в другом паерок, статья **алъчьба** демонстрирует 10 написаний с **алч-** из 13, в статье **єпарьшьскъ** фигурирует только пример с паерком, в статье **дальматьскъ** вообще представлено написание **далматъска'го** без какого-либо указания на гласный между **л** и **м**, форма **нан'знан'зни**, напротив, содержит целых два паерка, однако ни один из них не отражен в заголовке в виде редуцированного, и т.д. Показательно, что реконструируемый [ъ] отнюдь не ведет себя как "нормальный" редуцированный, т.е. не вокализуется перед слогом с утраченным слабым редуцированным, ср. в SSS формы **алчъбами, алчьбож, алчъбѣ**; недаром Ф.Ф. Фортунатов полагал, что "в эпоху появления старославянской письменности... переходная гласная между согласными в **алкати** и в других подобных, хотя и редких, образованиях не получала... обозначения, да и не была, вероятно, замечаема", и лишь позднее, в период падения редуцированных, ассоциировалась со слабым **ъ** [Фортунатов 1908: 1437].

Огорчительная несогласованность наблюдается в ССС в связи со словом **немръчемъ**. В анализируемом разделе оно (быть может, в результате типографской опечатки) дано в форме **немрьченъ** и соотнесено с **мрьчити**. Между тем на с. 334 в виде отсылки к **немрьчемъ, немрьчаи** (последнее слово, впрочем, на своем алфавитном месте приведено как **немрьча**) дается глагол **мрьцати**, который действительно мог изменяться по типу **мрьчѫ, -чеши**, ср. *помьрчеть, помьрчють* в русском списке Бесед Григория Великого XIII в. [SSS; Aitzetmüller 1977[2]].

Непонятно также, почему морфологические варианты **сѫбота** и **сѫботъ**, демонстрирующие колебания в роде, обычные для заимствований, названы "дублетами фонетического происхождения" (с. 42).

"Построение словарной статьи" подробно разъясняется в разделе, написанном Р.М. Цейтлин (с. 44–55). Наиболее дискуссионный, как мы полагаем, принцип, используемый в словаре, – это подача в одной статье (в качестве вариантов) таких лексем, которые отражают древнее чередование (**которъи** и **котєръи, заматорѣти** и **заматєрѣти, одолѣти** и **оделѣти, трава** и **тр'ѣва** и т.п. [Diels 1932: 33; Vaillant 1948: 49–51]) либо демонстрируют различное, может быть, диалектное развитие общих праформ (**ѭвити** и **авити, оутро** и **ютро, ладии** и **алдии**). Помимо "экономии места" (с. 44), которая во всяком случае не должна служить стимулом для лексикографических инноваций, трудно найти объяснение для столь неординарного соединения синхронно нетождественных лексических единиц.

Видимо, стремлением к экономии определяется и тот факт, что в ССС возвратные глаголы не выделяются в самостоятельные статьи, а статистика их употребительности не вычленяется из числа употреблений невозвратных глаголов. Теоретическую базу этого принципа составляет следующее утверждение: "Глаголы с **сѧ**... в старославянском языке, как правило, обозначают страдательный залог..." (с. 46); тем самым, во-первых, игнорируется наличие возвратных глаголов с **сѧ** и, во-вторых, все многообразие старославянских рефлексивов, столь основательно описанных в свое время Б. Гавранеком [Гавранек 1963, особенно с. 39–45], многообразие, никоим образом не сводимое к семантике мотивирующих невозвратных глаголов, фактически ограничивается поздним, во многих случаях инспирированным греческими оригиналами значением пассива, которое применительно к ранним стадиям развития славянских рефлексивов трудно признать грамматически-залоговым, но правильнее интерпретировать как частное словообразовательное значение возвратного глагола. Крайне сомнителен и другой пассаж: "Если глагол имеет одно и то же значение в дейст-

[2] Отсылки к соответствующим статьям словарей здесь и далее даются без указания страниц.

вительной и страдательной форме, то сѧ дается в скобках: плакати (сѧ)..." (с. 46): дело в том, что плакати сѧ – это не "страдательная форма" глагола плакати, а отдельная лексическая единица. Нельзя не поспорить и с определением возвратных формантов сѧ и си как "двух видов возвратного местоимения" (с. 46): таковыми они являются только по происхождению, но в старославянском языке в составе рефлексивов функционируют уже как глагольные морфемы.

Не очень ясен и такой принцип: "..если в основах инфинитива и настоящего времени имеются повторяющиеся гласные (?), ...то личные окончания приводятся полностью" (с. 45); видимо, имеются в виду все-таки личные формы, а не окончания, так как флексии 1 и 2 л. ед. ч. наст. вр. обязательно приводятся при любом глаголе.

Не все декларируемые принципы, как мы уже убедились, строго выполняются в словаре. Так, вопреки тому, что "прилагательные даются в именной форме" (с. 45), слова кромѣштьнии и послѣдьнии приведены только в местоименной форме в отличие от аналогичных по образованию вънѣштьнь и прѣдьнь, ближьнии – опять же только в местоименной форме, а близньчьнъ, -ꙑи, для которого материал представляет единственное образование на -ꙑима, – в обеих. Хотя числительные собирательные должны даваться с пометой *числит. собир.*, например, дъвои (с. 45), трои определяется как "числ. дистрибут.", обои – как "числ.", четворо приведено в виде отсылки к четворъ *числ.*, седморо – как "нареч." и лишь десѧторо – как "числит. собир.". Особенно поразительны различия в оформлении родоизменяемых местоимений, при которых в принципе должны указываться формы женского и среднего рода (мои, моꙗ, моѥ *мест.* – с. 45). Приведем заголовки некоторых словарных статей: вьсꙗкъ, -а, -о *мест.*; какъ, *мест.*; нѣкакъ, нѣкака, нѣкако, *мест.*; сиць, сица, сице *мест.-прил.*; такъ, -ꙑи *мест.-прил.*; коликъ, *мест.*; нѣколикъ, нѣколика, нѣколико *мест.*; селикъ, -ка, -ко *мест.*; толикъ, -ꙑи *мест.-прил.*; кликъ, -а, -о *мест*. Не говоря уже о разнообразии в подаче основных форм, следует подчеркнуть, что не только "мест.-прил.", но и некоторые другие из перечисленных местоимений обнаруживают как прономинальное, так и адъективное склонение, ср. формы Gen. sg. отъ селика народа Супр. 150, 21, Dat. sg. всацꙑ плъти Ио. 17, 2 Сав, Loc. sg. въколицѣ мразѣ Супр 78, 7, о селицѣ добрѣ Супр 386, 22.

Весьма рискованна трактовка формы многѫ силѫ в контексте: не с(ъ)п(ас)етъ сѩ (в цитате сꙗ – *В.К.*) ц(ѣса)рь многѫ силѫ Пс 32, 16 Син – как "архаичной формы тв. ед." (с. 52–53); думается, правомернее здесь было бы говорить об обычном стяжении [Diels 1932: 175; Vaillant 1948: 56].

В целом раздел "Построение словарной статьи" как бы подготавливает читателя к тем вопросам, которые иногда возникают при чтении словаря – что вполне естественно, учитывая широту и глубину охвата материала. К ним мы сейчас и перейдем, следуя в основном алфавитному, постраничному принципу разбора.

С предельным разнообразием даны в ССС грецизмы, восходящие к именам на -η, которая обычно передается в старославянском посредством -и или -ии [Diels 1932: 177, 182]; заглавные формы при этом достаточно произвольно выводятся преимущественно из форм косвенных падежей: так, в словаре сосуществуют авилиниꙗ (по твор. падежу авилинеѭ), афрікиꙗ (по аккузативу афрікиѭ), витъфагии (по аккузативу витфаѣниѭ), епискоупиꙗ (по мест. падежу епискоупии), еремиони (по форме дат. падежа, очевидно, стяженной: еремионі), ересевии (по дативу ересевіі), етии (которая объявлена *нескл.* потому, что в Супр 129, 6 представлен только номинатив), ирини, -ниѩ (с вопросительным знаком), иоулиꙗни, -ниѩ (без вопросительного знака), милоти(и) (по аккузативу милотиѭ), савинии, -ниѩ *и* савинии, -ниѩ (при отсутствии в текстах бесспорных форм первого варианта), пѧтикостиꙗ (при наличии в материале

только косвенных падежей на -**и**), **теопистиꙗ** (по генитиву **теопистиꙗ**), **троꙗни**, -**ниꙗ** (по номинативу), **ѳракиꙗ** (по аккузативу **ѳракиѭ**), **харитонии** *или* **харитониꙗ** (по дат. падежу **харитони**), **хартиꙗ** *или* **хартии** (по аккузативу **хартиѭ**). По нашему мнению, в случае отсутствия номинативов правильнее здесь было бы указывать в качестве заглавных обе вариантные формы, свойственные исконно славянским именам с основой на *-ī: -**ии** *или* -**и** [ср. в SA: -*i*(*ji*)], а генетив повсеместно реконструировать в виде -**ниꙗ** (поскольку -**ꙗ** с предшествующим палатальным характерен лишь для имен на -**ыни**).

акридь: такая подача начальной формы, с отнесением ее к жен. роду *ĭ-склонения, находит весьма слабую поддержку в Nom. pl. **акриди**, который вполне мог быть образован и от *о-основного **акридъ**; в пользу последней трактовки свидетельствует форма **акридъ** (Мф. 3, 4; Мк. 1, 6) в восточнославянском Остромировом евангелии XI в. [SSS]; думается, что авторы Пражского словаря поступили в данном случае более корректно, представив разбираемое существительное в двух вариантах: **акридъ**, -**а** m. vel **акридь**, -**и** f. (наличие *ĭ-основного варианта как будто подтверждается формой Acc. pl. **ѣдъи акриді** Мк. 1, 6 Ас, к сожалению, не приведенной в ССС; впрочем, по мнению П. Дильса эта форма может быть обязана своим появлением влиянию номинатива **акриди** Мф. 3, 4 Ас [Diels 1932: 95]).

артемись с формальной точки зрения никак не может быть прилагательным к **артема** (ожидалось бы ***артеминъ**, ***артемль**, ***артемовъ** – ср. *агрипъпово* в Усп. сб., 2б) – на самом деле это, скорее всего, оставшаяся почти не измененной форма греческого номинатива *Ἄρτεμις, т.е. имя существительное в предикативной функции (**мостъ рекомъи артемись** Супр 254, 13) [так и в SSS], а предположение о его несклоняемости ввиду отсутствия косвенно-падежных форм следует признать числом умозрительным.

Форма **галии**, упоминаемая в качестве ошибочного написания в статье **алъдии** и фигурирующая в отсылке и в статье **ꙗхати**, в действительности просто не существует: соответствующее место из Зогр 240 об, 22 (Ио. 6, 17), искаженное в издании, в рукописи читается как **ладиѭ** [Moszyński 1961: 6, 83, 84, 125, 130].

богоприкмьць и **въташокмьнъ** приведены не в "идеальной" форме, а с **к**, отражающим вокализацию сильного [ь], в отличие от правильного **лихоимьство** (с полным основанием реконструируемого из **лихокмьство**).

Форма **бракы**, данная как вариант к **бракъ**, едва ли уместна в заголовке, так как представляет не "идеальное состояние", а инновационное обобщение Nom. и Acc. pl. [Крысько 1994: 141].

бъдрълнвъ содержит суф. -**ьлив**- [Vaillant 1948: 200], который и фигурирует в цитируемом источнике: **бъдрьливое** (в SA также *bъdrъlivъ*).

Если **бѣшенъ** – прилагательное (хотя это адъективированное причастие), почему к нему не дается местоименная форма на -**ыи**?

В статье **ветъхъ** имеется отсылка к слову **кънига**, однако в соответствующей статье находим только plurale tantum **кънигы**.

Традиционное, еще со времен А. Лескина [Leskien 1962: 126] дезориентирующее смешение инфинитивов и парадигм характерно для статей, в которых описываются глаголы с корнем -**дѣ**- (традиция преодолена только в указателе [Aitzetmüller 1977], ср. также [van Wijk 1931: 248, 251; Aitzetmüller 1978: 211]). Так, приведенная для **въдѣти** парадигма -**дѣѭ**, -**дѣкши** относится к глаголу **въдѣꙗти** и не может рассматриваться как вариантная к исконной для -**дѣти** парадигме -**деждѫ**, -**деждеши**,

тем более что канонические памятники не предоставляют ни одного примера с парадигмой -дѣѭ. Инфинитив **въздѣти** напрасно приписан двум "вариантным" парадигмам – -дѣждѫ и -дѣѭ, поскольку вторая присуща глаголу **въздѣѭти**, отсутствующему в словаре (и в канонических текстах) несмотря на то, что в статье **ржка** имеется ссылка на **въздѣти/въздѣѭти**. Статья **задѣти, задѣѭ** объединяет глаголы **задѣти, задѣждѫ** и **задѣѭти, задѣѭ**. Для парадигмы **надѣѭ сѧ**, напротив, указано сразу два инфинитива – **надѣѭти сѧ** и **надѣти сѧ**, но правильное словоизменение (-дѣждѫ сѧ) для последнего глагола (зафиксированного в форме **надѣвъ сѧ**) не отмечено. Форма **съдѣти** приведена в виде отсылки к статье **съдѣѭти**, в которой, однако, примеров на **съдѣти** нет. – Ср., вместе с тем, совершенно корректные статьи **издѣѭти**, -дѣѭ, **одѣти**, -дѣждѫ, **одѣѭти**, -дѣѭ, **придѣти**, -дѣждѫ, **придѣѭти**, -дѣѭ, **прѣдѣѭти**, -дѣѭ.

Глагол **въздивѣти** (от прилагательного **дивии**), представленный аористом **въздивѣ**, не может иметь парадигму -вѣѭ, -вѣкѫ, но только -вѣѭ, -вѣкѫ (как и указано в SA и SSS; в CCC обе даны через *или* с вопросительными знаками); подобное спряжение свойственно всем отадъективным глаголам с суф. *-ě- , типа **разбогатѣти, ослабѣти, обоѹѭти, обницѭти**.

възметати не следует объединять с **възмѣтати**, равно как и **пометати** – с **помѣтати** [Vaillant 1948: 294]. Поскольку для **отъметати** указаны только две вариантные парадигмы: -метаѭ и -мещѫ (в то время как для **метати** – три: **метѫ, мещѫ, метаѭ**), словоизменительная отнесенность субстантивированного причастия **отъметѫштинъ сѧ** Супр 510, 4 (статья **отъметъи сѧ**) остается неясной.

Совершенно напрасно объединены глаголы с разными приставками – **въкоренити** и **оукоренити** (ср., напротив, **въгодьнъ** и **оугодьнъ**, обоснованно выделенные в две разные статьи, вопреки ошибочной практике русских исторических словарей).

вънисти и **вънѣзнѫти** – разные глаголы, к тому же подача их в основном тексте словаря через союз *и* не согласуется с вводной частью, где они даются через *или* (с. 43). При наличии императива **вънѣзи**, однозначно принадлежащего к I классу, все формы прошедшего времени без -нѫ- логично относить именно к **вънисти** (resp. **пронисти** и **оунисти**)[3], оставляя для **вънѣзнѫти** только недвусмысленные примеры со спряжением по II классу.

В статье **въсколѣбати сѧ** приведены две парадигмы – -блѭ сѧ и -баѭ сѧ, в то время как реально для этой основы засвидетельствована только первая, которая, кстати, и представлена без всяких вариантов в статье **колѣбати**.

въшоѹмѣти, -мѣѭ, -мѣкѫ: должно быть -млѭ, -мѧ [Vaillant 1948: 248].

Инфинитив **глоумлѧти сѧ** выведен из имперфектов **глоумлѣхо** и **глоумлѣхъ**; в результате аналогичной операции в CCC появились глаголы **недомъıшлѧти сѧ, похвацѧти, приготовлѧти, саждати, оустрьмлѧти сѧ**; думается, что с таким же успехом можно было бы пополнить старославянский словарь глаголами *мъıшлѧти, *готовлѧти, *ходждати и т.п.

грѣѧти: более вероятным, вопреки традиции [Vondrák 1912: 570; van Wijk 1931: 247; с оговорками – Diels 1932: 272; Vaillant 1948: 265], представляется все же инфинитив **грѣти**, на который указывают аорист **съгрѣ сѧ** Пс 38, Син и имперфекты типа **грѣахѫ** Ио. 18, 18 Зогр Ас, с характерным для глаголов на -**ѣти** имперфектным

[3] В предлагаемой нередко реконструкции **вънѣсти** не учитывается тот факт, что все славянские корневые глаголы I класса, имеющие в основе наст. вр. *ь* < **ī*, в инфинитиве отражают -е- ступень аблаута, т.е. *i* < **ei*, см. [van Wijk 1931: 239, 240; Дыбо 1981: 205].

суф. -**ах**- [Vondrák 1912: 505; Vaillant 1948: 231]. Имперфект **грѣꙗхѫ** Ио. 18, 18 Сав (не оговоренный в ССС) не может служить достаточно веским основанием для реконструкции инфинитива **грѣꙗти**, так как стоит в ряду отмеченных в том же памятнике вторичных образований **спѣꙗше, съмѣꙗше, знаꙗше**, которые возникли под влиянием форм типа **даꙗше** [Diels 1932: 237].

десѧть – исконно существительное консонантного склонения, поэтому "идеальный" Gen. sg. у него должен был бы иметь флексию -**е**, а не -**и**; отсутствие подобной формы в крайне ограниченном материале (известен лишь один пример род. падежа ед. ч.: **десѧти** Супр. 528, 23) не позволяет абстрагироваться от ряда форм, характеризующих **десѧть** именно как слово согласного склонения [Vaillant 1948: 153].

доунавъ: не отмечено количество словоупотреблений.

доухати: более вероятен инфинитив **дъхати**, относящийся к тому же типу с чередованием (**дъхати – доушѫ**), что и **стръгати – строужѫ** [Vaillant 1948: 262]).

Об ошибочности формы **жище** Супр 272, 17; 517, 9 вместо **жилище** см. [Lunt 1984: 30–31].

В статье **жрьнъı, жрьнъве** объединены два разных существительных: помимо указанного *ū-основного femininum, который функционировал в старославянском как plurale tantum **жрьнъви**, еще и *o-основный masculinum **жрьновъ**, выступавший в качестве сингулятива к **жрьнъви** [Vaillant 1958: 279–280] (ср. русск. *жернов*, но не **жерновъ*). Очевидно, именно от **жрьновъ** образовано прилагательное **жрьновьнъ** (в ССС – **жрьнъвьнъ**), которое регулярно пишется в текстах через **о**.

Формы **жрьти** и **жрѣти** (как и **пожрьти, пожрѣти**) не следовало бы давать в одной статье через запятую (т.е. в качестве фонетических вариантов), так как эти глаголы относятся к разным словоизменительным типам: **жрьти – жьрѭ, жьр̂еши** (эта парадигма, куда принадлежат представленные в памятниках формы наст. вр. **пожьрѭ**, аориста **пожръхъ, пожръ, жръшѧ, пожръшѧ**, причастий **жърѧ, жьремо, пожъренъıи**, вообще не оговорена в словаре), **жрѣти – жьрѫ, жьреши** (сюда же – императив **жьрѣте, пожьрѣте, пожьрѣта**); двусмысленные образования типа повел. накл. **жьри**, причастий **жъръше, пожрълъ** правомерно отнести к более ранней парадигме **жрьти** (материал см. [Leskien 1962: 144; Diels 932: 248; Vaillant 1948: 270–271]).

В статье **зракъ** мы находим цитату из Супр 399, 17: **къıи ли недѫгъ о зракоу добротѫ прокоудитъ** – с неверным словоделением северьяновского издания **о зракоу**, предполагающим употребление флексии -**оу** у существительного, которое едва ли могло иметь такое окончание в локативе – или генитиве, как полагал С.Н. Северьянов, – в столь ранний период [Lunt 1984: 32–33]. К счастью, эта же цитата еще раз приведена – уже с правильным словоразделом **озракоу** (Dat. sg.) – в статье **озракъ**.

зѧбсти *или* **зѧти, зѧбѫ**: первый инфинитив невозможен в старославянском по фонетическим причинам; то же относится к **сопсти**, реконструируемому в ССС из формы **съпѧщѫ** (*вм.* **сопѫщѧ**) Мф. 9, 23 Сав в качестве варианта к правильному **соти**.

измрьмьрати: несмотря на то, что в Супр имеется написание **измрьмьрѫтъ**, более корректной представляется подача этого глагола в SSS – с двумя **ъ**, что подтверждается индоевропейскими соответствиями (лат. *murmurāre*, греч. μορμύρω) и русско-церковнославянской формой аориста *изморомраша*, отмеченной в Срезн. и Сл XI–XVII [Vaillant 1966: 329] (иначе – SA, 272).

Статья **исполинъ** представляет собой результат модернизации исконного **сполинъ** (см. [Moszyński 1957: 112]), засвидетельствованного в канонических памятниках тремя примерами (особенно показательно **стлъпотворение споловъ** Супр 485, 10; в ниже-

следующих контекстах **и** соответствует греч. καὶ: **заклинаѭ тѧ... и сполъı** καὶ γίγαυτας Евх 52б 2–3; **и сполинъ** καὶ γίγας Пс 32, 16 Син), в то время как сочетание с союзом **ѣко и**, давшее начало позднейшему переосмыслению, – только одним (**въздрадоуетъ сѧ ѣко и споліnъ тешті пѫтъ** Пс 18, 6 Син). Правда, необходимо признать, что данное существительное давно является предметом споров в исторической славистике (см. [Фасмер, II: 142; ЭССЯ, 8: 240–241]), однако справедливость предположения А. Вайана о появлении формы с **и** в результате ошибочной интерпретации древнерусскими переписчиками правильной старославянской формы с этимологическим **спол-** [Vaillant 1948: 52] убедительно подтверждается, по нашему мнению, именно наиболее ранними фиксациями этого слова – старославянскими написаниями с начальным **с**, по отношению с которым **ис-** в восточнославянских рукописях XI в. [Срезн.] предстает как следствие опрощения. Возражение М. Фасмера: "В соответствующем греч. псалме (18, 4), откуда производят *и*, нет никакого καὶ" – неосновательно, так как старославянский союз **ѣко и** регулярно используется для перевода греч. ὡς [Vaillant 1977: 238].

Генетив **ипрьвааго** (описка в Супр 402, 2, вместо **испрьвааго**) – нормальная местоименная форма без стяжения, едва ли требующая реконструкции, наряду с правильной заглавной формой **испрьвъ, -ъıи** (прилагательное, созданное для перевода греч. ἐξ ἀρχῆς), сомнительного варианта **испрьваи**.

Выделяемая во всех современных старославянских словарях статья **ицѣльба**, с уникальным дериватом на **-ьба** от префиксального глагола, базируется, как показал Д.С. Купер [Cooper 1972: 163–165], на неверном словоделении в издании С.Н. Северьянова; на самом деле соответствующие пассажи Супр должны читаться – и читаются в изданиях Ф. Миклошича [Miklosich 1851: 226] и Й. Заимова – М. Капальдо – следующим образом: **противѫ силѣ и оумоу чловѣкомъ · и цѣльба отъ врача приноситъсѧ** 308, 6 (καὶ ἡ θεραπεία); **дроугаıа прикоснѫ сѧ подразѣ ризѣ кмоу таи · и таи цѣльбѫ възѧ** 308, 8 (ἥψατο... λάθρα, καὶ λάθρα τὴν θεραπείαν ἐκαρπώσατο).

Параллельно с исходной формой географического названия **комана**, соответствующей греч. Κομάνα и выводимой из датива **къ команѣ** и аккузатива **въ команѫ** Супр 17, 26; 19, 28, уместно было бы, по-видимому, привести и вариант **команъ**, явствующий из форм **въ команѣхъ** и **въ команъ** Супр 16, 7, 20; известно, что названия городов в старославянском колеблются между женским и мужским родом [Vaillant 1948: 115], ср. генитив **витлеема** Лк. 2, 15 Мар Зогр Ас Сав – **отъ виѳьлеомъı** Ио. 7, 42 Сав [Diels 1932: 181] (к сожалению, вариант **виѳьлеома** в ССС не отмечен).

Выделять вариант **корабь** рядом с **корабль** едва ли стоит, так как, в отличие от **корабиць**, с закономерным [и] < [jь], он отражает лишь позднейшую утрату *l'* epentheticum [Vaillant 1950: 70, 142–143]; не указываются же в заголовках словарных статей варианты **земьıа, приставеньє, чрьвенъ** и т.п. [Diels 1932: 132].

корvнѳıане, -ıанъ: должно быть **корvнѳѣне, -ѣнъ**, как и написано в Суп 527, 4 и как дано в одном из вводных разделов ССС (с. 43), ср. правильное **ќvринѣнинъ**.

кръмьчии: вопреки написанию **-ьчии**, представленному в материале, вероятно, вследствие смешения редуцированных (ср. также **къникьчи-** в Мар, **кьнігьчі-** в Ас), соответствующий суффикс, на наш взгляд, правомерно воспроизводить в заглавных формах в виде **-ъчии** (как, кстати, и сделано в статье **самъчии**, несмотря на **самьчиѧ** в рукописи): в пользу такого решения говорят старославянские и церковнославянские примеры, демонстрирующие сохранение заднеязычного в корне и тем самым свиде-

тельствующие об отсутствии [ь] в суффиксе, ср. **кънигъчии**, *кръчагъчии*, *прѣлагъчии*, *ласкъчии*, *пискъчии* [Vaillant 1974: 331].

В заголовке статьи **любъвьнъ** напрасно выделяется поздняя, возникшая вследствие падения редуцированных форма **любовьнъ**; заметим, что **смокъвьнъ** дается только в исконной форме.

мьдливъ *см.* **немьдливъ** – однако статья **немьдливъ** в словаре отсутствует. По-видимому, эта ссылка перенесена из SSS, где лексема **немьдливъ** иллюстрируется цитатой из Слепченского апостола XII в., не входящего в число источников ССС.

мьдость: обе фиксации данного существительного в Клоцевом[4] сборнике содержат в корне, по всей вероятности, этимологический **ъ**, тогда как написания *мьд-* в восточнославянских рукописях являются следствием межслоговой ассимиляции [Соболевский 1907: 90]. Очевидно, [ъ] восходит к нулевой ступени чередования (**ŭ*), а полная ступень (**oų*) представлена в глаголе **моудити** "медлить", который, тем самым, правильнее было бы привести в соответствующей статье в форме с **оу** в качестве основного варианта, засвидетельствованного в памятниках 15 примерами против 2 со вторичным **мждити** (о случаях появления [Q] в результате ассимиляции гласного предшествующего носовому согласному см. [van Wijk 1931: 142; Селищев 1951: 277–278]). Последовательность **дл** в старославянском **мъдлость** не может восходить к праслав. **dl*, которое дало бы [л], но возникла после утраты слабого [ь], неоднократно встречающегося в древнерусских текстах периода до падения редуцированных (*мьдльна* Лк. 24, 25 Остр, *мьдлѣникъ* 2 П 3, 9 Христ [SSS], *мьдлити*, *мьдльнъ* Юрьевск. ев. XII в., 2об [Соболевский 1907: 90]). Итак, "идеальной" словарной формой разбираемого существительного является **мъдьлость** (ср. *mъdьlostь* в SA и [Shevelov 1964: 362]).

мѣсити: в цитате из Супр 397, 16–18, иллюстрирующей данную лексему, присутствуют сразу две формы, не отмеченные в ССС ни в каких *отсылочных статьях*: **грозньвъ** и **мьстъ**, – хотя далеко не всякому читателю ясно, что необычную форму род. падежа мн. ч. **грозньвъ** следует искать в статье **грознъ**, а **мьстъ** – в статье **мъстъ** (где, однако, написание с **ь** не оговорено).

навъыкнжти: возвратный формант **сѧ** в конструкции **вѣдѧтъ сѧ навъыкъшии глаголѣмоѥ** Супр 419, 16–17 относится не к рефлексиву **навъыкнжти сѧ*, а к глаголу **вѣдѣти сѧ**.

Разделение **надоути сѧ**, **-доуѩ сѧ** и **наджти**, **-дъмѫ** представляется сомнительным: поскольку парадигма наст. вр. **-доуѩ сѧ** нигде в материале не отражена, оба глагола – с точки зрения принципов, принятых в ССС, – более правомерно было бы поместить в одной статье **наджти, надоути, -дъмѫ** (ср. варианты с носовым и без в статьях **гнѫсьнъ, гноусьнъ** или **нждити, ноудити**). Впрочем, отсутствие в старославянских памятниках примеров с **ж** в основе инфинитива при несомненном наличии **оу**, а также словенский глагол *dúti*, где [u] не восходит к *Q*, заставляют внимательнее отнестись к мнению А. Вайана, который полагал, что в праформе (реконструируемой им в виде **deumti*) носовой **m* перед **t* утратился, и в качестве старославянской формы инфинитива принимал не **джти**, а **доути** [Vaillant 1948: 289; 1950: 96].

Непонятно, почему имя собственное **нада** считается склоняемым, а **наинъ** – несклоняемым, коль скоро оба засвидетельствованы только формами им. падежа, ср.: **нада нарицаѥмѫ наинъ** Супр 24, 21–22 – **въ градъ нарицаѥмъı наинъ** Лк. 7, 11 Зогр Мар Ас (в SSS – **наинъ**, **-а**).

---

[4] Представляется все же нежелательным *ad hoc* нарушать правила русской орфографии, сохраняя старое написание Клоцов.

напьсание: в контексте из Лк. 2, 2 данное существительное выражает значение "перепись", а не "список" (см. синодальный перевод Евангелия).

наоутриꙗ, **-ии** *с мн.* (?) *или* **-иѩ** *ж* (?): столь значительные колебания в грамматической характеристике слова находятся в противоречии с однозначным определением, данным в статье **оутриꙗ**, **-иѩ** *ж*; поскольку оба существительных употреблены в близких контекстах на протяжении всего двух строк в соответствии с греч. ὄρθρος (**заоутра · кгда... наоутриꙗ х҃с вьскрьсениꙗ свѣтъ просвѣти мирови · оутриꙗ бо х҃с** Супр 348, 16–18 – Προΐ, μετὰ τὸ... τὸν ὄρθρον Χριστὸν τὸ τῆς ἀναστάσεως φέγγος αὐγάσαι τῷ κόσμῳ· ὄρθρος γὰρ ὁ Χριστός), лаконизм второй статьи кажется более оправданным.

Форма **непразна**, дважды зафиксированная в Саввиной книге, по нашему мнению, не является фонетическим вариантом к **непраздьна**. Заслуживает внимания то обстоятельство, что упрощение групп согласных в результате падения редуцированных, традиционно постулируемое для **празн-** [Щепкин 1899: 140; Diels 1932: 139; Vaillant 1948: 71], в старославянском языке нигде, помимо этого сочетания, не наблюдается (сокращение **чен-** (с̂) в заголовках Ас 116d 25, 117a 1, 3, 22, 118b 18 и др. vs. **честънъıѩ** 150a 27–28 и на фоне однотипных сокращений типа **стра** (с̂) 121a 19, **пѣ** (с̂) 158b 1, вопреки П. Дильсу, нельзя признать в данном отношении информативным; о форме **бѣство** < **bĕgstvo* см. [Фортунатов 1908: 1427–1428; Diels 1932: 123; Vaillant 1950: 84]). Представляется анахроничной и попытка объяснить аналогическим повторением эффекта йотовой палатализации формы **опражнѣатъ** Лк. 13, 7 Зогр Мар и **оупраж҆нениꙗ** Супр 54, 16 [Vaillant 1948: 65], обнаруживаемые в тот период, когда древние чередования в группах согласных, напротив, уже подвергались выравниванию, ср. **ізъѣсньшиимь** Евх 52а 25, **съблажзнъш-** Евх 22б 4, 19, **оумѫдрѣѩ** Пс 18, 8 Син, **оумѫдренъı** Супр 175, 24, **смотрѣеші** Пс 9, 35 Син, **съматра҆ше** Супр 88, 29 и т.п. [Diels 1932: 138]. Естественнее предположить, вслед за Ф.Ф. Фортунатовым и В. Вондраком, что рассматриваемые прилагательные содержат разные суффиксы: **праздьнъ** возникло из *porzd-ьnъ, а **празнъ** – из **porzd-nъ* (ср. суф. *-n-* в **toi̯sk-nъ* > **тѣснъ**, **roi̯sk-n-* > ***рѣсн-ота** и др. [Фортунатов 1908: 1428–1429; Vondrák 1912: 186–187], см. также ниже о **разн-**). Доказательства такого различения мы находим в словарных статьях **праздьникъ, праздьновати, праздьнъ, праздьньство**, каждая из которых включает и примеры с **празн-**; особенно симптоматична форма о **празньствѣ** Зокр лл 2а 5, содержащая последовательность [зн], которая не могла возникнуть из [здьн] в результате падения редуцированных, поскольку перед слогом с утратившимся слабым [ь] в суф. **-ьство** сильный [ь] в суф. **-ьн-** должен был бы вокализоваться (ср. **празденъствоу** Евх 1б 13); столь же показательна и форма *празнь*, встречающаяся в древнерусских памятниках уже в XI в. [Сл XI–XVII, 18, 133] и никоим образом не возводимая к **праздьнь*, которое дало бы **праздень*. Примечательно, что глаголы **испразнити** и **оупразнити**, однокоренные указанным выше словам, приведены в ССС только с **-празн-**.

Архаичный вариант местоимения **ничьтоже** – форму без **-то ничьже** (от которой образован глагол **оуничьжити**) – стоило бы, как мы полагаем, выделить в особую, хотя бы ссылочную, статью.

ногьть (опечатка вместо **ногъть**): для Gen. sg. (отсутствующего в материале) в ССС реконструируется окончание **-и** вместо исконного консонантного **-е** (о консонантном склонении свидетельствуют Gen. pl. **ноготъ**, Instr. pl. **ногътъı**); если все же приводить для данного существительного не "идеальное" (т.е. исконное) склонение,

а новое – по основе на **i*, в муж. роде нормализованная форма Nom. pl. должна выглядеть не как **ногъти** (в CCC – **ногъти** *орудие пытки*), а как **ногътик**.

Читателю старославянских памятников, на которого рассчитан словарь, трудно будет догадаться, что форму **нѣдра**, не оговоренную на своем алфавитном месте (в отличие от SA), следует искать в статье **ѫдра**.

облобъзати: должно быть **облобъзати сѧ**, поскольку в Пс 84, 11 Син представлен не пассив, а взаимно-возвратный глагол (**правъда и мiръ облобъзасте сѧ**).

В CCC напрасно объединяются слова с приставками **о-** (из **ob-*), **объ-** и **обь-**, равно как и **о-** (из **ot-*), **от-** и **отъ-** [Фортунатов 1908: 1440–1441; Diels 1932: 87–89], ср.: **объдрѫжати** *см.* **одръжати**, **объѹбожати** *см.* **ѹбожати**, **обьстоѧти** *см.* **остоѧти**, **отъкрꙑти** *см.* **окрꙑти**, **отъня-** *см.* **отѧти**, **отъшълъць** *см.* **ошълъць**; **отъстѫпати** и **отъстѫпити** приводятся под **остѫпати** и **остѫпити**, **отъход-** под **оход-** и т.п. Между тем, например, в статье **остоѧти** нет ни одного примера с подобной формой, но только цитаты с **объ-** и **обь-**; **отъити** без всяких оговорок включен в статью **отити**, так что читателю остается недоумевать, почему глагол **отити** имеет столь различные причастные формы, как **ошьдъıи** и **отъшъдъшоу**. Можно было бы предположить, что главным фактором, обусловливавшим такую подачу материала, являлась частотность тех или иных префиксальных форм, из которых и выбирался "основной вариант"; однако в ряде статей соответствующая статистика вообще не дается, и приходится принимать на веру, что, к примеру, образований с **отити** или **отъврѣщи** больше, чем с **отъити** и **отврѣщи**, в некоторых случаях – констатировать, в качестве основной выбрана все же не самая частотная форма (так, в статье **окрꙋвение**, **отъкрѣвение** вариант с **отъ-** отмечается в 6 примерах из 9; 21 пример с **отъходити** противостоит 16 образованиям с **о-**), а в случаях вроде несуществующего **остоѧти** – смиряться с подменой реального состояния старославянских памятников реконструкцией праславянских отношений, см. [Kurz 1972: 115–122].

Невозвратный глагол **обрадовати** выносится в заголовок только на основе причастия **обрадованаѧ**, калькирующего греч. κεχαριτωμένη, что едва ли верно, ср. статью **осклабити сѧ**, в которой содержится фразеологизм **осклабленѣ очи**, отнюдь не спровоцировавший автора статьи на выделение нерефлексива ***осклабити** (заметим, что в SA форма *obradovana* дается под *obradovati sę*).

овощє: приведенная в словаре форма Instr. sg. **овоштємъ** в контексте **цѣтьцъ прѣдъвараштъ прѣдъ овоштємъ** Супр 284, 22–23 вряд ли относится к neutrum **овощє**, но, скорее, должна быть определена как **овощь** муж. рода в значении "плод" (ср.: обрѣте тоу дрѣва различьна... и *овоща различьны* Усп. сб., 289а); **овощє** в собирательном значении "фрукты" фигурирует в другом контексте: **сънъ колъбаше сѧ акъı овоштє зъблѣмо отъ многа вѣтра** Супр 570, 9–19. Вполне корректно этот материал представлен в SSS: **овощє, -а** n. seu **овощь, -а** m. *плод, фрукты*.

озмьренъ, как явствует и из греческой параллели ἐσμυρνισμένος, – не прилагательное (которое должно было бы иметь суф. **-ьн-**), а адъективированное причастие с причастным суф. **-єн-** (по системе сокращений, принятой в словаре, – *прич.-прил.*).

оклоснити (**како оклосниша ємоу вельбжди** Супр 218, 10) – это не "охрометь" (подобное значение выражалось бы глаголом **оклоснѣти**), а "сделать хромым" (так и в SSS); помимо словообразовательной модели, характерной для каузативов, данное толкование подтверждается и тем, что форма мн. ч. глагола не может быть сказуемым при ед.ч. существительного, но только главным членом односоставного предложения с дополнением в вин. падеже.

Парадигма, указанная для **оковати, – окоуѭ, окоуѥши** – не согласуется со спряжением **ковати (ковѫ, ковеши)** и **поковати (поковѫ, поковеши** *или* **покоуѭ, покоуѥши)** – при том, что во всех трех случаях имеются только образования от основы инфинитива (в SA – *okovati, -kovǫ*).

Для **опрѣти сѧ, опьрѫ сѧ, опьреши сѧ** "опереться" не следовало бы приводить в заголовке (через *или*) вариант **опьрѣти сѧ, опьрѭ сѧ, опьриши сѧ**, который базируется лишь на вторичной, аналогической форме аориста **опьрѣшѧ сѧ**, унифицированной с основой наст. вр. и явно не имеющей ничего общего с парадигмой глагола **пьрѣти сѧ** "спорить".

осѣдълати: вопреки Супр 51, 3 и 221, 17, где, вероятно, отражено смешение редуцированных, более правильной представляется форма **осѣдлати**, на которую указывают неоднократные древнерусские примеры, демонстрирующие в данном корне [ь] (*бесѣдьла* в Поучениях Кирилла Иерусалимского XII в., 117 об [Соболевский 1907: 66], *сѣдьла* в Троицком сборнике XII–XIII вв., 3 [Срезн.]) и последующую вокализацию [ь] в [е] [Срезн., s.v. *сѣдьло, сѣдьлникъ, сѣдьльничии, сѣдьльныи*] (ср. также [Vondrák 1924: 195, 726]); в свете этих примеров редуцированный после **д** трудно квалифицировать как исконный [ъ] [Moszyński 1957: 117] и тем более признать "просто графическим" [Vaillant 1950: 90].

Спряжение **основати, осноуѭ** противоречит принятому в палеославистике **основати, основѫ** (ср. SA).

Позднейший вариант **остроугати,** который может быть выведен на основе возникшей вследствие устранения исторического чередования **ъ/оу** аористной формы **остроуга** Супр 392, 15, уместно было бы, думается, привести в виде отсылки к **остръгати** (см. SA).

В конце статьи **отъвѣщаватн** дана ссылка на глагол **отърѣкати сѧ,** которого, однако нет в словаре. В SSS, из которого, судя по всему, эта ссылочная статья попала в CCC, указанный рефлексив иллюстрируется только цитатами из Бесед Григория Великого XIII в.

Наречия **отънѫдоу, отънѫдоуже, отънѫдь** на фоне образованных по тому же типу **отъвьсѫдоу, отъкѫдоу, отътѫдоу** затруднительно расценить иначе, как производные от местоименного корня ***и** (***jь*), а следовательно – предпочтительнее давать с мягким **й** (отмеченным в текстах), – или по крайней мере оговаривать в заголовке оба варианта, как это и сделано – почему-то в порядке исключения – в статье **отънѫдѣже, отънѫдѣже** (в SSS варианты с **ѫ** и **ѭ** даются параллельно во всех относящихся сюда случаях). Впрочем, формы типа **отьнѫдь,** возводимые к другому корню – ***in-**, но вторичным образом контаминировавшиеся с **отънѫдь,** также заслуживают того, чтобы быть отраженными в соваре (ср. SA, 246, 247).

отъръвати: предполагать в форме **отъръвена** Супр 133, 12 описку (вместо **отъръвана**), как это нередко делают, все же, на наш взгляд, необязательно, поскольку здесь, скорее всего, имеет место причастное образование от основы **-ри-** [Vaillant 1948: 275], представленной в перфективе **ринѫти,** имперфективе **ривати** и реконструируемом из ср.-русск. *риятися* и русск. *рьяный* более древнем имперфективе **ринати** (см. ниже). Соотношение между первичным бессуффиксным глаголом ***riti** (< ***rejtej**) и part. praet. pass. **-рьвенъ** напоминает отношения в парах **шити – шьвенъ, кръгти – отъкръвенъ, мъгти – оумъвенъ** (где **-ъv-** связано чередованием с исконным корневым ***ū**); по-видимому, причастия на **-ъвенъ** и послужили образцом для незакономерной формы **отъръвенъ** с фонетически не объяснимым **-в-**. В свете корреляций **лити – линати** (наст. вр. **лѣѭ**), **зинѫти – зинати (зѣѭ), ринѫти – ? (рѣѭ)**

"идеальные" инфинитивы к формам наст. вр. **рѣѧ, отърѣѭ, отърѣеши, порѣѥ**, зафиксированным в канонических памятниках, представляется возможным восстановить в виде **рипати, отърипати, порипати** [в ССС даются соответственно **рѣяти, отърѣяти** и **порѣяти** (?), **порипати** (?)], а основу инфинитива **рѣя-**, засвидетельствованную в старославянском в форме имперфекта **рѣаше** Супр 90, 13, трактовать в качестве вторичного образования en pendant к презентной основе **рѣѥ-** (ср. аналогическое **зѣя-** в отглагольном существительном ц.-слав. **зѣяние** vs. исконного **зияние** [Vaillant 1948: 266–267]).

Ошибочное написание Супр 281, 23 **отъштиштати** сопровождается в ССС предположением: (*вм.* **отъштештати?**), ср. замечание С.Н. Северьянова в издании Супр: "**...шти...** у *писца ошибочно вм.* **...ште...**"; однако имперфектив к **отъцетити** должен был бы звучать как **отъцацати** (с продлением $^*e > {}^*\check{e}$ и последующим переходом $^*\check{e} > a$).

Толкование глагола **плоути** как "плыть, плавать на чем-л." не учитывает контекста, в котором данный глагол – вслед за греческим оригиналом – реализует переходное значение "переплывать": **плоу исоусъ море** Супр 428, 21.

познати: в примере из Супр 489, 9 словарь сохраняет неверный словораздел издания С.Н. Северьянова: вместо **не оубо бѣ мѫжа познала** должно быть **не оу бо** "ибо еще не" (οὐδέπω γάρ) – как и было в первом издании Ф. Миклошича [Miklosich 1851: 374].

польѕевати: "идеальные" формы наст. вр. должны были бы отражать мягкость согласного – **польѕюѭ, польѕюеши**.

помрачити: форма адъективированного причастия несов. вида (вопреки А. Вайану [Vaillant 1948: 327]) **непомрачѭщиимь сѧ** Евх 32б 10 "немеркнущим" (наряду с **неп⟨ом⟩рачѭщиимь сѧ** 32а 23), с тематическим ⟨*о*⟩ после $^*j$, предполагает инфинитив **помракати сѧ**, наст. вр. **помрачѫ сѧ, помрачеши сѧ** (имперфектив к **помрачити сѧ** по типу **скакати – скочити**)[5]: представленное в словаре соотнесение этой формы с перфективом **помрачити сѧ**, причастие от которого звучало бы **помрачѧ сѧ**, род. падеж **-чѧща сѧ** (по типу **молѧ – молѧща**), не только вынуждает прибегать к таким уязвимым объяснениям, как декларирование в обоих случаях фонетической или графической замены – **ѭ** (обычного в Евх после шипящих, см. [Vondrák 1912: 379–380]) вместо **ѧ** – или действия морфологической аналогии [van Wijk 1931: 146] (о ср.-болг. формах типа **приходѧщи** см. [Vondrák 1912: 145–146]), но и затемняет видовую корреляцию: **помракати сѧ** "меркнуть" – **помрачити сѧ** "померкнуть" (ср. **въскакати** "вскакивать" – **въскочити** "вскочить"). Впрочем, при отсутствии иных форм глагола **помракати сѧ**, помимо "прилагательного возможности" [Гавранек 1963: 69], в ССС его пришлось бы приводить разве что в виде отсылки к **непомрачѧ сѧ** (см. следующее замечание).

помрьцати: статья нарушает принцип словаря – не реконструировать инфинитив, если глагол засвидетельствован "формами причастий (в том числе и с отрицанием), употребляемых в функции прилагательного или существительного ⟨,⟩ при отсутствии других форм данного глагола" (с. 43). Поскольку для **помрьцати** имеются лишь *цитаты с адъективированным причастием* **непомрьцаѩ** – уже выделенным в самостоятельную статью, – следовало бы, вероятно, не раздваивать лексему, а сохранить инфинитив только в качестве отсылки.

---

[5] Вариант **помрачати, -четъ** [Aitzetmüller 1977] маловероятен, так как глаголы на **-ěti*, кроме аномальных **хотѣти** и **довьлѣти** [Vaillant 1948: 249], имеют презенс на *-ěj-*.

В статье **послѣдьнии** неправильно подан фразеологизм **послѣдьнꙗꙗ землѩ**: *в* цитате представлен не датив **земли**, а генитив **землѩ**.

потрѫгнѫти: вместо формы **ини**, исправленной в рукописи из **инъ** (но в словаре, к сожалению, напечатанной как **нии**), в контексте **ини же потрѫгнѫвъше** (в ССС опять опечатка – **и** вместо **н**. – *В.К.*) **безоумнꙑ съмыслъ · сьвѣтъ на нь творѣахѫ** Супр 331, 21–22, словарь предлагает конъектуру: читать **инъ** – т.е. так, как было до исправления и как читается в Усп. сб., 239б. Однако эта поправка, ориентированная на греческий оригинал (ἕτερον... λογισμόν), не учитывает логики славянского редактора, который явно предпочел согласованию местоимения (**инъ**) и существительного (**съмыслъ**), далеко разнесенных в пределах синтагмы, координацию **ини** с глагольными формами мн.ч.

походити: форма **похождаахѫ** Ио. 19, 3, как будто отличающая Зогр от Ас и Сав, где читается **прихождаахѫ**, вошла в научный оборот вследствие ошибки в издании, тогда как в рукописи Зогр, заново исследованной Л. Мошиньским, присутствует именно **прихождаахѫ** [Moszyński 1961: 96, 131].

Едва ли правомерно объединение форм с этимологически различными приставками **пра-** и **прѣ-** типа **прадѣдъ – прѣдѣдъ, праотьць – прѣотьць** и др. (см. [Vaillant 1948: 51]); *в частности, обращает на себя внимание статья с якобы вариантными заглавными* формами **прародитєльнъ, прѣродитєльнъ**, состоящая, однако, из единственной цитаты с **прѣ-**.

Написание **привесла** Супр 429, 13 следовало бы отразить в ССС лишь в качестве отсылки к **весло** в значении "руль", не реконструируя удивительный глагол **привеслати** "привезти на корабле", так как в сравнении с греч. καλὰ τῆς ἀνθρωπίνης κατέσχε πηδάλια соответствующий фрагмент Супр может быть удовлетворительно разделен на слова только с допущением описки – пропуска основной части глагольной словоформы: **добраꙗ оусєлєнъıѩ при⟨ѩ?⟩ весла** [Cooper 1972: 166–167].

примати: не совсем понятно, почему сочетания **болѣзнь примати, мѫкѫ примати** и т.п. служат "для выражения страдательного залога"; видимо, авторы смешивают страдательный залог как грамматическую категорию с различными синтаксическими конструкциями, в которых формальный субъект соответствует семантическому (логическому объекту).

пропѧти: не обязательно предполагать описку (*вм.* **пропѧ сѧ**) в контексте **ста дрѣво крьстьное · на немъже пропѧша истинънъıи виноградъ** Супр 353, 16: под пером славянского книжника греческая пассивная конструкция вполне могла быть переосмыслена как односоставное предложение с формой 3 л. мн. ч. аориста, даже невзирая на то, что далее идет причастие в форме им. падежа ед. ч., относящееся к **виноградъ, – глаголѧи**.

Глаголы **простьрѣти** *и* **оумрѣти**, *относившиеся к одному словоизменительному типу,* даны в ССС по-разному: рядом с первым глаголом через запятую (т.е. – согласно правилам, сформулированным в разделе "Построение словарной статьи", с. 44, – в качестве фонетического варианта) приводится форма **простьрѣти** (видимо, вследствие типографской опечатки – **простърѣти**), имеющая морфологическое происхождение и обязанная своим возникновением влиянию презентной парадигмы; в то же время **оумрѣти** вполне корректно дается без вариантов, и лишь в порядке комментария, в квадратных скобках отмечено, что инфинитив встречается и с основой **оумьрѣ-**. Следует упомянуть также, что форма **простърѭ** Пс 59, 10 Син указывает на наличие не оговоренного в словаре глагола **прострьти**, спрягавшегося по III классу, по образцу **жрьти, жьрѭ**, и отраженного в церковнославянских текстах русской редакции, ср.: на

земли *простренъ* Мин. ноябрь, 446. 1097 г. (Сл XI–XVII, 20: 241); не дерзнувша ногу *простерти* ЗЦ к. XIV, 74а (СДРЯ, III: 382).

прѣдъ и **прѣдь** – предлоги, этимологически различающиеся конечными гласными вследствие происхождения от существительных разных склонений: первый является окаменевшей формой вин. падежа **o*-основного имени, второй – **i*-основного (вин. и мест. падежи существительного **perdъ* сохраняются в наречиях *впредь* и **прѣди**, *впереди* vs. *перед*, *вперед* от **perdъ*, ср. параллельное употребление исконного существительного *передъ* и наречия *переди* в следующем контексте: Роман же передъ свои. посла ко Прѣсньскоу. да заѣдоуть Преснескъ переди ЛИ, 662; аналогичное сосуществование форм на *-ъ* и *-ь* наблюдается в случаях **близъ**, *задъ* – но *вблизи*, **задн**, **съзадн**, *назадъ* [Vaillant 1977; 132], откуда выводятся **blizъ* и **zadъ*). Тем самым **прѣдь** едва ли следует рассматривать как фонетико-орфографический вариант **прѣдъ**, подобный приводимым в одном ряду с ним формам **прѣд'**, **прѣд**, **прѣдо** и **прдъ**; то же, как мы полагаем, относится и к приставкам **прѣдъ-** и **прѣдь-**. Знаменательно, что **надъ** и **подъ**, не имеющие морфологических вариантов на **-ь**, почти не обнаруживают в старославянских памятниках написаний с **ь** (см. [Vondrák 1912: 252, 254, 255]).

прѣжде: в числе устойчивых сочетаний с этим словом указано **прѣжде въпиѫти** с отсылкой к статье **въпиѫти**, которой в словаре нет, и вполне закономерно, так как формы типа **въпиѭ** принадлежат к парадигме глагола **въпити**.

В статье **прѣѭхати** дается отсылка к **възѭхати**, хотя согласно разделу о нормализации написания заглавного слова (с. 41) буква **ѫ** употребляется в ССС только в начале слога; показательно, что статья **възѭхати** приведена на с. 142 с отсылкой к **възѣхати**.

прѫсти: в Лк. 12, 27 Зогр нет описки **прѫхѫтъ**, дважды оговоренной в словарной статье, – это лишь опечатка ягичевского издания, вместо реального и правильного **прѫдѫтъ** [Moszyński 1961: 71].

Странно видеть отсылочную статью **псъ** *см.* **пьсъ**: все-таки, по-видимому, в Nom. sg. это слово вряд ли когда-нибудь писалось без гласного в корне.

Форма **разлѫѵєнъ** Супр 86, 24 "коварный, лукавый" правильно определена как прилагательное, однако, как таковое, оно должно иметь в заголовке не причастный суф. **-єн-**, а нормализованную форму без вокализации сильного редуцированного – **разлѫѵьнъ**.

Основа **разн-**, регулярно отражающаяся в старославянских памятниках без редуцированного, снабжена в словарных статьях неорганическим **ь** (**разьн-**). Против такой конъектуры свидетельствуют написания **разнъствитъ**, **разньства**, **разнъствова**, демонстрирующие отсутствие гласного перед слогом со слабым [ь] (в случае с **разьн-* ожидалось бы **разєнств-*). Об исконности сочетания [зн] говорят и древнерусские примеры с чередованием [зн] / [сн], характерным для изначально безъеревых форм типа *рязна* / *рясна*, *трѢзна* / *трѢсна*, *главизна* / *глависна* и др. (по *роснамъ* землѧмъ Усп. сб., 8г; въставивъше на сани на *росны* 25в; по *расна* лѢта Устюжская кормчая XIII в., 426 22 [SSS, s.v. **разьнъ**]). Примечательно, что в статье **понти** представлена конструкция **понти разно** – с правильным написанием наречия, между тем как **разьно стоѫти** s.v. **стоѫти** ориентировано на неверное написание.

ржковьѫть: **ѫ** после согласного противоречит принципам словаря (ср. **ржковать**, **ржкоѭать** в SSS); в той же статье указано значение 1 "охапка, сноп", но нет значения 2.

Прилагательное **самарѣнскъ**, зафиксированное один раз в Ассеманиевом евангелии, образовано от существительного **самарꙗ** и содержит обычный для данного памятника результат вокализации [й] > [е], а следовательно, в нормализованном виде должно иметь форму **самаринскъ**.

скоръпии, -ꙗ *м или -ꙗ ж (или м?):* это существительное представлено в материале не только двусмысленными примерами Acc. pl. с окончанием **-ѧ**, которые могут относиться как к **o-*, так и к **a*-склонению, но и однозначно **a*-основными Acc. sg. **скорпіѭ**, Dat. pl. **скорпиамъ**, равно как и однозначно **o*-основным Acc. sg. **скорьпии**, что позволяет заменить союз *или* при определении склонения (род. падежа) союзом *и* (ср. правило подачи подобных форм на с. 45).

Германское заимствование **скѣлѧзь** (из *skilling-*), зафиксированное в Саввиной книге с **ь** после заднеязычного, а в Мариинском евангелии – без редуцированного, возможно, правильнее было бы привести в форме с реально засвидетельствованным **ь**, закономерно соответствующим германскому *i*, а не с конъектурным **ъ**, как дано в словаре в согласии с давней традицией, предполагающей переход неизвестно откуда взявшегося **ъ* в "общеславянском **скъллгь**" в [ь] [Щепкин 1899: 198, 307]. Отсутствие эффекта I палатализации в этом слове вполне может быть сопоставлено с аналогичным явлением в непосредственно соседствующем с ним **кинъсьнъ / кинъсовъ** (**склѧзъ кинъсъны** Мф. 22, 19 Мар, **скьлязь киносовъı** Сав) и в формах типа **скинии** и объяснено тем, что первая палатализация в южнославянском ареале перестала действовать еще до заимствования (впрочем, очевидно, разновременного) данных лексем – в то время как на востоке славянской территории *skilling-*, вероятно, был заимствован раньше, еще в эпоху первой палатализации, но не испытал действия третьей, ср. др.-русск. *щьлягъ* на фоне аналогичных *варягъ, кълбягъ, стьга, польга, нельга* [Ляпунов 1912: 529–530].

Наречие **съзади** дано с отсылкой к статье **зади**, где и приведены соответствующие примеры, что наводит на мысль о возможности образования предложных сочетаний с наречиями, тогда как в действительности оба наречия образованы от разных падежных форм существительного **zadь*. – Заметим, что наречие **съпроста** дается отдельно, без отсылки к **простъ**.

Заголовок **сътрьти** *или* **сътрѣти, сътьрѫ, сътьрѣши** некорректен, так как эти глаголы не характеризуются общей парадигмой: **сътрьти** – глагол III класса со спряжением типа **сътьрѫ, сътьрѣши**. К парадигме данного глагола относятся, например, отмеченные в памятниках формы императива **сътьримъ**, part. praet. pass. **сътърени**, сигматического аориста **сътрь** и **сътръшѧ**, которым в парадигме глагола I класса **сътрѣти** соответствовали бы **сътьрѣмъ, сътрьти, сътрѣ** и **сътрѣшѧ**. Правда, некоторые формы вследствие факультативности обозначения исконной мягкости согласного и смешения редуцированных оказываются амбивалентными (**сътъретъ, сътъръши**), а некоторые отражают морфологическую инновацию (аорист **сътьрѣ** – под влиянием наст. вр. **сътьрѫ**); в этой ситуации все несомненные примеры с **сътрѣти** резонно было бы выделить в особую статью, оставив двусмысленные формы в статье **сътрьти**, отражающей более раннюю парадигму (ср. леммы **сътрьти** и **сътрѣти** в [Aitzetmüller 1977]).

В глаголе **сътъкати** "возвестить, сообщить" присутствует тот же корень, что и в **пръттъча**, соотносящемся, в свою очередь, с **тъкати** (**тъкѫ**) [Фасмер]; следовательно, колебания в выборе формы 1 л. ед. ч. наст. вр. (**сътъкѫ** *или* **сътъчѫ**), скорее всего, излишни.

С точки зрения нормализации написаний странно выглядит заглавное слово

съзвѣстовати, ориентированное на форму Клоцева сборника, которая отражает результат изменения [ъjь] (ср. *sъizvěstovati* в SA).

Для местоимения **себе** в ССС избрана весьма нетрадиционная начальная форма, по вин. падежу – **сѧ**. Следует заметить, что формулировка: "...образующее страд. или возвр. форму глагола" – неточна, так как рефлексивы – это не формы невозвратных глаголов, а самостоятельные лексемы, да и выделение возвратного пассива как залоговой формы, а не одного из частных значений рефлексивов, думается, слишком явно продиктовано залоговыми противопоставлениями в современных славянских языках и не учитывает далеко еще не полной сформированности категории залога в старославянском.

сѫпротивьнъ: в цитате из Супр 543, 6 сохранен неверный словораздел издания: **стража крѣпы на вьсѧ сѫпротивьныѧ и мытыѧ**, – при том, что под буквой **Ѫ** нет никакого **мытъ**. На самом деле, как доказал Д.С. Купер, последняя часть этого отрезка должна читаться **имы тыѧ** "имея их" [Cooper 1972: 165].

Статья **трьти** содержит только примеры с глаголом **трѣти** (см. выше о **сътрьти – сътрѣти**; ср. [Aitzetmüller 1977]: **трѣти**).

тъзьньнъ: **ь** после **з** не нужен, о чем свидетельствует и форма Ен 30б 5 **тъзнъѭмоу**, не отражающая гласного перед слогом со слабым редуцированным (ср. **тъзньнъ** в SSS).

оу: интерпретация сочетания **оу рама** в контексте: **гл(ас)ъ оу рама слъшанъ бъістъ** Мт 2, 18 Сав – как мест. падежа (**рама?!**) с предлогом **оу**, выступающим в качестве фонетического варианта **въ**, не кажется убедительной. Вместо того чтобы ad hoc постулировать необычное для языка Саввиной книги фонетическое изменение, логичнее было бы усматривать здесь нормальный предлог **оу** [Щепкин 1899: 296] в соединении либо с несклоняемым существительным, сохраняющим -а-форму оригинала, *либо с генитивом от* **рамъ** (*ср. в Ас правильный, хотя и неопределенный с точки зрения склонения локатив* **въ рамѣ**); уже упоминавшиеся колебания в родовом оформлении иноязычных названий городов *вполне допускают второе решение*. Что же касается изменения семантики пространственного детерминанта, которое произошло благодаря замене одного предложного сочетания другим, то оно, по нашему мнению, не было принципиальным.

Поздний вариант **оугождати** (Евх), отражающий отнюдь не тривиальное для старославянского обобщение основ **оугодити – оугаждати**, стоило бы, пожалуй, выделить в качестве ссылочной статьи.

оудрьжати: *вследствие стремления авторов вывести все значения возвратных* глаголов из семантики нерефлексивов глагол **оудрьжати сѧ** в значении "волноваться, томиться, быть в тревоге" почему-то приписан к первому значению **оудрьжати** – "удержать / удерживать, сохранить / сохранять".

оузъловити: форма **въїглъна**, приведенная в этой статье в цитате из Пс 43, 3 Син, снабжена восклицательным знаком в круглых скобках, что, согласно разделу "Построение словарной статьи" (с. 52), относит ее к числу ошибочных написаний, каковые, согласно тому же разделу, "даются ссылочными статьями с указанием основной словарной статьи". Однако читатель Синайской псалтыри, который обратится за справкой к ССС, в данном случае, к сожалению, обречен оставаться в неведении: на алфавитном месте ссылочной статьи **въїглъна** нет. Впрочем, реально нет и такой формы: эта описка была исправлена еще в рукописи, где, согласно издательскому примечанию С.Н. Северьянова, **ї** и **л** стерты, т.е. остался нормальный аорист **въгъна** (ἐξέβαλες).

В статье **хризмьнъ** не приведена греческая параллель.

чешюꙗ – но **шоүи, шоүица, шоүмъ.**

Помимо спорных и порой ошибочных трактовок, в принципе не столь уж многочисленных на фоне огромного количества основательно и квалифицированно написанных статей, словарь, к сожалению, не свободен и от опечаток, которые столь нежелательны в изданиях подобного типа и которых, наверное, можно было избежать, учитывая длительный путь книги от издательства к читателю. Отметим опечатки в заголовках: **авиатаръ, а-** вместо **-ра; вьзѧтик** вместо **възѧтиѥ; въскорѣ** *см.* **скорѣ** – очевидно, вместо *см.* **скоръ; въшьнѧ** *см.* **въшьнѧ**– вместо *см.* **вышьнѧ; гнѣвъıи** *см.* **гнѣвъливъ** – вместо *см.* **гнѣвьливъ; девѧть, -ъıи** – вместо **девѧтъ; диоптоүха** – вместо **диптоүха; дъвопомостить** – вместо **-итъ; именить** – вместо **-итъ; иордъданьскъ** – вместо **иорданьскъ; лице**, род. п. **лице** – вместо **лица; лъгъıнѧ** – вместо **льгъıнѧ; навеүерНк** – вместо **навеүерик; сланъ, -ы** вместо **-ъıи; сүрьскъ** *прил. к* **сириꙗ** вместо **сүриꙗ; твърдостъ, съ твьрдостиѭ** – вместо **твърдость, съ твърдостиѭ.** Управление твор. падежом при глаголе **власти** обозначено формой **чемь** (Loc.) вместо правильного **чимь.** Слово **кодрантъ** (римская монета) толкуется по-русски мужским именем (правда, со строчной буквы) "кондрат", между тем как синодальный перевод Евангелия демонстрирует в этом случае (Мк. 12, 42) форму *кодрант*. В статье **съблюсти** возвратный глагол **съблюсти сѧ** переводится русским "сохранить" вместо "сохраниться". Перечислять все примеры смешения[6] и пропуска букв[7], отсутствия придыханий в греческих словах и других, с трудом классифицируемых опечаток[8] означало бы, по-видимому, уделять слишком большое внимание мелочам – но есть ли мелочи в словарном деле?

Итак, читатели получили в свое распоряжение ценнейший лексикографический труд, который несомненно во многом послужит образцом для последующих работ в этой области. Отдельные недостатки ССС, на которые мы сочли нужным обратить внимание в настоящих заметках, в значительной степени объясняются традиционным, к сожалению, для исторической лексикографии отрывом словарной практики от достижений историко-грамматической науки, а также отсутствием общей редактуры, как научной, так и технической, которая позволила бы избежать ненужного разнообразия в подаче однотипных явлений. Хотелось бы надеяться, что наши конструктивные замечания, отнюдь не преследовавшие своей целью умалить бесспорное значение "Старославянского словаря" для славистики, окажутся небесполезными для специалистов, работающих сейчас над другими историческими словарями.

---

[6] В частности, н и и, б и в, і и г (**гасгѣ** вместо **гасіѣ** в ст. **гаин**), *щ и щ*, ж и ѭ (**събірааҳѭ сѧ** в ст. **събирати**), ѧ и ж (**сътѧзааҳж сж** в ст. **сѧ**), щ и щі / щ (**ꙗзъıщі** в ст. **оүблажити, пьтща** в ст. **ҳрамина**), греч. Х и Н ("*Ҳра* в ст. **ереꙗ**), *ϑ и ς* (*κατηραμένοϑ* в ст. **проклѧти**), *χ и ϑ* (*αἰνίσσεσχαι* в ст. **назнаменовати**), *χ и κ* (*χαρίζεσϑαι* в ст. **дарити**).

[7] Например, Маарисий вместо *Маарнисий в ст.* ***маарнисии.***

[8] Например, **bezsrьdьnъ* вместо **-sьrd-*, **ugьlbnǫti* вместо **-glьb-* на стр. 27, **mǫdr'ǫ*, **mǫdrjǫ* вместо **mǫdr-*, **iščeznǫti ≥ *jьzkez-* вместо < *на с.* 28, **етҡръ** *на* с. 41, "гомилитический" вместо "гомилетический" на с. 48, **братрьнъ** вместо- **нь** на с. 49, **каргьлиүништа** вместо **кагрь-** в ст. **голѫбинъ, въ кростости** вместо **кротости** в ст. **тиҳость**, *не оговорена описка* Супр 428, 10 **оүштрашѫ** вместо **оүстрашѫ** в ст. **тольма**, "произошедший" вместо "происшедший" в ст. **тридьневьнъ, оүжаснжша** вместо **оүжаснѫша** в ст. **оүжаснѫти сѧ, оүнебъıтивъ** вместо **оү не бъıти въ** Клоц 3а 3 в ст. **оүкорити** (ср. ст. **оү**),: διδακτχ'ός в ст. **поүчаливъ**, πρ̥ότασις в ст. **оүставъ**, starosłłowiańska на с. 842. В ст. **младъ** вместо номера 3, вводящего третье значение слова, ошибочно напечатан фразеологизм ◆ **из младъ ногътии**, который затем повторяется уже на своем "законном" месте. **Наазианзиꙗ** – по-русски город Назианз, а не Назианс. К ст. **съборьникъ**: русско-церковнославянское название одной из книг Ветхого завета – не Экклезиаст, а Екклесиаст. К ст. **оүалериꙗнъ**: корректный русский эквивалент этого имени, принадлежавшего, в частности, римскому императору, – не Валерьян, а Валериан.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гавранек Б. 1963 – Залог (genera verbi) в старославянском языке в сравнительном плане // *Исследования по синтаксису старославянского языка.* Прага, 1963.

Дыбо В.А. 1981 – Славянская акцентология: Опыт реконструкции системы акцентных парадигм в праславянском. М., 1981.

Крысько В.Б. 1994 – Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М., 1994.

ЛИ – Ипатьевская летопись // ПСРЛ. Т. 2. М., 1962.

Ляпунов Б.М. 1912 – Отзыв о сочинении Н.М. Каринского: "Язык Пскова и его области в XV веке" // Сборник отчетов о премиях и наградах, присуждаемых Императорскою Академиею наук. IV: Отчеты за 1909 год. СПб., 1912.

СДРЯ – Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.). Т. 1–4 –. М., 1988–1990 –.

Селищев А.М. 1951 – Старославянский язык. Ч. I. М., 1951.

Сл XI–XVII – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–21 –. М., 1975–1995 –.

Соболевский А.И. 1907 – Лекции по истории русского языка. М., 1907.

Срезн. – *Срезневский И.И.* Словарь древнерусского языка. Т. I–III. М., 1989.

ССС – Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков). М., 1994.

Усп. сб. – Успенский сборник XII–XIII вв. М., 1971.

Фасмер – *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. 1–4. М., 1986–1987.

Фортунатов Ф.Ф. 1908 – Состав Остромирова евангелия // Сборник статей, посвященных почитателями академику и заслуженному профессору В.Н. Ламанскому по случаю пятидесятилетия его ученой деятельности. Ч. 2. СПб., 1908.

Шепкин В.Н. 1899 – Рассуждение о языке Саввиной книги. СПб., 1899.

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков: Праславянский лексический фонд. Вып. 1–21–. М., 1974–1995–.

Aitzetmüller R. 1967; 1969; 1970; 1974 – Suprasliensis-Materialien. I–IV // Anz. für slav. Philologie. 1967. Bd 2; 1969. Bd 3; 1970. Bd 4; 1974. Bd 7.

Aitzetmüller R. 1977 – Belegstellenverzeichnis der altkirchenslavischen Verbalformen. Würzburg, 1977.

Aitzetmüller R. 1978 – Altbulgarische Grammatik als Einführung in die slavische Sprachwissenschaft. Freiburg 1. Br., 1978.

Cooper D.S. 1972 – Old Church Slavonic **icělьba, *mytь, *privestati* // Anz. für slav. Philologie. 1972. Bd 6.

Diels P. 1932 – Altkirchenslavische Grammatik. Heidelberg, 1932.

Kurz J. O rekompozici prefigovaných sloves v slovanštině // Kurz J. Kapitoly ze syntaxe a z morfologie staroslověnského jazyka. Praha, 1972.

Leskien A. 1962 – Handbuch der altbulgarischen (alkirchenslavischen) Sprache. 8. Aufl. Heidelberg, 1962.

Lunt H.G. 1984 – On editing early Slavic manuscripts: the case of the Codex Suprasliensis, the Mstislav Gospel, and the Banica Gospel // IJSLP. 1984. V. 30.

Miklosich F. 1851 – Monumenta linguae palaeoslovenicae e Codice Suprasliensi. Vindobonae, 1851.

Moszyński K. 1957 – Pierwotny zasiag jezyka prasłowiańskiego. Wrocław; Kraków, 1957.

Moszyński L. 1961 – Ze studiów nad rękopisem Kodeksu Zografskiego. Wrocław etc., 1961.

SA – *Sadnik L., Aitzetmüller R.* Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. 's-Gravenhage: Heidelberg, 1955.

Shevelov G.J. 1964 – A prehistory of Slavic: The historical phonology of Common Slavic. Heidelberg, 1964.

SSS – Slovník jazyka staroslověnského - Lexicon linguae palaeoslovenicae. 1–45–. Praha, 1958–1995–.

Vaillant A. 1948 – Manuel du vieux slave. P., 1948.

Vaillant A. 1950 – Grammaire comparée des langues slaves. T. I: Phonétique. Lyon; P., 1950.

Vaillant A. 1958 – Grammaire comparée des langues slaves. T. II: Morphologie. Pt. 1: Flexion nominale. Lyon; P., 1958.

Vaillant A. 1966 – Grammaire comparée des langues slaves. T. III: Le verbe. P., 1966.

Vaillant A. – 1974 – Grammaire comparée des langues slaves. T. IV: La formation des noms. P., 1974.

Vaillant A. 1977 – Grammaire comparée des langues slaves. T. V: La syntaxe. P., 1977.

van Wijk N. 1931 – Geschichte der altkirchenslavischen Sprache. B.; Leipzig, 1931.

Vondrák W. 1912 – Altkirchenslavische Grammatik. 2. Aufl. Berlin, 1912.

Vondrák W. 1924 – Vergleichende slavische Grammatik. 2. Aufl. Bd 1. Göttingen, 1924.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1996

© 1996 г. И.Г. РУЗИН

ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЕЛЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ОБЪЯСНЕНИЯ ЯЗЫКОВЫХ ФАКТОВ

Общим местом современной лингвистики является мысль, что понять природу языка можно лишь на основе изучения человека и его картины мира в целом. В ряде новейших исследований языковые проблемы рассматриваются в тесной связи с сознанием, мышлением и практической деятельностью человека. Все больше укрепляется идея о том, что невозможно найти объяснение формированию языковых структур исключительно на основе внутренних факторов [Lee 1989], а также что описание слов с учетом их направленности на внеязыковую реальность может быть весьма продуктивным для выявления их собственного языкового содержания [UL 1988].

Исследуя отображение в языке окружающей человека действительности и преломление в нем неких внеязыковых категорий, мы приходим к заключению, что природа языковой единицы определяется очень сложной и подвижной совокупностью следующих факторов: 1) экстралингвистических — обусловленных объективной природой отображаемой в мысли и языке реальности[1]; 2) концептуальных — обусловленных закономерностями отображения объективного мира сознанием человека; 3) собственно языковых — обусловленных собственными закономерностями, действующими в человеческом языке. Будем в дальнейшем противопоставлять первые два фактора третьему как *концептуальные* (*внеязыковые*) собственно языковому (неконцептуальному).

Основную задачу настоящей работы можно сформулировать в двух аспектах: 1) онтологическом — в какой мере природа языковых единиц зависит от внешних (концептуальных) факторов, а в какой мере от собственно языковых; 2) гнесеологическом — какие языковые факты могут быть объяснены на концептуальной основе, а какие — нет. Естественно, мы не пытаемся претендовать на полное освещение вопроса, но как (используя тривиальное сравнение) можно судить о свойствах воды по по одной ее капле, так же можно (с достаточной осторожностью) умозаключать о природе *языка в целом на основании* детального исследования его фрагмента. В качестве последнего была избрана сфера перцептивных атрибутов русского языка, т.е. лексем, именующих признаки окружающего мира, воспринимаемые с помощью пяти внешних органов чувств: зрения, слуха, осязания, обоняния и вкуса. Мы обозначаем классы, выделяемые на этой основе как модусы перцепции, или перцептивные модусы. Зрение подразделяется на несколько (суб)модусов: восприятие света, цвета, формы и размера (следует отметить, что вышеперечисленными модусами визуальное восприятие отнюдь не исчерпывается). Поскольку в данной статье затрагиваются скорее теоретические, чем дескриптивные аспекты, мы вынуждены оставить за ее рамками детальное описание лингвистической природы перцептивных признаков (подробный анализ данного материала представлен в работе [Рузин 1995]). Огра-

[1] Мы не вдаемся в рассуждение о том, существует ли вообще эта реальность и какова ее природа. Нам импонирует представление ее в виде "экологического мира" Гиббсона [Гиббсон 1988] или "projected world" Джекендоффа [Jackendoff 1986]. Однако детальное исследование данной проблемы никак не входит в наши задачи.

ничимся лишь предельно кратким, суммарным изложением, без которого все дальнейшие рассуждения вряд ли будут понятны.

Прежде всего противопоставлены "характеризующий" (статический) признак и "проявляющийся" (динамический). В русском языке первый представлен атрибутами-прилагательными (*красный, горький, громкий*), второй — атрибутами-глаголами (*краснеть, горчить, греметь*). Атрибуты характеризующего признака противопоставляются и классифицируются по нескольким основаниям: экстенсиональные vs. интенсиональные; интрамодальные vs. полимодальные vs. кроссмодальные; объективные vs. субъективные и т.д. Экстенсиональные атрибуты определяются через соотносимый с ними объект. В свою очередь они подразделяются на аутореферентные (именующие признак объекта сам по себе: *лунный свет* "свет луны") и эталонные (именующие признак объекта по отношению к другому объекту: *изумрудная ткань* "ткань цвета изумруда"). Интенсиональные атрибуты, в отличие от экстенсиональных, указывают не на то, с ч е м соотносится перцептивный признак референта, но на то, к а к он соотносится с чем-либо. Данная категория включает два подтипа атрибутов: параметрические (например, *высокий, яркий*) и непараметрические (например, *резкий, прерывистый*).

Границы между модусами не являются жесткими, поэтому существуют атрибуты, характеризующие одновременно несколько модусов. С этой точки зрения выделяются три типа признаков: 1) интрамодальные (атрибуты, сфера приложимости которых ограничивается лишь одним перцептивным модусом, например, *красный, громкий, пахучий*); 2) полимодальные (атрибуты, объективно соотносимые одновременно с несколькими модусами — *гладкий, пушистый, кислый*); 3) кроссмодальные (атрибуты, принадлежащие одному перцептивному модусу, но употребляемые и для характеризации параметров другого, например, *мягкий голос*). Не все перцептивные признаки могут быть описаны лишь в объективных терминах, при описании некоторых параметров использование субъективных терминов неизбежно. Что такое *вкусное яблоко?* — "обладающее хорошим, приятным вкусом". Но "хороший" и "приятный" — не объективные термины, т.е. в сфере субъективного признака описываются параметры, существующие лишь с точки зрения их значения для перцептивной системы человека. Причем очень интересно, что данное описание идет не в объективно оценочных терминах "хорошо/плохо", но в субъективно оценочных — "приятно/неприятно". Таким образом, можно считать, что субъективные атрибуты описывают некие гедонистические параметры.

Проведенное исследование позволяет дать следующую прототипическую характеристику взаимоотношения категорий (хотя, как будет видно в дальнейшем, реальная картина намного сложнее и богаче). Типично характеризующие (статические) модусы: цвет, форма, размер, тактильность, вкус. Абсолютное большинство атрибутов этих перцепций — прилагательные, немногие же глагольные атрибуты — производны. Типично проявляющиеся (динамические) модусы: звук, свет, запах. Параметры этих перцепций в основном описываются глаголами. В сфере характеризующего признака прототипически экстенсиональны и эталонны цвет, форма, вкус; экстенсиональны и аутореферентны — свет и звук. Образцом параметричности выступает модус размера, а также отчасти света и тактильности. Кроме этого, вкус и запах выступают типично гедонистическими модусами. Природа трех "проявляющихся" модусов различна: поле звука детально дифференцированно экстенсионально (по отношению к источнику); поле света — параметрически (на основе интенсивности свечения); поле запаха — гедонистически (на основе оценки перцептивного воздействия).

Ограничившись столь кратким вступлением, перейдем к непосредственной теме статьи, придерживаясь следующего плана: сначала затронем некоторые аспекты существования и проявления концептуальной категории в языке (1); затем коснемся некоторых особенностей ее природы, в частности, ее континуальности и не-жесткости

(2); далее детально проанализируем возможности и пределы концептуального объяснения языковых фактов (3); наконец, попытаемся сформулировать некоторые выводы и обобщения (4).

1. КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ КАТЕГОРИЯ

1.1. Эта категория особым образом проявляется в различном языковом материале. С одной стороны, самый нижний, базисный уровень языковых единиц отражает основную природу категории и наоборот: основная природа категории проявляется на самом нижнем уровне, т.е. она как бы "заложена" в элементарное (мы имеем в виду так называемую "концептуальную" элементарность [ОЯ 1972]) значение единиц. Абсолютное большинство непроизводных атрибутов света, размера и тактильности (типично параметрических модусов) — параметричны: *яркий—тусклый, светлый—темный, ясный—мутный* (свет); *сухой—мокрый, мягкий—твердый, гладкий—шершавый* (тактильность); *большой—маленький, высокий—низкий, толстый—тонкий* (размер). В остальных же модусах параметрические атрибуты весьма немногочисленны. В экстенсиональных эталонных модусах (цвет и вкус) основные элементарные прилагательные эталонны: *красный, желтый, алый, буланый* (цвет); *горький, кислый, сладкий* (вкус). Довольно много их и в модусе тактильности: *черствый, тугой, пухлый, пластичный, зыбкий, пышный*. В модусах света, формы, размера, звука и запаха данные образования отсутствуют.

Наблюдается интересная градация атрибутов от модусов размера и света через модус тактильности к модусам цвета и вкуса: первые два модуса включают только параметрические непроизводные атрибуты, последние два — только эталонные. В модусе тактильности имеются и те и другие. Объясняется это тем, что размер и свет онтологически наиболее "бедные" модусы: все их параметры в основном количественные, сводящиеся лишь к обозначению большего или меньшего полюсов. В то же время в тактильности даже параметрические атрибуты имеют сильную качественную окраску: они именуют не чисто количественные признаки, но и разнообразные качественные оттенки, разнообразие которых не поддается дихотомической классификации и, следовательно, не покрывается чисто параметрическими атрибутами. Признаки же цвета и вкуса имеют по преимуществу качественные, но не количественные характеристики.

1.2. Концептуальная категория определяет значение производных единиц, т.е. задает закономерности процесса. Например, деноминативы света и звука приобретают аутореферентное значение: атрибуты света (*солнечный, лунный, неоновый, фосфорный*) именуют признак объекта по отношению к самому себе, безотносительно к другому объекту. *Лунный свет* скорее воспринимается как "свет, испускаемый луной", а не как "свет, напоминающий по своим характеристикам лунный". Аналогична природа звуковых эталонов: *львиный рев, дверной скрип* и т.д. Все деноминативы модуса цвета эталонны. Заслуживает внимания тот факт, что эталонная ориентированность цвета настолько велика, что язык в ряде случаев восстанавливает референтную соотнесенность цвета, создавая таким образом цветовые дуплеты. Так, существуют, с одной стороны, *оранжевый* и *фиолетовый*, а с другой — их деноминативные эквиваленты — *апельсиновый* и *фиалковый*. Все деноминативы формы экстенсиональны. Большинство их имеет прежде всего эталонное значение: *серповидный* "в форме серпа", *квадратный* "в форме квадрата" и т.д. Атрибуты вкуса могут употребляться как в традиционном аутореферентном значении, обозначая вкус самого объекта, так и в постепенно возникающем эталонном, обозначая вкус по отношению к определенному эталону: *яблочное варенье* vs. *яблочный ликер*. Экстенсиональные атрибуты запаха имеют аналогичную двойственную природу: *ландышевый запах* vs. *ландышевые духи*.

Отыменные прилагательные размера не экстенсиональны: более того, в боль-

шинстве случаев они и образованы от имен нематериальных сущностей. Даже атрибуты, по своей форме напоминающие экстенсиональные (*гигантский, исполинский, крошечный*), на самом деле таковыми не являются. *Гигантский* не означает "по своим размерам приближающийся к размерам гиганта", поскольку сами размеры "эталонного гиганта" неизвестны и по крайней мере весьма различны для гигантской мыши и гигантского слона. Деноминативы этого рода, во-первых, образованы от имен фиктивных сущностей, а во-вторых, в любом случае определяются интенсионально: *крошечный* "максимально отстоящий от медиума в сторону меньшего полюса, приближающийся к границе возможностей перцептивного восприятия"; *исполинский* "максимально отстоящий от медиума в сторону большего полюса".

Модусы вкуса и запаха также характеризуются широким набором неэкстенсиональных атрибутов: интенсиональных гедонистических. Таким образом, природа мотивантов и значение мотивированных прилагательных чрезвычайно ярко отражают двойственную природу данных модусов (в сфере статического признака): с одной стороны — эталонную, с другой — гедонистическую. Данная группа признаков образована от имен нематериальных сущностей, неких абстрактных понятий: *вкус—вкусный, смак—смачный, аппетит— аппетитный; смрад—смрадный, дух—душистый, аромат—ароматный.* Чрезвычайно интересно отметить, что если в размере подобного рода деноминативы сдвинуты в сторону большего параметрического полюса, то в двух данных модусах — в сторону большего гедонистического: *вкусный* "обладающий приятным вкусом" (а не наоборот), *аппетитный* "вызывающий аппетит" (а не отбивающий его). Это лишний раз показывает, что две данные перцепции по существу гедонистические.

1.3. Некоторые значения не могут быть выражены на нижних уровнях, поскольку им как бы не хватает разрешающей способности: то немногое количество значений, которое они способны выражать, уже занято самыми базисными. Но проблемы, не находящие разрешения на нижних уровнях, могут быть легко разрешены на более высоких. Элементарные примеры этого можно найти уже на субсловном уровне, однако полностью это явление представлено на сверхсловных уровнях. В частности, для описания различных вкусов существует совсем немного собственных атрибутов-прилагательных: *соленый, кислый, горький, сладкий, приторный* и некоторые другие. Однако эта недостаточность преодолевается на уровне словосочетания. Все многообразие вкусовых ощущений передается не через прилагательные, а с помощью так называемого "родительного качества" [Виноградов 1986]: намного привычней звучат фразы типа *он почувствовал на губах вкус яблока, свинины, кофе*, чем аналогичные *он почувствовал на губах яблочный, свиной, кофейный вкус.*

Еще одним подтверждением вышеприведенного тезиса может служить система динамических атрибутов света. Исходя из логических оснований, можно предположить, что световые параметры характеризуют: а) сам источник света; б) свет, отраженный от объекта; в) свет в пространстве. Насколько эта логическая оппозиция реализована в языке? Анализ показывает, что атрибутов, соотносимых только с одной из вышеприведенных категорий, совсем немного: только к источнику света (а) относятся *лучить/ся, брезжить/ся, тлеть/ся*; только к отраженному от объекта свету (б) — *светлеться, темнеться, отсвечивать*; только к характеристике освещенности пространства (в) — *туманить/ся*. Большинство же атрибутов могут с равной вероятностью характеризовать любой из этих параметров: *сиять, сверкать, полыхать, гореть, пламенеть, блестеть, светить* и др. На уровне же фразы мы имеем: 1. Источник света: *солнце сияет* — а) *солнце сияет ярко*; б) *солнце сияет ярким светом.* 2. Свет в пространстве: *зала сияет* — а) *зала сияет ярко*; б) *зала сияет ярким светом;* в) *зала сияет свечами, лампами.* 3. Отраженный свет: *штыки сияют* — а) *штыки сияют ярко*; б) *штыки сияют ярким светом*; в) *штыки сияют на солнце.*

Итак, для всех трех типов возможно расширение минимальной конструкции за счет

уточнения степени свечения, его интенсивности (а, б), и кроме этого для несобственно светящихся источников (свет в пространстве, отраженный свет) — за счет указания на источник свечения. Причем интересно отметить, что синтаксические конструкции, представляющие источник света в случае 2 и 3 различаются, т.е. на уровне фразы представленная выше логическая классификация полностью эксплицируется.

Р е з ю м е . Природа языкового прецептивного модуса (и шире — концептуальной категории в языке вообще) не является чем-то единым и монолитным: она представляет собой своеобразный континуум от признаков, составляющих сущность ее природы, до признаков, прямо этой природе противоречащих. Природа категории во всех языковых уровнях и во всех языковых областях имеет нечто общее, организующее ее как категорию, в то же время на разных уровнях и в разных сферах эта природа несколько различна.

2. КОНТИНУАЛЬНОСТЬ И НЕЖЕСТКОСТЬ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ КАТЕГОРИИ

2.1. На концептуальной основе выделяются не жестко отграниченные друг от друга классы единиц, но, скорее, поля с неопределенными расплывчатыми границами, где степень отнесенности единицы к категории меняется градуально и постепенно, а не дискретно (2.1.1). Так, категория формы, с лингвистической точки зрения, намного более расплывчата и менее определенна, чем, например, категория цвета: в большинстве случаев почти не возникает вопрос (при знании значения слова и контекста) о том, является ли конкретное прилагательное обозначением именно цвета или нет. Напротив, существует достаточно большая неопределенность в отнесении того или иного слова к параметру формы: прилагательные *скрюченный, витой, вьющийся* могут рассматриваться как атрибуты формы, вероятно, лишь с большими оговорками. Так же нечетко и вариативно в данном модусе противопоставление объектов-эталонов и объектов-референтов. Возможно, что формы предметов, выступающих эталонами, в этом отношении более маркированы и специфичны, чем уподобляемые им: с одной стороны — яйцо, груша, рог, шатер, нить, лист, червь и др., обладающие достаточно характерной формой; с другой — кактус, бактерия, голова, облако, купол, сопка, кровля, след, мост, брови и др., большинство из которых не имеют специфической, а иногда и определенной формы. Некоторые предметы могут выступать в одних случаях как объект для сравнения (***листовое железо***), а в других — как сравниваемый объект (*перистые* ***листья***).

2.1.2. Параметр субъективности также задает в языке не жесткие, строго разграниченные классы, но размытую область плавно переходящих друг в друга множеств. На одном конце шкалы субъективности расположены чисто объективные атрибуты (*красный, квадратный, громкий*). К ним примыкают прилагательные, уже в какой-то мере обладающие субъективным компонентом: *огромный* "**очень** большой", *сырой* "содержащий **ненужную** влагу". Далее идут субъективно-дескриптивные атрибуты, к которым принадлежит и большинство кроссмодальных (*мягкий, резкий, грубый*). И наконец, на противоположном полюсе шкалы представлены чистые аксиологические атрибуты типа *нежный*.

2.1.3. В сфере проявляющегося признака звука существует некоторая предрасположенность тех или иных глаголов выступать преимущественно в агентивной или инструментальной конструкциях. Вероятно, глаголы *дудеть, барабанить, бренчать, клацать* скорее могут выступать в неагентивных конструкциях, чем *журчать, чавкать, гудеть*: ср, *бренчать на гитаре, барабанить в барабан, лязгать затвором* vs. *вода журчит, грязь чавкает, гудок гудит*. Тем не менее, в принципе все эти глаголы могут встречаться в обоих типах конструкций, то есть оппозиция "издавать звук самостоятельно" vs. "издавать звук под воздействием" существует в языке как тенденция, но не жесткое правило.

2.2. В пределах категории могут существовать единицы, прямо противоречащие ее

природе. 2.2.1. Например, абсолютное большинство экстенсиональных атрибутов света аутореферентны, т.е. характеризуют не параметры сравниваемого предмета, но световые параметры самого источника света: *солнечный, лунный, фосфорический, фосфористый, неоновый*. Тем не менее, можно привести ряд примеров употребления атрибутов света в эталонном, а не аутореферентном значении: *фосфорический неживой свет луны, фосфорный блеск в воде* [МАС 1981].

2.2.2. Еще пример: большинство признаков цвета (в частности именуемые деноминативными прилагательными), а также параметры тактильности не "проявляются", т.е. не имеют соответствующих экспозитивных глаголов. Однако здесь существует ряд исключений: *Мать по-прежнему **смуглела** худыми плечами* (Трифонов). *На гимнастерке рдяно **мокрело** пятно* (Шолохов). *На располневшем Клавдюхином лице **малиновел** напомаженный рот* (Носов) [Карепова 1990].

Р е з ю м е . Концептуальные категории не однородны, а центрированы: их природа ярко проявляется в прототипических единицах и может почти полностью нивелироваться в периферии. Методологически это выражается в необходимости иерархизации рассматриваемого материала и выделении основных особенностей категории на основе анализа прототипических единиц.

3. ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕДЕЛЫ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ОБЪЯСНЕНИЯ

3.1. П р и р о д а я з ы к о в ы х е д и н и ц о б у с л о в л е н а и о б ъ я с н я е т с я э к с т р а л и н г в и с т и ч е с к и м и ф а к т о р а м и .

3.1.1. Анализ производных прилагательных вкуса и запаха ставит чрезвычайно интересную проблему, а именно: являются ли атрибуты типа *малиновый, вишневый* и т.д. аутореферентными или эталонными, или в других терминах — относительными или качественными прилагательными. Другими словами, именуют ли они вкусовые параметры референта самого по себе или соотносят его с эталоном. Обычно данные прилагательные трактуются как относительные (аутореферентные), противопоставляясь с этой точки зрения прилагательным цвета. Можно сказать, что данное положение было верно вплоть до последних десятилетий. Однако в данный момент в связи с развитием пищевой промышленности в разряд эталонных атрибутов (качественных прилагательных) постепенно все шире переходят прежние аутореферентные (относительные). Возможность окачествления прилагательных вкуса определяется прежде всего возможностью получения новых веществ (объектов), обладающих вкусом эталона, но никак иначе с ним не связанных. Действительно, до недавнего времени природа атрибутов вкуса и цвета была различна: эталонная у цвета (*малиновый пиджак*) и аутореферентная у вкуса (*малиновое варенье*). Однако возможность получения искусственных вкусов меняет онтологический, концептуальный и, как следствие, лингвистический статус атрибута: *малиновый ликер* уже не интерпретируется как "ликер **из** малины", но "ликер **со вкусом** малины".

Аналогичное явление в сфере запаха обусловливает развитие парфюмерной промышленности. В последнее время наблюдается значительное увеличение использования искусственных запахов: духи, одеколоны, шампуни, мыло и т.д. Возрастание роли искусственных запахов отражается и на языке: окачествляется и переходят в разряд эталонных названия многих естественных запахов (*хвойный, миндальный, ландышевый* и др.). Таким образом усиливается граница между атрибутами, тяготеющими к значению "подобный запаху X" (эталонными), и атрибутами со значением "издаваемый X-ом" (собственно аутореферентными): *гнилостный, тленный, плесенный*. Интересно, что последнее значение остается у запахов, воспринимаемых как негативные и поэтому не моделируемых.

3.1.2. Переходя в сферу глагольного (проявляющегося) признака, мы наблюдаем, что параметр "динамичности" по-разному представлен в модусах цвета, вкуса и звука. Причем заметна определенная градация в сторону динамичности от цвета к звуку. Это

видно на примере интерпретации атрибутов-глаголов. Экспозитивные глаголы цвета интерпретируются только как **"проявлять** определенный цвет": *белеть* **"проявляться** как белый" (но не "производить белый цвет"). С глаголами вкуса возможна двоякая интерпретация: *горчить* а) "**проявляться** как горький", б) "**производить** горький вкус". В модусе звука возможна лишь последняя интерпретация "**издавать (производить)** определенный звук": ср. *каркать* "**издавать** каркающий звук", но не "проявляться как каркающий". Природа данного противопоставления экстралингвистическая: восприятие цвета не самодостаточно, оно происходит лишь под воздействием света (какого бы цвета ни был предмет, мы об этом ничего не узнаем, пока к параметрам цвета не добавится параметр света, т.е. пока предмет не будет освещен). Таким образом, предмет не "производит" цвет, но лишь его "проявляет" под внешним воздействием. В то же время звучащий объект активен и самодостаточен для восприятия [Носуленко 1988]. Вкус, вероятно, представляет некий промежуточный случай: основываясь на химическом воздействии, он оказывает влияние на органы чувств непосредственно, но в то же время его восприятие не столь облигаторно и независимо от желания воспринимающего, как восприятие звука.

3.1.3. Следующий аспект — возможность реализации определенных темпоральных оппозиций в различных перцептивных модусах. В русском языке оппозиция мгновенность/немгновенность перцептивного признака представлена прилагательными *мимолетный* ("быстро проходящий, быстро исчезающий") vs. *стойкий* ("долго сохраняющий и проявляющий свои свойства"). Их распределение по модусом несимметрично: *стойкий* характеризует запах, вкус, цвет (*стойкий запах, вкус, цвет*), но не свет, форму, размер, тактильность, звук (ср. по крайней мере сомнительность *?стойкий свет, ?стойкая форма, ?стойкий размер, ?стойкая шероховатость, ?стойкий гул*); тогда как *мимолетный* — свет, звук, запах, вкус (*мимолетный огонь, вздох, запах, вкус*), но не цвет, форму, размер, тактильность. Попытаемся дать этому концептуально-онтологическую интерпретацию.

Запах и вкус выступают в обеих оппозициях, т.е. они могут быть, с одной стороны, стойкими, с другой — мимолетными. Скорее всего, это определяется онтологической природой данных модусов: в обоих случаях стимулом восприятия выступают химические воздействие на органы чувств [Goldstein 1984]. Восприятие существует лишь в то время, пока длится воздействие определенных веществ на определенные рецепторы. Это воздействие может быть достаточно долгим, а может быть относительно кратковременным: обе эти возможности фиксируются языком. В отличие от модусов вкуса и запаха, звук и свет принципиально "мгновенны". Для восприятия вкуса и запаха требуется определенное время, пока молекулы вещества попадут на соответствующие рецепторы, и с другой стороны, восприятие не прекращается мгновенно, т.к. даже с устранением раздражителя какая-то часть вещества еще остается на рецепторах. В противоположность этому звук и свет начинают восприниматься мгновенно в самый момент их появления и могут моментально прекратиться с исчезновением источника. Кроме этого, звук и свет существуют не в объекте и не в веществе, в то время как запах и вкус всегда связаны с веществом. Возможно, данный факт позволяет объяснить ущербность оппозиции мгновенность/немгновенность в данных модусах: возможность моментального возникновения и исчезновения допускает образования *мимолетный звук, мимолетный огонь*. С другой стороны, принципиальная обычность такой "мгновенности" делает эти сочетания несколько экзотическими. "Нематериальность" звука и света не позволяет им сочетаться с прилагательным *стойкий*. Тактильность, форма и размер концептуально существуют "вне времени": они представляют собой те параметры, которые составляют перцептивную природу объекта, а не являются некими привходящими признаками (в противоположность, допустим, запаху, который может появляться и исчезать при неизменности самого объекта). Цвет, с этой точки зрения, занимает срединное положение между "объектными" и "вещественными" модусами: его объек-

тность не позволяет ему быть мимолетным, в то же время его меньшая привязанность к природе объекта, его "преходящесть" актуализирует аспект стойкости.

3.2. Природа языковых единиц обусловлена и объясняется концептуальными факторами.

Вероятно, анализируя вышеприведенные объяснения, можно возразить, что не все рассмотренные явления объяснимы непосредственно лишь экстралингвистическими факторами. Скорее всего, это действительно так, что лишний раз доказывает континуальность и нежесткость устанавливаемых закономерностей. Тем не менее можно привести ряд языковых фактов, объяснение которых, как нам представляется, следует искать в преломлении в языке именно общих закономерностей человеческого мышления.

3.2.1. Сложное переплетение экстралингвистических и собственно концептуальных (обусловленных природой человеческого мышления) факторов интересно продемонстрировать на следующем примере. Как показывает анализ материала, абсолютное большинство глаголов обозначают звуки, издаваемые млекопитающими и птицами. На долю остального животного мира приходится совсем немного. Для этого можно предложить двоякое объяснение: во-первых, разнообразие звуков, издаваемых птицами и млекопитающими, значительно превосходит диапазон звуков остальных представителей животного мира (экстралингвистический фактор); во-вторых, птицы и млекопитающие стоят значительно ближе к человеку и являются более значимыми источниками звука (концептуальный фактор). Можно также предположить, что наличие большего количества атрибутов, характеризующих отдельных млекопитающих, также определяется объективными (разнообразие издаваемых животным звуков) и субъективными (близость данного животного к человеку) параметрами: *собака лает, урчит, тявкает, скулит, воет* vs. *овца блеет*. Наиболее подробным и детальным образом именуется звуковая деятельность человека, причем с точки зрения различных аспектов. Причина этого вполне ясна.

3.2.2. Один из наиболее ярких примеров влияния на природу языковых единиц собственно концептуальных факторов дает сфера прилагательных звука. Детальный анализ прилагательных этой сферы показывает, что они аутореферентны по своей природе, но не эталонны (Допустим, в ситуации, описываемой выражением *путешественники услышали львиный рев*, источником звука, скорее всего, выступает сам лев.) Тем не менее в данном модусе существует по крайней мере один чисто эталонный атрибут, указывающий на эталонность своей внутренней формой: *громоподобный*. Здесь мы наблюдаем интересное явление: в принципе реально (онтологически) гром вполне совпадает с остальными звукообозначениями (писк, скрип и др.). Но почему в языке нет, например, **скрипоподобный*? Этот факт можно объяснить исходя из концепции "вторичной антропологизации языка, или влияния на язык различных картин мира человека" [Серебренников 1987] или же "идеальных моделей, то есть мифов, религиозных и художественных представлений" [Лакофф 1988]. С этой точки зрения, гром наивным сознанием (концептуально) воспринимается как нечто значительно более материальное, чем простой звук. Это концептуальное допущение находит широкое преломление в языке: ср. *громоподобный; громоотвод* (т.е. гром — нечто такое, что можно отвести); *упал, как громом пораженный* (гром может и поразить); *гром гремит* (но не **скрип скрипит*) и т.д.

3.2.3. Сходное явление наблюдается и в сфере глаголов, именующих звучание неодушевленных предметов. Характерным для этой сферы является возможность трансформации агентивных конструкций в инструментальные (что, кстати, тоже имеет под собой концептуальное объяснение). Однако в ряде случаев трансформация неодушевленного агенса в инструмент невозможна: ср. *доска скрипит — он скрипнул доской* vs. *двигатель гудит — ?некто гудит двигателем, часы тикают — *он тикает часами*. Нам представляется, что объяснением этому феномену также служит концепция "идеальных моделей" (или "вторичной антропологизации языка"): сложные

механизмы (возможно прямо пропорционально степени их сложности) воспринимаются наивным, а следовательно, и языковым сознанием не как простые неодушевленные предметы, но как нечто одушевленное. До относительно недавнего времени одним из самых сложных механизмов были часы. Вероятно поэтому (хотя возможно из-за их непосредственной связи с категорией времени, материализацией которого они выступают) они подверглись наибольшему одушевлению. И если для *двигатель гудит* трансформация *некто гудит двигателем* хотя и необычна, но все же возможна (*Что это за шум? — Да это Маша гудит пылесосом*), то для *часы тикают* она столь же маловероятна, как для *ворона каркает*. Таким образом, и в этой сфере мы можем наблюдать антропоцентричность языкового сознания и языкового выражения.

3.2.4. Концептуальными же факторами можно объяснить отягощение чисто гиперонимических значений определенных атрибутов. В сфере негативных атрибутов визуальных модусов достаточно четко противопоставлены, с одной стороны, свет (как не имеющий отрицательных атрибутов), с другой — цвет, форма, размер (соответственно: *бесцветный, бесформенный, безразмерный*). Наиболее нейтральное значение у негативного атрибута цвета: *бесцветный* "ничем не окрашенный: *бесцветный газ, жидкость*". Однако даже в значении этого слова замечен сдвиг от нейтральности: *бесцветный* "не имеющий **ярко выраженной** окраски, цвета". Таким образом, данный признак может интерпретироваться не только как "не имеющий цвета **вообще**", но и как "не имеющий **определенного** цвета". *Бесформенный* имеет лишь второе значение: "не имеющий **определенной** формы". Атрибут размера *безразмерный* имеет весьма узкое значение, далекое от гиперонимического: "обладающий большой растяжимостью при натягивании". В сфере позитивных атрибутов единственным словом, не отягощенным дополнительными значениями, выступает атрибут света: *святящийся* "испускающий свет". *Цветной*, обозначая иногда простое наличие цвета, имеет тем не менее более узкое значение (примером этого может служить анекдот: *У вас цветные телевизоры есть? — Есть. — Тогда дайте, пожалуйста, синий*). Понятия "имеющий форму" и "имеющий размер" не имеют соответствующих наименований. Нам представляется разумным следующее объяснение: все тела так или иначе имеют форму и размер, большинство тел не светится. Это делает ненужным именование соответствующих признаков. С другой стороны, свечение тела — настолько характерная особенность, что уже само указание на это информативно. В остальных случаях наблюдается тенденция к спецификации значения, его сужению по сравнению с гиперонимическим, поскольку последнее воспринимается как недостаточно информативное (ср. сдвиг *бесформенный*).

3.2.5. Наиболее красивую картину взаимодействия концептуальных факторов представляют так называемые кроссмодальные гиперонимы: кроме глаголов, соотносимых однозначно лишь с одним перцептивным модусом, существует и ряд атрибутов, могущих характеризовать параметры проявления нескольких динамических перцепций. Интересно отметить, что источником этих единиц не является ни один из перцептивных модусов, но все они представляют собой то, что можно определить как "материальную метафору", т.е. уподобление природы перцептивного восприятия природе определенного объекта или вещества. Использование такого рода метафор весьма показательно с точки зрения определения неизвестного через известное [Molino 1979], а также менее "материального" через более "материальное" [Ульман 1970]. Языковое сознание пытается как-то адаптировать, описать и познать нечто, что не обладающее предметностью и вещественностью, выражая это нечто в материальных терминах.

По нашим наблюдениям, кроссмодальные атрибуты распределяются следующим образом:

1) звук, свет, запах — *испускать, наполнять, струиться;*

2) звук, запах — *издавать, доноситься, разноситься;*

3) звук, свет — *литься;*

4) свет, запах — *источать*.

Попытаемся определить причины именно такого распределения атрибутов и найти этому какое-либо концептуальное объяснение.

Объяснение света и запаха через атрибут *источать* и исключение из этого объяснения звука наводит на мысль о меньшей вещественности последнего. Первоначальное значение слова *источать* (ныне книжное и устаревшее) — "выделять из себя влагу". Таким образом, в данном случае свет и запах (но не звук) уподобляются жидкости. Это имеет под собой и некоторую онтологическую основу: запах и свет более материальны, чем звук. Один благодаря своей химической природе, другой — зрительной. Однако предположив, что русским языковым сознанием звук всегда воспринимается как нечто менее "материальное", чем свет и запах, мы бы допустили ошибку. Объединение звука и запаха через глаголы *издавать, разноситься, доноситься* уподобляет их природу предметной, отказывая в этой природе свету. Этому также можно подыскать онтологическое обяснение: невозможность употребления *донестись, разнестись* по отношению к свету, вероятно, определяется его темпоральной природой, а именно мгновенностью распространения. Для распространения же запаха и даже звука требуется определенное время.

Тем не менее могут существовать и объединения, не имеющие под собой онтологического основания: почему звук и свет могут *литься* как жидкость, а запах нет, хотя он является наиболее материальным из трех данных модусов? Почему все три модуса могут быть объединены и "материализованы" через атрибуты *струиться, наполнять, испускать?*

3.3. Включение неконцептуальных факторов.

Хотя многие языковые явления, как нам кажется, достаточно убедительно объясняются на концептуальной основе, ряд фактов концептуально объяснить нельзя. Из-за ограниченности объема статьи мы покажем это на наиболее ярком примере, а именно — интерпретации способов глагольного действия в сфере глаголов звука и света.

3.3.1. Как и во всех остальных модусах, первичная форма глаголов звука — несовершенный вид. Это позволяет предположить, что и глаголы звука воспринимаются преимущественно как признаки, а не действия в собственном смысле слова. Тем не менее невещественность, нематериальность, несубстанциональность звука сказывается на природе его динамических атрибутов. В отличие от других модусов, очень многие звуковые глаголы имеют дуплетные формы совершенного/несовершенного вида: *каркать-каркнуть, мяукать-мяукнуть, пищать-пискнуть, греметь-громыхнуть, шептать-шепнуть* и т.д. Совершенный вид в данном случае характеризует однократность действия.

Установить закономерности преимущественного представления тех или иных процессов как дискретных или недискретных нам не представляется возможным. Соотношение глаголов, имеющих обе формы, и глаголов, имеющих лишь форму несовершенного вида, во всех трех референтных областях (неодушевленные предметы, животные, человек) примерно равно 1:1. Лишь половина глаголов имеет дуплетные формы, тогда как вторая их не имеет Для большей наглядности мы приводим часть списка соответствующих глаголов: а) только несовершенного вида *ржать, лаять, выть, блеять, мычать, гоготать, квохтать, клохтать, кулыкать, стрекотать, гомонить, щебетать, звенеть, трубить, гудеть, трезвонить* и др; б) имеющие обе видовые формы *мяукать, мурлыкать, тявкать, гавкать, хрюкать, бренчать, скрипеть, кричать, щелкать, бурчать* и т.д. Какое концептуальное объяснение можно найти следующим соответствиям (или, точнее, несоответствиям): *свистеть-свистнуть*, но *свирестеть-*свиристнуть?* Чем принципиально онтологически или концептуально отличаются данные звучания? Еще ряд примеров, в которых подобные на первый взгляд звучания различаются в этом отношении: *бурчать-буркать* vs. *бубнить-*бубнуть, кукарекать-кукарекнуть* vs. *кулыкать-*

?кулыкнуть, гавкать-гавкнуть vs. *лаять-*лайнуть*. Это тем более примечательно, что идея однократности вышеприведенных звучаний во многих случаях все же может быть выражена с помощью префикса: *пробубнить, промычать, пролаять* и т.д.

3.3.2. С аналогичной проблемой мы сталкиваемся, пытаясь интерпретировать распределение по соответствующим группам глаголов света. С точки зрения возможности образования бесприставочного совершенного вида глаголы делятся на две группы: а) парные: *сверкать-сверкнуть, полыхать-полыхнуть, блестеть-блеснуть, мигать-мигнуть*; б) только несовершенного вида: *сиять, пылать, гореть, пламенеть, лучиться, искрить, брезжить, тлеть, светить, светлеть, темнеть, туманить, мерцать*. Несомненно лишь то, что "моментальных" глаголов, представляющих "квант" свечения во времени, не так уж много. Большинство глаголов не имеют бесприставочного совершенного вида, т.е. не могут представлять действие одномоментно. По нашему мнению, дать достаточно убедительное семантическое (концептуальное) объяснение возможности употребления совершенного вида одних глаголов и невозможности других — весьма проблематично.

4. НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Проведенный анализ позволяет сформулировать несколько важных положений, касающихся, с одной стороны, онтологии языка, с другой — методологии его исследования. Природа языковых единиц определяется тремя факторами: онтологическим, концептуальным и собственно лингвистическим. Причем взаимоотношение этих факторов в каждом конкретном случае может быть весьма различным. В самом общем виде это взаимодействие можно сформулировать так: онтологическая природа объекта задает возможность многих способов концептуализации (т.е. онтология задает не необходимость определенной концептуализации, но лишь набор возможностей!), язык же определенным образом кодифицирует данные концептуальные возможности. Связь между этими тремя параметрами нежесткая, и каждый следующий уровень обладает определенной степенью свободы по отношению к предыдущему. Онтологически признание этого тезиса ведет к признанию высокой идиосинкратичности языка, методологически — к отказу от абсолютизации принципа семантической мотивированности.

Все вышерассмотренное указывает на весьма нежесткий и во многих случаях непоследовательный характер концептуализации и номинализации: из ряда возможностей реализуется в каком-то случае (в какой-то области, на каком-то уровне) одна, в каком-то другая. Таким образом, найденное концептуальное объяснение тому или иному языковому факту не является полным: оно объясняет лишь возможность данной номинализации, но не ее необходимость. Исходя их этого, нам представляется в принципе порочной идея пытаться найти объяснение каждому индивидуальному языковому факту и тем более делать предсказания по поводу конкретных языковых явлений. Однако данное заявление не следует рассматривать как декларацию принципиальной непознаваемости языковых фактов. Нам хочется лишь заметить, что концептуальный метод исследования, обладая большой экспланаторной и эвристической силой, тем не менее, как и остальные методы, имеет определенные границы применения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Виноградов В.В. 1986 — Русский язык (Грамматическое учение о слове). М., 1986.

Гибсон Дж. 1988 — Экологический подход к зрительному восприятию. М., 1988.

Карепова В.А. 1990 — Основы текстовой модификации семантики отадъективных глаголов // Проблемы исследования слова в художественном тексте. Л., 1990, с. 98—104.

Лакофф Дж. 1988 — Мышление в зеркале классификаторов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 23, 1988.

Носуленко В.Н. 1988 — Психология слухового восприятия. М., 1988.
ОЯ 1972 — Общее языкознание (Внутренняя структура языка). М., 1972.
Рузин И.Г. — Модусы перцепции (зрение, слух, осязание, обоняние, вкус) и их выражение в языке. Автореф. дис. ...канд. филол. наук. М., 1995.
Серебренников Б.А. 1987 — Роль человеческого фактора в языке: Язык и картина мира. М., 1987.
Ульман С. 1970 — Семантические универсалии // Новое в лингвистике. М., 1970.
Goldstein E.B. 1984 — Sensation and perception. Belmont. 1984.
Jackendoff R.S. 1986 — Semantics and cognition — 3. print. Gambridge (Mass.): London, 1986.
Lee M. 1989 — Language, perception and the world // Explaining language universals. Oxford; Cambrige (Mass.), 1989.
Molino J. 1979 — Métaphores, modèles et analogies dans les sciences // Langages, 1979, № 54.
UL 1988 — Understanding the lexicon: Meaning, sense and world knowledge in lexical semantics: Tübingen, 1988.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1996

© 1996 г. А.Н. БАРАНОВ, Д.О. ДОБРОВОЛЬСКИЙ

ИДИОМАТИЧНОСТЬ И ИДИОМЫ*

0. СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ

Сфера идиоматики в разных теоретических концепциях задается по-разному. Тем не менее, можно выделить общую часть большинства определений идиомы, которая сводится к трем идеям: неоднословность, устойчивость и идиоматичность [Гак 1977; Burger et al. 1982; Fleischer 1982]. Поскольку вряд ли можно утверждать, что имеющиеся определения хорошо "работают" на всем множестве идиом, естественно задаться вопросом о том, что представляют собой входящие в определения категории. Однословность–неоднословность можно считать единственным относительно ясным и операциональным понятием, хотя и здесь возникают проблемы, связанные с наличием–отсутствием орфографической традиции, различением слов и словосочетаний, слов и предложений в данном морфологическом типе языка и т.п. Существенно менее определенной оказывается категория устойчивости (ср., например [Мельчук 1960; 1968]), к которой мы еще вернемся в ходе дальнейшего изложения. Однако наибольшие вопросы вызывает понятие идиоматичности. С наивной точки зрения выражения типа *Он говорит идиоматично. Его речь идиоматична*, как правило, не связываются с употреблением идиом. Обычно имеется в виду высокий уровень владения языком: говорящий не просто способен правильно выражать свои мысли, но и передавать их нетривиальным способом, используя не только конвенциональные, но и творческие метафоры, не вполне стандартные сочетания означающих и т.п. Идиоматичная речь требует знания таких правил речевого поведения, которые могут оказаться уникальными, применимыми только в данном типе ситуации общения. Иными словами, идиоматичность в общем случае означает осложненность способа выражения содержания – осложненность не в смысле максимального усложнения языковых форм как таковых, а "концентрированности" выражения и сложности понимания. Так, косвенный речевой акт более идиоматичен, чем прямой, ср. *Закрой окно!* vs. *Что-то стало прохладно!* В случае использования косвенного речевого акта адресат должен проделать дополнительные операции для "вычисления" смысла речевого высказывания по сравнению с "прямым" речевым актом.

Идиоматичным будет также такой текст, который содержит значительную имплицитную информацию – пресуппозиции, следствия, импликатуры дискурса и т.п. Существенно усиливает идиоматичность в наивном понимании и наличие языковой игры. Иными словами, чем больше слоев в плане содержания текста, тем более он идиоматичен.

Несколько иное понимание идиоматичности представлено в [Апресян 1995], где идиоматичность связывается с выполнением сложившихся в данном языке норм "синтаксической, семантической и лексической сочетаемости" [Апресян 1995: 11]. Заметим, однако, что в этом случае происходит существенное расширение категории идиоматичности и ее практическое отождествление с категорией нормы. Среди названных Апресяном факторов к идиоматичности в нашем понимании относится только выпол-

* Первый вариант статьи был прочитан В.Г. Гаком и И.М. Кобозевой, которым авторы выражают искреннюю благодарность.

нение "трудно мотивируемых норм", в частности, следование правилам лексической сочетаемости, не выводящимся из толкования, т.е. не мотивируемым семантически.

Понятно, что использование идиом оказывается лишь одним из проявлений идиоматичности. Идиоматичность, будучи более общей категорией [см., например [Makkai 1978]), лежащей в основе определения идиомы, требует специального рассмотрения. Заметим, что совпадение корней в терминах "идиома" и "идиоматичность" является чисто случайным, внешним фактором и никоим образом не создает порочного круга. В принципе вместо термина "идиома" можно использовать словосочетание "фразеологизм в узком смысле".

1. КАТЕГОРИЯ ИДИОМАТИЧНОСТИ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ

Различных определений идиоматичности довольно много, и вряд ли имеет смысл их последовательно перечислять. Мы можем, однако, утверждать, что все они сводятся к двум базовым идеям – переинтерпретации и непрозрачности. Дадим им свои определения.

(i) Переинтерпретация значения 'A' выражения *A* как значения 'B' является операцией, приводящей к трансформации 'A' в 'B' по принципу R.

(ii) Непрозрачность знака *A* является свойством *A*, препятствующим "вычислению" значения 'A' из-за отсутствия продуктивного правила, позволяющего выявить 'A' или из-за отсутствия одного или нескольких компонентов *A* в словаре.

Таким образом, выражение *пускать козла в огород* идиоматично по основанию (i) – принципом R в данном случае оказывается механизм метафоризации, а выражение *ничтоже сумнящеся* – по основанию (ii)[1].

Свойство непрозрачности прямо связано со знаниями адресата – как индивидуальными, так и общими для языкового социума. Только второй тип знаний существенен для дальнейших рассуждений[2]. Непрозрачность, как следует из определения, может быть обусловлена двумя совершенно различными факторами. С одной стороны, речь идет о том, что невозможно вывести значение целого из значения его составляющих по стандартным правилам семантической сочетаемости, а с другой стороны – об отсутствии в словаре информации о значении одного или нескольких компонентов соответствующего выражения.

Можно сказать, что переинтерпретация – это взгляд на идиоматическое выражение с точки зрения его порождения, а непрозрачность – с точки зрения его понимания. Именно поэтому они в ряде случаев пересекаются (см. 1.2).

Анализ показывает, что введенные определения представлены в языковом материале и в "чистом" виде, и в виде модификаций (в том числе, в комбинациях).

Рассмотрим последовательно виды переинтерпретации и непрозрачности, используя в качестве примеров русские идиомы. Следует иметь в виду, что в принципе рассматриваемые здесь составляющие идиоматичности применимы не только к идиомам, но и к собственно словам.

1.1. Начнем с категории переинтерпретации.

1.1.1. Переинтерпретация в точном смысле (*A* & 'A' & "A" → *A* & 'B' & "B"). Имеется в виду, что выражение *A* со значением 'A' и экстенсионалом (соответствующей ему ситуацией) "A" переинтерпретируется таким образом, что получает

---

[1] На самом деле ситуация несколько более сложна: выражения, которым свойственна переинтерпретация, могут обладать и определенной долей непрозрачности (см. ниже).

[2] Термин "непрозрачность" в ином значении используется в логической семантике в связи с невозможностью определения истинностного значения некоторых пропозициональных компонентов высказывания [Quine 1976]. Аналогия с используемым здесь употреблением несомненно есть, однако в нашем случае бессмысленно говорить об истинностном значении. Аналогия скорее касается невозможности выявления каких-то семантических свойств компонентов языкового выражения.

значение 'B', соотносящееся с ситуацией "B"[3]. Типичный случай переинтерпретации такого рода – идиома *театр абсурда* 'ситуация, в которой, с точки зрения говорящего, нарушаются базовые принципы естественной логики'. Эта идиома возникла в результате переосмысления терминологического словосочетания *театр абсурда*, относящегося к сфере драматургии. К классу собственно переинтерпретаций относятся также идиомы *под дулом автомата, верхушка айсберга, открыть Америку, окончен бал, банка с пауками, перевернуть вверх дном, вылить ведро помоев, охота на ведьм, лакмусовая бумажка, ходить на задних лапках, брать быка за рога*. Если говорить о сфере лексики в целом, то к этому типу идиоматичности относится широкий класс употреблений слов в непрямых значениях, в частности метафоры, метонимии и пр.

1.1.2. Интенсиональная переинтерпретация (***A*** **& 'A' & "∅" →** ***A*** **& 'B' & "B").** В отличие от предшествующего случая, при интенсиональной переинтерпретации экстенсионал исходного выражения отсутствует. Примером такого рода является идиома *буря в стакане воды* 'ситуация, в которой одно или несколько лиц выражают недовольство чем-либо значимым с их точки зрения; последнее оценивается говорящим с позиций более общего взгляда на мир как малозначимое'. Экстенсионал выражения *буря в стакане воды* в буквальном прочтении отсутствует, поскольку слово *буря* в прямом значении не сочетается с именами малых объемов и пространств. К этому классу переинтерпретаций относятся также выражения типа *адская машина* (в значении 'бомба'), *глаз-алмаз, показать/увидеть... небо в алмазах, ходячий анекдот, кровавая баня, лезть в бутылку*.

На грани интенсиональной переинтерпретации находятся случаи, когда интенсионал без знаний этимологии оказывается непрозрачным, ср. *заливать баки, отставной козы барабанщик, травить баланду*. Во всех этих примерах "буквальное" значение затемнено. Тем самым можно говорить о комбинации переинтерпретации и непрозрачности (см. 1.2) – двух основных аспектов идиоматичности.

В некоторых теориях фразеологии этим и предшествующими классами фактически исчерпывалась категория идиом, ср. [Heller 1980].

1.1.3. Переинтерпретация целого vs. части. Переинтерпретация может относиться не только к целому выражению, но и к его компонентам (одному или нескольким). Первый случай в виде формулы представлен в пунктах 1.1.1 и 1.1.2. Типичный случай переинтерпретации компонента – идиома *раздавить бутылку* в значении 'выпить бутылку спиртного'. Словоформа *бутылку* сохраняет в этой идиоме свое значение (возникшее в результате регулярного метонимического преобразования) и не участвует в процессе переинтерпретации. Иными словами, вряд ли можно сказать, что обсуждаемая идиома возникла как результат переинтерпретации значения словосочетания *раздавить бутылку* в прямом смысле (ср. *В этой жуткой давке мне наступили на сумку и раздавили бутылку*). Более правильно было бы описать это так: ($\mathbf{a_1}$ **&** '$\mathbf{a_1}$' **+...+** $\mathbf{a_k}$ **&** '$\mathbf{a_k}$' **+** $\mathbf{a_n}$ **&** '$\mathbf{a_n}$') **→** ***A*** **=** ($\mathbf{a_1}$ **&** '$\mathbf{a_1}$', **...,** $\mathbf{a_k}$ **&** **'b',** $\mathbf{a_n}$ **&** '$\mathbf{a_n}$'). К этой же группе идиом относятся также выражения *важная птица, большая шишка, вернемся к нашим баранам*[4], *дать в лапу, по пьяной лавочке*.

1.1.4. Референциальная переинтерпретация (***A*** **& 'A' & "A" →** ***A*** **& 'A' & "$\mathbf{a_k}$").** Под классом референциальных переинтерпретаций понимаются те случаи, когда у языкового выражения происходит сужение референции до уникального референта, ср. *гений всех времен и народов, лучший друг советских физкультурников, самый*

---

[3] Приводимые в статье схемы, конечно, существенно упрощены. Так, в данной схеме следовало бы указать условия употребления *A* (синтактику), а также разделить *A* на компоненты (каждый со своим исходным значением и условиями употребления). Здесь и далее в схеме указывается лишь те компоненты, *которые существенны* для обсуждаемого аспекта идиоматичности.

[4] С синхронной точки зрения эта идиома может рассматриваться как переинтерпретация компонента *баранам*, хотя этимологически – это калька с французской идиомы *revenons à nos moutons*.

человечный человек, матерый человечище. Именно поэтому в схеме для обозначения экстенсионала результирующего выражения использована строчная буква **a**. Еще раз обратим внимание на то, что совсем не обязательно считать приведенные словосочетания идиомами. Важно, что им присуща определенная степень идиоматичности.

1.1.5. Переинтерпретация условий употребления (a_1 & c_1 + ... + a_k & c_k + a_n & c_n) → A = (a_1 & c_1, ..., a_k & c_q, a_n & c_n). Схематично этот случай описывается как изменение условий употребления (**c**) одного из компонентов целого – a_k ($c_k \rightarrow c_q$, где **q** не равно **k**), приводящее к тому, что a_k меняет свою категориальную принадлежность, ср. *быть/держаться вась-вась, надеяться на авось, быть не ах, не ахти какой/как..., быть на ты, без всяких но*. Так, в идиоме *надеяться на авось* междометие *авось* ведет себя как существительное. Компонент *вась-вась* в идиоме *быть/держаться вась-вась* может возводиться к обращению *Вась!* (точнее к множественному обращению), форма которого предполагает социальную близость коммуникантов; в идиоме этот компонент получает статус наречия.

1.1.6. Вторичная переинтерпретация (A & 'A' → A & 'B' → $\bar{A}$' & 'B')[5]. Этот тип переинтерпретации в большинстве случае связан с образованием эвфемизмов типа *послать на легком катере/на хутор бабочек ловить/в баню, мать твою за ногу, послать/пойти к такой-то бабушке, пойти/послать к едрене фене*. Понимание и использование этих идиом основано на знании соответствующих обсценных выражений. Сущность вторичной переинтерпретации заключается в наличии парадигматической связи между обсценной идиомой и ее эвфемизмом: сама обсценная идиома есть результат первичной переинтерпретации, а идиома–эвфемизм – результат ее переназывания. Разумеется, в ряде случаев на синхронном уровне некоторые выражения теряют свою связь с исходной обсценной идиомой (ср. *накрыться медным тазом*). Такие примеры, естественно, попадут в другие группы.

1.1.7. Псевдоисчерпание (a_1 & 'a_1' +...+ a_n & 'a_n') → A = ((a_1 & 'a_1', ..., a_n & 'a_n')&'b_1', ..., 'b_n'). Псевдоисчерпание характеризует идиомы типа *ни сват ни брат; ни кола ни двора, ни то ни се; знать не знаю, ведать не ведаю*. Процедура псевдоисчерпания основывается на том, что перечисляются некоторые элементы общего множества *Z*, которые не исчерпывают его, но интерпретируются как если бы все множество было реально перечислено (в схеме дополнительные элементы множества обозначены рядом 'b_1', ..., 'b_n'). Так, в идиоме *ни сват ни брат* актуальное значение 'человек, в отношении которого говорящий не имеет никаких обязательств, затрагивающих личную сферу самого говорящего' не исчерпывается отношениями *быть сватом* и *быть братом*. Аналогично идиома *ни кола ни двора* по крайней мере с синхронной точки зрения не исчерпывает потенциальных объектов владения. В идиоме *знать не знаю, ведать не ведаю* глаголы *знать* и *ведать* также не исчерпывают множество лексически маркируемых "способов знания". В выборе элементов, представляющих множество Z, может участвовать фактор осложнения формы (рифмование, звуковое подобие и т.п. – подробнее см. ниже).

Заключая обсуждение видов переинтерпретации, подчеркнем, что их следствием является комплекс экспрессивных характеристик (образность, эмотивность, стилистическая окрашенность и пр.), обычно связываемых с идиомами. Более того, в традиционной фразеологии экспрессивные характеристики рассматриваются как важнейший критерий включения фразеологизма в класс идиом. В нашем понимании это несомненно вторичный признак.

1.2. Рассмотрим теперь категорию непрозрачности. Хотя во многих случаях непрозрачность и переинтерпретация не исключают друг друга и выступают одновременно (ср. пункты 1.1.2., 1.1.4., 1.1.5., 1.1.6., 1.1.7), при выбранной логике изло-

[5] $\bar{A}$' частично совпадает с A по форме.

жения естественно категорию непрозрачности (как и категорию переинтерпретации) рассмотреть отдельно.

В самом общем виде можно различать два основных вида непрозрачности – непрозрачность выводимости и компонентную непрозрачность.

1.2.1. Непрозрачность выводимости (a_1 & 'a_1' +...+ a_0 & 'a_n') → A = ((a_1, ..., a_n) & 'A' = F('a_1', ..., 'a_n')). Непрозрачность выводимости обычно описывалась в других терминах как неаддитивность сложения смыслов (ср. [Мельчук 1960; 1968], где неаддитивность сложения смыслов приравнивается к идиоматичности). Разумеется, непрозрачность выводимости относится далеко не ко всем случаям неаддитивного сложения смыслов. Дело в том, что формирование семантики большинства языковых выражений требует неаддитивных правил сочетаемости значений слов, составляющих эти выражения (см. [Балли 1955; Щерба 1974; Гак 1972; Апресян 1995]). Тем самым непрозрачность выводимости относится только к нестандартным правилам сочетания значений слов[6]. Отметим, что в большинстве исследований идиоматичность связывается именно с этим типом непрозрачности. При таком подходе выражения типа *не видно ни зги* оказываются неидиоматичными, так как каждому их компоненту могут быть приписаны какие-то значения (ср. [Мельчук 1968 : 54]).

Понятно, что непрозрачность выводимости – типичное следствие переинтерпретации. Весьма часто переинтерпретация осуществляется по уникальным правилам. Так, приводившийся ранее пример на переинтерпретацию *брать быка за рога* может служить примером непрозрачности выводимости, поскольку можно считать, что нет стандартных правил, позволяющих вывести актуальное значение выражения по значениям составляющих. Заметим, что переинтерпретированные выражения далеко не всегда обладают свойством непрозрачности. В целом ряде случаев для "вычисления" актуального значения могут быть привлечены знания об импликатурах дискурса и о типичных метафорических моделях типа ЖИЗНЬ ЕСТЬ ИГРА, СОБЫТИЕ ЕСТЬ ДВИЖЕНИЕ, ЖИЗНЬ ЕСТЬ ПУТЬ и т.п. Теоретический статус правил такого рода требует дополнительного обсуждения, но очевидно, что использование таких знаний не позволяет говорить о непрозрачности выражений типа *пускать козла в огород*.

1.2.2. Компонентная непрозрачность (A = (a_1, ..., a_k, ..., a_n), **при том что** $a_k \notin$ **D, где D – словарь данного языка).** Суть другого типа непрозрачности – компонентной непрозрачности – заключается в том, что в выражении присутствуют лексические элементы, которые не фиксированы в словаре. Если считать, что компонентная непрозрачность – вид идиоматичности, выражения типа *не видно ни зги* следует считать идиоматичными. Заметим, что с точки зрения компонентной непрозрачности и словосочетания типа *заклятый враг, расквасить нос* идиоматичны (ср. их противоположную интерпретацию Мельчуком [1968]). Другое дело, являются ли эти сочетания идиомами. Ниже мы вернемся к этой проблеме. Предлагаемая в ряде исследований (см. [Weinreich 1966; 1969; Мельчук 1968]) интерпретация идиоматичности только как нестандартности правил сложения смыслов не отвечает естественному пониманию этой категории, поскольку непрозрачные (в одном из пониманий) сочетания слов, которые с естественной точки зрения явно идиоматичны, при таком описании выпадают из этой сферы. В частности, такими единицами оказываются выражения *семо и овамо, ничтоже сумняшеся* (в терминологии Вейнрейха – псевдоидиомы).

Разумеется, за фактом "несловарности" компонента стоят различные причины, определяющие степень непрозрачности. Так, словоформы *лясы* в идиоме *точить*

---

[6] В схеме нестандартному правилу сопоставлена функция F от нескольких аргументов – смыслов 'a_1', ..., 'a_n'. Понятно, что это некоторое огрубление, поскольку правил может быть несколько и в сфере действия функции (области отправления) могут оказаться не все, а лишь некоторые элементы. Для данного изложения это несущественно.

лясы абсолютно непрозрачна, в то время как словоформа *путеводная* в идиоме *путеводная звезда* непрозрачна по основанию нефиксированности в словаре, но выводима благодаря семантической мотивированности (ср. 1.2.1).

Заключая обсуждение категории идиоматичности, подчеркнем, что идиоматичность нельзя рассматривать как достаточное условие отнесения к классу идиом. Как показывают приведенные выше примеры, область идиоматичности оказывается существенно шире. Кроме того, важно иметь в виду, что выделенные нами аспекты *идиоматичности – переинтерпретация и непрозрачность* – в большинстве случаев тесно взаимодействуют друг с другом. Фактически – это две стороны одной медали. Именно поэтому определение идиоматичности естественно строить, исходя из этих двух базовых категорий.

2. УСТОЙЧИВОСТЬ КАК ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

2.1. Рассмотренные здесь проявления идиоматичности, как уже говорилось, далеко не во всех случаях приводят к образованию идиомы. Важнейшим условием для включения выражения в класс идиом является (помимо его идиоматичности) устойчивость. В устойчивости выделяется структурный аспект и аспект узуальный (социальный – по В.Г. Гаку [1977]). *Первый характеризует выражение с точки зрения внутреннего* устройства языкового выражения (ограничения на трансформируемость, дефектность парадигмы и пр.). Узуальный аспект относится к восприятию выражения языковым социумом – к ощущению частой повторяемости выражения в речи разных носителей языка.

В литературе имеются попытки формального определения устойчивости. Так, И.А. Мельчук связывает устойчивость с предсказуемостью/прогнозируемостью появления одного компонента словосочетания относительно другого: "Другой ... признак несвободных сочетаний – это их устойчивость, понимаемая здесь как ограниченная сочетаемость означающих, т.е., как достаточно высокая условная вероятность B при наличии A: A сильно предсказывает (прогнозирует) B. Другими словами, сочетание *A + B полностью устойчиво, если любое сочетание A + X; где X ≠ B, невозможно в* данном языке" [Мельчук 1968: 54]. При таком понимании устойчивыми оказываются только словосочетания с уникальными компонентами, причем только относительно уникального компонента, так выражение *точить лясы* устойчиво по *лясы*, а по словоформе *точить* уже устойчивым в смысле Мельчука не является. Возможно, такая интерпретация устойчивости отвечает (или отвечала) каким-то необходимым принципам построениям модели "Смысл ⇔ Текст", однако вряд ли она соответствует естественному пониманию категории устойчивости, так как для любого носителя языка выражения типа *на седьмом небе* и *соль земли* несомненно являются устойчивыми, хотя их компоненты и не предсказывают друг друга.

Мы под устойчивостью понимаем фиксированность в узусе некоторого словосочетания, его узуализацию. С нашей точки зрения, структурный аспект устойчивости не является обязательным. Если узуализация отсутствует, то бессмысленно говорить об устойчивости со структурной или какой-либо другой точки зрения. При этом устойчивость в узуальном смысле может обходиться без структурных аспектов устойчивости, ср. *принимать решение, приводить пример* – выражения такого типа (коллокации) структурно ничем не отличаются от свободных словосочетаний, являясь при этом устойчивыми выражениями, которые не могут порождаться по продуктивным правилам и должны фиксироваться в словаре. С другой стороны, факторы структурной устойчивости – дефектность парадигмы, рифма, ограничения на способность к трансформированию и пр. – в сочетании с узуализацией усиливают ее, выступая либо в качестве одной из причин узуализации, либо в качестве ее следствий.

Степень узуализации, по-видимому, не является постоянной величиной для разных устойчивых выражений и может быть оценена статистически. К сожалению, мы не в состоянии дать математическое выражение фактора устойчивости и в последующем

опираемся только на свою интуицию, подкрепленную словарной традицией (наличием словосочетания в словаре). С точки зрения распределения информации между словарем языка и его грамматикой устойчивые выражения фиксируются в словаре, а не порождаются каждый раз по правилам грамматики. В теории языкознания это характеристика сущностная, а не модельная, поскольку разные модели языка распределяют информацию между словарем и грамматикой по-разному. Так, Ю.Д. Апресян указывает на то, что возможна модель языка, описывающая идиому *вешать нос* как свободное словосочетание. Для этого достаточно приписать компонентам соответствующие значения в словаре, однако с сущностной точки зрения – это безумие[7] [Апресян 1995: 116].

2.2. Как и идиоматичность, устойчивость можно представить в виде отдельных параметров. Рассмотрим сначала факторы, которые естественно интерпретировать как следствия фиксации словосочетания в узусе. Самым общим следствием такого рода является словарная фиксация словосочетания. Есть и более частные следствия, которые мы рассмотрим ниже.

2.2.1. Ограничения на образование вариантов. Реально представлены различные *степени вариативности* – как по количеству "заменяемых" компонентов, так и по количеству "заменяющих" компонентов. Так, в выражении *висеть на волоске* варьировать может как компонент *висеть* (ср. *держаться на волоске*), так и компонент *волоске* (ср. *висеть/держаться на ниточке*, см. подробнее [Диброва 1979]). С другой стороны, в идиоме *глаза на лоб полезли* может варьироваться только один компонент *глаза*, но количество "заменяющих" слов довольно велико (*брови, фары, шнифты, зенки* и т.п.). Разумеется, есть случаи полного отсутствия вариантов, ср. *собаку съесть*.

Следует подчеркнуть, что абсолютную фиксированность компонентного состава идиомы нельзя рассматривать как необходимый критерий отнесения к классу идиом. Однако значительная свобода варьирования элементов заставляет подозревать существование альтернативного описания выражения как свободного словосочетания. Так, вряд ли целесообразно рассматривать сочетание *нести чушь* как идиому, поскольку *нести* вполне допускает многочисленные замены на *пороть, говорить, писать*, а *чушь* легко заменяется на *ерунду, фигню, хреновину, ахинею, галиматью, бред*[8]. К вариативности в широком смысле относится также возможность изменения порядка слов в словосочетании (ср. *не ударить в грязь лицом* → *не ударить лицом в грязь* и *раз плюнуть* → ?*плюнуть раз; знать не знаю, ведать не ведаю* → **ведать не ведаю, знать не знаю*).

2.2.2. Регулярность vs. дефектность парадигмы. Идиомы часто ограничены в своей парадигме. Так, для ряда глагольных идиом характерно отсутствие форм первого лица, ср. *выносить сор из избы* – ?*Я выношу сор из избы*[9]. Заметим, что эти ограничения могут ослабляться в специфических контекстах, ср., например, контекст цитации *Он обвиняет меня в том, что я выношу сор из избы*. Для именных идиом и для именных компонентов глагольных идиом типичны запреты на регулярное образование числа, ср. *Физика – его ахиллесова пята* и **Физика и химия – его ахиллесовы пяты*; при отнесении идиомы *не ударить в грязь лицом* к нескольким субъектам смысловое согласование по числу невозможно, ср. **Они не ударили лицами в грязь*.

С некоторой точки зрения можно было бы считать, что очень сильные ограничения на образование форм парадигмы – причина устойчивости данного выражения: эко-

---

[7] Ср. показательный разбор примера *to rub noses* у Вейнрейха [Weinreich 1966 : 450].

[8] Ср. однако невозможность **пороть бред*.

[9] Этот тип дефектности можно объяснить с точки зрения идеи "иллокутивного самоубийства" [Вендлер 1985].

номнее хранить дефектное выражение в памяти целиком, чем каждый раз при его порождении актуализировать все имеющиеся запреты. Однако анализ примеров показывает, что скорее здесь речь идет о следствиях. Так, странно было бы утверждать, что словосочетание *ахиллесова пята* стало устойчивым из-за отсутствия у него множественного числа. Сама семантика исходной ситуации, зафиксированная во внутренней форме, а, следовательно, и в значении, не допускает множественную интерпретацию, то есть отсутствие множественного числа является следствием семантики данного устойчивого выражения.

2.2.3. Наличие vs. отсутствие синтаксической проницаемости. Свободные словосочетания допускают проведение различных синтаксических трансформаций, видоизменяющих их синтаксическую форму или окружение. К числу таких трансформаций относится, например, введение определения к существительному (*читать книгу* → *читать интересную книгу*), введение отрицания в глагольное словосочетание (*строить дом* → *не строить дом*), образование придаточного определительного, относящегося к одному из компонентов словосочетания (*строить дом* → *строить дом, который должен понравиться всем*), образование пассива (*ломать ветку дерева с трудом* → *ветка дерева ломается с трудом*). Многие идиомы оказываются непрозрачными для этих трансформаций, ср. *вешать лапшу на уши* → **вешать лапшу на свои/чужие уши*, **вешать длинную лапшу на уши* (введение определения): *не лаптем щи хлебать* → **не лаптем щи хлебать, которые сварил Иван Иванович* (образование придаточного определительного); *навострить лыжи* → **не навострить лыжи* (введение отрицания); *ломать голову над чем-либо* → **голова ломается над чем-либо* (образование пассива).

Ограничения на синтаксическую проницаемость естественно считать следствиями устойчивости, поскольку фиксированность выражения в узусе может привести к ограничению набора синтаксических трансформаций, "работающих" со свободными словосочетаниями. Если выражение по каким-то причинам уже стало единицей словаря, оно имеет тенденцию вести себя как единое целое, не допускающее поэлементной обработки.

Сравнение синтаксически непроницаемых выражений с выражениями синтаксически проницаемыми ставит ряд вопросов. Словосочетание *катить бочку* допускает большинство из упомянутых трансформаций (ср. *Я на него бочку **не** качу; Он катит на меня **большую** бочку; Его отрицательная рецензия на мою диссертацию – это просто бочка, **которую** он на меня давно катит*). Казалось бы, что оно должно быть менее устойчивым, чем приведенные выше идиомы. С интуитивной точки зрения это, однако, не так: выражения *не лаптем щи хлебать* или *навострить лыжи* не воспринимаются как более устойчивые, чем *катить бочку*. Дело в том, что причины устойчивости изучены настолько плохо, что мы не можем с определенностью сказать, что привело к узуализации любого из этих выражений. Тем самым мы не можем строго фиксировать силу устойчивости, поскольку нам не ясен сам набор причин узуализации.

2.3. Наряду с факторами, являющимися следствиями из устойчивости, можно говорить и о факторах, которые целесообразно рассматривать в качестве ее причин. По-видимому, в рамках лингвистики невозможно с определенностью выявить истинные причины формирования устойчивых оборотов. Чаще всего причины устойчивости носят экстралингвистический характер. Здесь может оказаться важной культурная значимость текста-источника (ср. многочисленные идиомы-библеизмы, идиомы, пришедшие в русский язык из "Горя от ума" Грибоедова, "Двенадцати стульев" и "Золотого теленка" Ильфа и Петрова, идиомы из Шекспира в английском языке и из Гете – в немецком); культурно-исторический контекст (ср. наличие большого количества французских заимствований в русской идиоматике); повышение престижности и/или расширение сферы функционирования определенных подъязыков, в том числе жаргонов

(ср. широкое использование в постсоветское время языковых выражений из сферы лагерного жаргона). Многие причины узуализации остаются, однако, абсолютно непонятными, ср. новые идиомы *по жизни, крыша поехала*.

Доля собственно лингвистических факторов узуализации, по-видимому, крайне мала. Однако несомненно есть и некоторые чисто лингвистические особенности языковых выражений, способствующие узуализации. Сейчас мы можем с уверенностью указать лишь один из них.

2.3.1. Усложненность формы ($A = (a_1, ..., a_n)$, при том что любые элементы из A могут быть связаны формальным отношением F). Усложненность формы проявляется в том, что компоненты $a_1, ..., a_n$, из которых состоит выражение A, связаны между собой не только стандартными грамматическими (синтаксическими и семантическими) правилами, но и некоторым дополнительным формальным отношением **F**. Чаще всего – это рифмование, ср. *глаз-алмаз; куда ни кинь, всюду – клин; наш пострел везде поспел, ни сват ни брат, ни складу ни ладу*. К этому же типу идиоматических образований относится также удвоение корня типа *ревмя реветь, на веки вечные, во веки веков, век вековать, ходуном ходить, дурак дураком*. К числу приемов усложнения формы относятся также аллитерации (характерные для германских языков), ассонансы и т.п.

3. СВЯЗАНА ЛИ УСТОЙЧИВОСТЬ С ИДИОМАТИЧНОСТЬЮ?

Из изложенного выше следует, что устойчивость и идиоматичность прямо не связаны друг с другом. Доказательство тому – существование словосочетаний устойчивых, но неидиоматичных и неустойчивых, но идиоматичных. Так, класс коллокаций (словосочетаний типа *ставить вопрос, принимать меры/решения, радость охватила, производить впечатление* и др.) безусловно характеризуется устойчивостью, но говорить об их идиоматичности можно только весьма условно и то только относительно "фразеологически связанного" компонента (ср. выше 1.1.3). С другой стороны, не все идиоматичное устойчиво (ср. пример языковой игры типа *охрометь на один зуб* из [Земская и др. 1983])[10].

Тем не менее внешняя независимость идиоматичности и устойчивости не мешает увидеть в них нечто общее – различные формы проявления нерегулярности. **Категория нерегулярности** относится к области синтеза языковых выражений и может быть определена как **использование при формировании языкового выражения менее общего правила при наличии более общего.** В частном случае менее общее правило оказывается уникальным. С когнитивной точки зрения нерегулярность проявляется в осложненности процесса порождения языкового выражения (привлечения дополнительных когнитивных процедур, наращения цепочки когнитивных преобразований и пр.) [Баранов, Добровольский 1991; Dobrovol'skij 1995].

Все описанные здесь факторы идиоматичности и устойчивости с очевидностью могут быть рассмотрены в рамках категории нерегулярности[11]. В свою очередь, нерегулярность в языке выводит нас на принцип экономии, широко обсуждавшийся в лингвистической литературе.

---

[10] О независимости устойчивости и идиоматичности писал И. Мельчук [1960; 1968], однако поскольку его интерпретация этих категорий существенно отличается от нашей, то за одинаковым по форме выводом скрываются сущностно разные концепции.

[11] Из сказанного не следует делать вывод, что нерегулярность является единственной причиной устойчивости. Узуализироваться могут и вполне регулярные выражения, ср., например, названия компаний, художественных фильмов, пьес, государств и пр. Особый вопрос, требующий отдельного обсуждения, связь нерегулярности с идиоматичностью. По-видимому, идиоматичность в тех проявлениях, которые здесь описаны, может рассматриваться как частный случай нерегулярности.

4. КАТЕГОРИЯ НЕРЕГУЛЯРНОСТИ И ПРИНЦИП ЭКОНОМИИ

Бурные дискуссии начала 60-х годов в прикладной и математической лингвистике о соотношении экономного словаря и эффективной грамматики апеллировали к принципу экономии усилий [Zipf 1949]: правильно то, что реализуемо на ЭВМ, а реализуемо то, что экономно. В работах Мартине и Щербы поднимались аналогичные проблемы, рассматриваемые через призму теоретической лингвистики [Мартине 1960]. Впрочем, граница между теоретическим и прикладным направлениями в языкознании достаточно условна. Однако с точки зрения языковой теории связанная с принципом экономии проблема распределения лингвистической информации между словарем и грамматикой не случайный фантом – порождение компьютерной модели языка, а сущностная категория, реально представленная в языковом сознании. Память человека и его возможности оперирования знаниями далеко не безграничны. Именно поэтому фиксация в словаре единиц типа *пятое колесо в телеге* как четырех отдельных слов со специфическими значениями, реализующимися только в данной идиоме, не просто неэкономно с точки зрения описательных задач, но и вряд ли оптимально для функционирования когнитивной системы человека. Кроме того, установление изоморфизма между смысловыми блоками и отдельными компонентами идиомы часто представляется проблематичным (см. выше "непрозрачность выводимости" 1.2.1).

Таким образом, выделение фразеологической системы в традиционных описаниях имеет вполне понятные причины: оказывается более экономным хранить эти выражения как единые сущности, как единицы лексикона, не порождая их каждый раз заново в процессе коммуникации. Эту мысль можно увидеть у Ш. Балли: "...специальное и произвольное правило требует большего усилия, чем общее и рациональное правило" [Балли 1955: 205]. Отсюда следует, что класс фразеологизмов в целом выделяется по основанию нерегулярности. Какое же место занимают идиомы в обширном классе фразеологизмов? Хотелось бы, чтобы построенная теоретическая модель идиом максимально приближалась к естественному пониманию этой категории, свойственному большинству лингвистов. В основе этого понимания лежит идея центральности класса идиом относительно всего множества фразеологизмов. Иными словами, идиомы наиболее нерегулярны. Поскольку в рамках излагаемой концепции свойство нерегулярности проявляется в идиоматичности и устойчивости, то идиомы по сравнению с другими фразеологизмами должны обладать этими свойствами в большей степени. Тем самым **идиомы могут быть определены как сверхсловные образования, которым свойственна высокая степень идиоматичности и устойчивости.** При таком определении становится очевидным, что четкая граница между идиомами и фазеологизмами других классов (коллокациями, грамматическими фразеологизмами, формулами речевого этикета и пр.) отсутствует. поскольку и другие группы фразеологизмов обязательно обладают устойчивостью и им может быть свойственна определенная идиоматичность (как в смысле непрозрачности, так и в смысле переинтерпретации). Так, фразеологические сочетания *грецкий орех* и *перочинный нож* непрозрачны (в смысле 1.2.2)[12] и устойчивы, аналогично можно сказать, что коллокации типа *одержать победу* устойчивы и непрозрачны по компоненту *одержать*. С другой стороны, коллокации *принимать во внимание, дать знать, не давать в обиду* содержат переинтерпретированные элементы. Тем не менее, интуитивно эти выражения не хотелось бы относить к идиомам: они более регулярны, чем это соответствует "идеальному" представлению об идиоме.

Устойчивость коллокаций связана в первую очередь с произвольностью выбора

[12] Заметим, что непрозрачность (как, собственно, и идиоматичность) градуальна: есть более и менее прозрачные выражения, или более и менее мотивированные уникальные компоненты, ср. *перочинный нож* (степень мотивации велика и, соответственно, степень непрозрачности мала) и *не видно ни зги* (степень мотивации мала и степень непрозрачности велика).

семантически "опустошенного" элемента. Так, для коллокации *принять решение* трудно объяснить, почему из множества глаголов, имеющих в плане содержания компонент со значением 'инициации некоторого положения дел' – *брать, производить, совершать, делать* и т.п. – выбирается именно *принимать*. Элементарное типологическое сопоставление показывает, что в других языках в аналогичных сочетаниях используются другие глаголы, ср. в англ. *to make a decision*, в нем. *eine Entscheidung treffen* или *einen Beschluß fassen*. В этой произвольности и заключается решающая нерегулярность коллокаций (ср. в связи с этим термин Ш. Балли "произвольное обусловливание" [Балли 1955: 172]). Что касается нерегулярности идиом, то она, как было показано выше, имеет другую природу[13].

Иными словами, вся проблема заключается в экспликации степени нерегулярности через факторы идиоматичности и устойчивости. Очевидно, что при такой постановке вопроса необходимо, с одной стороны, выделить факторы нерегулярности (что было сделано выше), а с другой – указать нижний порог нерегулярности для идиом.

5. ПОРОГ НЕРЕГУЛЯРНОСТИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ИДИОМЫ

Факторы нерегулярности уже были обсуждены – разумеется, в первом приближении. Обратимся к идее порога нерегулярности. Традиционная фразеология не дает никакого разумного ответа на этот вопрос. Попытка ориентации на одно какое-то свойство идиоматичности не дает желаемых результатов, поскольку ни одно из выделенных свойств идиоматичности не является необходимым и достаточным для всех идиом в целом [Баранов, Добровольский 1991]. Квантитативная стратегия решения этой проблемы, заключавшаяся в фиксации "весов" для каждого фактора нерегулярности, оказалась неудачной, так как не удается предсказать эффект от сочетания нескольких различных факторов – он не равен их простой сумме.

Поскольку идиомы представляют собой весьма неоднородное множество, ни та, ни другая стратегии не работают. Более разумно ориентироваться на конкретные группы идиом, каждая из которых обладает своим набором признаков, определяющих порог нерегулярности (идиоматичности и устойчивости) для данной конкретной группы. Покажем это на примерах.

Одной из таких групп, обладающих яркими индивидуальными признаками, являются идиомы с уникальным компонентом. Очевидно, что наличие уникального компонента само по себе недостаточно для отнесения устойчивого словосочетания к классу идиом (ср. *грецкий орех, заклятый враг, закадычный друг, проливной дождь*, которые вряд ли разумно относить к идиомам), хотя это и является признаком идиоматичности, как это было показано выше. Если сравнить данные словосочетания с идиомами типа *бить баклуши, точить лясы, гол как сокол*, то видно, что главное отличие состоит в переинтерпретированности последних выражений. Таким образом, можно утверждать, что для данной группы идиом, кроме параметра компонентной непрозрачности, необходима переинтерпретация.

Другая относительно гомогенная группа идиом, на примере которой можно проиллюстрировать нашу идею – это устойчивые сравнения. В целом этот класс выражений требует особого обсуждения. Традиционно он весь включался в сферу идиоматики. Между тем ощущается явное интуитивное различие между устойчивыми сравнениями типа *белый как снег*, с одной стороны, и *беречь как зеницу ока* – с другой. Дело в том, что союз *как* эксплицирует важные компоненты процедуры переинтерпретации, что приводит к снижению степени идиоматичности. Это означает, что отнесение к идиомам устойчив сравнения с союзами типа *как (словно, будто, точно)* требует

[13] Для описания нерегулярности коллокаций, связанной с произвольностью выбора, используется известный аппарат лексических функций. Тот факт, что огромное количество коллокаций можно представить с помощью ограниченного набора лексических функций, свидетельствует о том, что степень нерегулярности коллокаций относительно невелика по сравнению с нерегулярностью идиом.

наличия дополнительных факторов идиоматичности и/или устойчивости. Так, в сочетании *беречь как зеницу ока* присутствует уникальный компонент *зеница*, что позволяет говорить о компонентной непрозрачности. В идиоме *покраснеть как маков цвет* уникальным оказывается словосочетние *маков цвет*, которое трудно представить себе вне рамок данного сравнения (ср. **В вазе на столе стоял маков цвет*). Непрозрачность выводимости имеется в идиоме *в долгу как в шелку*, поскольку с синхронной точки зрения *долг* и *шелк* не имеют ничего общего между собой[14]. Можно считать, что кроме непрозрачности выводимости в этой идиоме дополнительную роль играет осложнение формы – фактор устойчивости (см. выше). По сравнению с указанными идиомами, выражения типа *белый как снег*, *упрямый как осел*, *звонкий как колокольчик*, будучи устойчивыми, из-за эксплицитности сравнения оказываются настолько регулярными, что их отнесение к идиомам в рамках нашей теории вряд ли оправдано. В качестве дополнительного фактора нерегулярности для устойчивых сравнений может выступать и переинтерпретация, ср. *вертеться как белка в колесе*, где переинтерпретированным оказывается все выражение в целом, включая "левую часть" – глагол *вертеться* (см. близкие по духу рассуждения в [Жуков 1978: 86–87]). Разумеется, и при таком подходе выделяется ряд переходных случаев, для которых трудно принять окончательное решение об отнесении vs. неотнесении выражения к классу идиом.

6. ИДИОМЫ VS. ПАРЕМИИ

Выделенные параметры идиоматичности и устойчивости позволяют отделить идиомы от фразеологизмов других групп, но не отделяют идиомы от паремий, поскольку паремии всегда устойчивы, а во многих случаях и идиоматичны. Хотелось бы выявить свойства идиом, отличающие их от паремий, не сводя все различие к поверхностной структуре: предложение vs. словосочетание. Обычно к сфере идиоматики относятся только словосочетания и предикативные единицы типа *денег куры не клюют* у *кого-либо* (пропозициональные формы). Конструкции, аналогичные по форме и функции предложению, в традиционных описаниях исключались из состава идиом и попадали в сферу паремиологии. Однако область традиционно понимаемых паремий не однородна. С одной стороны, к паремиям относят сентенции типа *не в свои сани не садись*, *на всякого мудреца довольно простоты*, *цыплят по осени считают* (пословицы), а с другой – выражения типа *вот тебе, бабушка, и Юрьев день!*, *лед тронулся!*, *жребий брошен!*, *мосты сожжены!* (некоторые из них традиционно описываются как поговорки). Последняя группа этих выражений существенно отличается от первой [Добровольский 1990]. Можно выделить следующие параметры, по которым пословицы (выражения первой группы) отличаются от выражений второй группы, которые мы относим к идиомам:

1) наличие кванторного значения всеобщности в плане содержания пословиц (это выражается на поверхностном уровне лексемами типа *всякий*, *каждый*, а также обобщенно-личной формой глагола в их составе);

2) наличие в иллокутивной семантике пословиц "рекомендательной силы" по Хэару [1985] и ее отсутствие в иллокутивной семантике идиом-высказываний;

3) большая дискурсивная зависимость идиом-высказываний по сравнению с пословицами.

Дискурсивная зависимость идиом-высказываний выражается в том, что они *иллокутивно вынуждаются*[15] либо предыдущей репликой коммуниканта, либо какими-то не обязательно вербализованными аспектами ситуации.

Часто идиомы-высказывания имеют залоговый коррелят – глагольную идиому, ср.

---

[14] Дополнительным фактором устойчивости для этой идиомы можно считать наличие второго предложного падежа.

[15] О понятии иллокутивного вынуждения см. [Баранов, Крейдлин 1992].

жребий брошен! – бросить жребий, мосты сожжены! – сжечь мосты. Это еще один аргумент в пользу их включения в класс идиом, поскольку описание подобных пар как единиц, принадлежащих к разным классам вряд ли оправдано.

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сформулированное здесь понимание феноменов идиоматичности и идиомы не избавляет исследователя от необходимости принятия самостоятельных решений в спорных случаях. Как мы показали, категория идиоматичности не просто градуальна, но и задается набором признаков разной природы, каждый из которых, в свою очередь, тоже градуален. Еще более сложным устройством отличается феномен идиомы: помимо идиоматичности, он предполагает еще и наличие устойчивости. Отсюда следует, что общее определение идиомы, отвечающее интуиции лингвиста, вряд ли будет операциональным. Операционализация возможна только относительно небольших гомогенных групп идиом, для которых набор признаков идиоматичности и устойчивости постоянен. В этой статье такой путь операционализации намечен для двух групп идиом. Используя предложенную идеологию анализа, можно определить порог идиоматичности и для других групп идиом.

Наука о языке всегда находилась между Сциллой и Харибдой: с одной стороны лингвистическая теория сталкивалась с недискретностью своего объекта изучения, а с другой – научный канон, связанный с чисто человеческими особенностями восприятия и интерпретации действительности, требовал от нее расчленения описываемых явлений на дискретные составляющие. В сфере фразеологии это отражалось либо в весьма общих утверждениях об образности и экспрессивности идиом, что делало невозможной любую операционализацию, либо в системе строгих оппозиций, приводящих к четкому выделению отдельных классов, не совпадающих, однако, с интуитивными представлениями об их границах. Представленный здесь подход можно рассматривать как попытку преодолеть эти противоречия. Каждый из выделенных признаков формулируется достаточно строго, что соответствует идее дискретности элементов метаязыка описания. Неопределенность же, соответствующая нечеткости границ класса идиом (его недискретности), выражается в открытости списка признаков, а также в невозможности задать набор необходимых и достаточных признаков нерегулярности для всего класса сущностей, интуитивно воспринимаемых как идиомы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апресян Ю.Д. 1995 – Лексическая семантика. Изд-е 2-е, испр. и доп. М., 1995.

Балли Ш. 1955 – Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.

Баранов А.Н., Добровольский Д.О. 1991 – К универсальному определению идиомы // Макет словарной статьи для автоматизированного толково-идеографического словаря русских фразеологизмов. Образцы словарных статьей. М., 1991.

Баранов А.Н., Крейдлин Г.Е. 1992 – Языковое взаимодействие в диалоге и понятие иллокутивного вынуждения // ВЯ. 1992 № 2.

Вендлер З. 1985 – Иллокутивное самоубийство // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. Лингвистическая прагматика. М., 1985.

Гак В.Г. 1972 – К проблеме семантической синтагматики // Проблемы структурной лингвистики 1971. М., 1972.

Гак В.Г. 1977 – Сопоставительная лексикология. На материале французского и русского языков. М., 1977.

Диброва Е.И. 1979 – Вариантность фразеологических единиц в современном русском языке. Ростов-на-Дону, 1979.

Добровольский Д.О. 1990 – Типология идиом // Фразеография в Машинном фонде русского языка. М., 1990.

Жуков В.П. 1978 – Семантика фразеологических оборотов. М., 1978.

Земская и др. 1983 – Языковая игра // Русская разговорная речь. М., 1983.

Мартине А. 1960 – Принцип экономии в фонетических изменениях. М., 1960.

Мельчук И.А. 1960 – О терминах "устойчивость" и "идиоматичность" // ВЯ. 1960. № 4.

Мельчук И.А. 1968 – Об одном классе фразеологических сочетаний (описание лексической сочетаемости с

помощью семантических параметров) // Проблемы устойчивости и вариантности фразеологических единиц. Тула, 1968.

Хэар Р.М. 1985 – Дескрипция и оценка. // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. *Лингвистическая* прагматика. М., 1985.

Щерба Л.В. 1974 – О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // Щерба Л.В. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.

Burger H. et al. 1982 – Handbuch der Phraseologie. Berlin; New York, 1982.

Dobrovol'skij D. 1995 – Kognitive Aspekte der Idiom-Semantik. Studien zum Thesaurus deutscher Idiome. Tübingen, 1995.

Fleischer W. 1982 – Phraseologie der deutschen Gegenwartssprache. Leipzig, 1982.

Heller D. 1980 – Idiomatik // Lexikon der Germanistischen Linguistik. Tübingen, 1980.

Makkai A. 1978 – Idiomaticity as a language universal // Greenberg J.H. (ed.) Universals of human language. Stanford, 1978.

Quine W. 1976 – The ways of paradox and other essays. Cambridge, 1976.

Weinreich U. 1966 – Explorations in semantic theory // Sebeok Th. (ed.) Current trends in linguistics III. Theoretical foundations. The Hague; Paris, 1966.

Weinreich U. 1969 – Problems in the analysis of idioms // Puhvel J. (ed.) Substance and structure of language. Berkeley; Los Angeles, 1969.

Zipf G.K. 1949 – Human behavior and the principle of least effort. Cambridge (Mass.), 1949.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1996

© 1996 г. Х. АНДЕРСЕН

ВЗГЛЯД НА СЛАВЯНСКУЮ ПРАРОДИНУ: ДОИСТОРИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЭКОЛОГИИ И КУЛЬТУРЕ (I)

Этимологическое исследование названий 'серой куропатки', 'рябчика' и 'белой куропатки' показывает, что семантические изменения в терминологии природной среды могут отражать как перемещения населения из одной экологической зоны в другую, так и изменения в самой природной среде, производимые человеком. Оно обнаруживает свидетельства постепенного выделения в северо-западной ветви индоевропейского кельтского, германского, балтийского и славянского, а также еще одной языковой группы, которая в дальнейшем могла быть поглощена другими. Оно проливает свет на религиозное значение диких птиц семейства куриных в эпоху до появления домашней курицы и, шире, на интегрированность природы в доисторическую культуру, а также способствует идентификации отдельных культурных ареалов древней Европы.

ВВЕДЕНИЕ

Этимологическая интерпретация традиционных славянских названий рябчика и куропатки представляет ряд проблем как со стороны содержания, так и со стороны выражения.

Этимологи реконстрируют в позднеобщеславянском два названия для рябчика (*Bonasa bonasia*) — **jerębь* и **lěščarъka* — и два для куропатки (*Perdix perdix*) — **jerębь* и **kuropъty*[1] — и таким образом допускают существование двух случаев синонимии, каждый из которых требует объяснения, и одного случая полисемии — общее название для рябчика и куропатки, что также нуждается в объяснении.

Более того, оба названия куропатки — **jerębь* и **kuropъty* — демонстрируют в славянских языках и диалектах столь значительную степень вариативности, что проблематичной оказывается сама возможность реконструкции соответствующих славянских протоформ.

В данной статье делается попытка ответить на наиболее очевидные вопросы, связанные с интерпретацией этих двух названий птиц, с которыми славяне имели дело на протяжении тысячелетий[2]. Сначала я рассмотрю эти названия в относительно неглу-

[1] Ср. [Miklosich 1970(1886), s.v.; SP, 6: 133—139, s.v. **ěrębica*; ЭССЯ, 1: 73—76, s.v. **arębica*; 14: 262, s.v. **kuropъty* и 15: 127—128, s.v. **lěščarъka*]. Каждый из этих этимонов демонстрирует в позднеобщеславянский период значительное диалектное варьирование. Там, где речь не идет специально о фонологическом составе вариантов, я говорю просто о позднеобщеслав. **jerębь*, **kuropъty* и **lěščarъka*.

[2] Рябчик и куропатка относятся к отряду птиц, классу куриных.

Рябчик (англ. *hazel grouse*) принадлежит к семейству тетеревиных (*Tetraonidae*), к которому относится также белая куропатка *Lagopus lagopus* (англ. *willow grouse*), тетерев *Tetrao tetrix* (англ. *black grouse* или *heath cock*) и глухарь *Tetrao urogallus* (англ. *capercaille*). В Польше и Белоруссии северноевропейский рябчик *Bonasa bonasia* приобрел черты западноевропейского подвида *Bonasa bonasia rupestris*. Заметим, что в Великобритании термином *grouse* чаще всего обозначается шотландская куропатка, местный подвид белой куропатки (*Lagopus lagopus scoticus*); см. далее раздел 3.

Серая куропатка (англ. *partridge*) принадлежит к семейству фазанов (*Phasanidae*), включающему также

бокой, общеславянской перспективе (разделы 1.1—1.3), попробовав интерпретировать их синонимические и омонимические отношения исходя из того, что известно о географическом распространении рябчика и куропатки в Восточной Европе в настоящее время и в прошлом и что предполагается относительно территории, которую славяне занимали в недавней праистории. После этого я обращусь к древнейшей праистории позднеобщеславянского **jerębь* 'куропатка' или 'рябчик' и его производных, которые необходимо рассмотреть в соотнесении с соответствующим германским и, особенно, балтийским материалом (раздел 2), а затем — к происхождению другого названия куропатки — **kuropъty* (раздел 3). Результаты этих этимологических разысканий резюмируются в разделах 2.3.4 и 3.5. Существенные для данной работы историко-экологическая и историко-культурная перспективы характеризуются соответственно в разделах 4 и 5. Основные выводы работы подведены в заключительном разделе 6[3].

1. ЭКОЛОГИЯ И ЯЗЫКОВАЯ ПРАИСТОРИЯ

1.1. Две пары синонимов для 'рябчика' и 'куропатки'

Начнем с того, что отметим различие в степени морфологической прозрачности позднеобщеслав. **lěšćarъka* 'рябчик' и **kuropъty* 'куропатка', с одной стороны, и **jerębь* 'рябчик, куропатка' — с другой. И **lěšćarъka*, и **kuropъty* — прозрачные образования, которые до сих пор, в их современных формах сохраняют для знакомого с их денотатами носителя языка свою мотивированность. **Jerębь*, между тем, название затемненное.

Позднеобщеслав. **lěšč-ar-ъk-a* 'рябчик' — производное от **lěšćarъ* 'орешник, лещина', которое в свою очередь произведено от **lěska* (лесной орех). Название, таким образом выражает связь между ореховым кустарником и рябчиком, использующим зимой побеги, почки и сережки орешника *Corylus avellana*, а весной — листья [Cramp 1980: 387]. Это делает заросли орешника часто посещаемыми рябчиком, что составляет характерную примету поведения этой довольно скрытной птицы, относительно легко наблюдаемую и отраженную в ряде языковых традиций, в частности, в англ. *hasel grouse, hasel hen*, нем. *Haselhuhn* (см. подробнее в разделе 5).

Образования на **-ъk-a* были высокопродуктивны в позднеобщеславянскую эпоху, вытеснив до некоторой степени более ранние формы (напр., позднеобщеслав. **gor-ić-a* > **gor-ъk-a*, **rěč-ić-a* > *rěč-ьk-a*, см. [Аванесов 1968]. Поэтому позднеобщеслав. **lěšč-ar-ъk-a* может быть как обновленной формой старого слова, так и недавним образованием. Думаю, что Трубачев прав, склоняясь в пользу второй возможности [ЭССЯ, 14: 262]; ср. раздел 1.3.

другие виды куропаток, такие как красная каменная куропатка *Alectoris rufa* и каменная куропатка (кеклик) *Alectoris graeca*, с альпийской разновидностью *Alectoris graeca saxatilis*. На Балканском полуострове рефлексы позднеобщеслав. **jerębь* обозначают в основном разновидности *Alectoris graeca*. К этому семейству относятся также перепелка *Coturnix coturnix*, несколько видов фазанов и кустарниковая курица *Gallus gallus*, от которой происходит домашняя курица *Gallus domesticus*.

Рябчик *Bonasa bonasia* ранее обозначался в научной классификации как *Tetrao* (или *Tetrastes*) *bonasia*. Греч. τέτραων означает 'тетерев'; греч. βόνασος является названием 'европейского бизона, зубра *Bos bonasus*'. Характеристика рябчика как 'бизоновидного' мотивирована угрожающей позой птицы, в которой "перья на голове приподняты, маховые перья первого порядка опущены, хвост распушен и перья в целом напряжены, что делает птицу с виду более крупной, чем обычно" [Cramp 1980: 288, с иллюстрацией].

[3] Я признателен коллегам, ознакомившимся с черновым вариантом статьи и сделавшим свои замечания: И. Гуткин, помогавший мне советами и справками по русскому фольклору; Вяч. Иванову, обратившему мое внимание на литературные сказки Ремизова об изобретательной курочке Рябке в книге "Шакал. Сказ кабильский", основанной на кабильских (берберских) народных сказках, впервые опубликованной в 1923 и 1924 гг. [Ремизов 1994: 124—127, 271]; Т. Ляхнович, поделившийся со мной своей версией русской народной сказки "Курочка ряба"; и Б. Вайн, чьи критические замечания по ряду этимологий были для меня весьма полезны. Никто из них ни в коей мере не несет ответственности за недостатки работы.

Названия 'куропатки' и 'рябчика' в славянских литературных языках[4]

	Зап.-слав.			Вост.-слав.	
	'куропатка'	'рябчик'		'куропатка'	'рябчик'
Польск.	*kuropatwa*	*jarząbek*	Русск	*куропа́тка*	*рябчик*
Н.-луж.	*kurotwa*	*jerjebk*	Блр.	*курапатка*	*рабчык*
В.-луж.	*kurotwa*	*wjerjabka*	Укр.	*куріпка*	*рябчик*
Чеш.	*koroptev*	*jeřábek*			
Слвц.	*jarabica*	*jarjabok horný*			

	Юж.-слав.				
	'куропатка'	'рябчик'		'куропатка'	'рябчик'
Словен.	*jerebica*	*lêščarka*	Болг.	*яребица*	*лѣщарка*
Сербохорв.	*jarèbica*	*ljèštárka*	Макед.	*яребица*	*лештарка*

Рефлексы позднеобщеслав. **lěščarъka* известны исключительно в южнославянских языках; ср. схему 1.

Реконструируемое позднеобщеслав. **kuropъty* представляет собой прозрачное сложение. Его вторым и главным компонентом является родовое обозначение птицы, выступающее в позднеобщеслав. **pъta*, **pъt-ića*, **pъt-ъka*, **pъt-akъ*, **pъt-achъ* (напр., ст.-сл. **пъта**, русск. *птица*, диал. *потка*, чешск. *ptak*, польск. стар. *ptach*). Первый, атрибутивный компонент **kuropъty* отражает очевидную характеристику куропатки — ее общее сходство с домашней курицей *Gallus domesticus*, позднеобщеслав. **kurъ* 'петух', *kura* 'курица'. Общее значение сложения должно быть, очевидно, 'куриная птица' [ЭССЯ, 15: 127]; см., однако, ниже раздел 3[5].

Заметим, что рефлексы **kuropъty* засвидетельствованы почти исключительно в севернославянских языках (см. схему 1). Отдельные исключения в словенском и сербскохорватском обсуждаются в разделе 3.

В отличие от позднеобщеслав. **lěščarъka* и **kuropъty*, происхождение позднеобщеслав. **jerębь* оказывается затемненным, и, хотя этимологами предлагались разные варианты членения его на префикс и корень или корень и суффикс (см. раздел 2.1.0), никому так и на удалось приписать какое-либо специальное и при этом убедительное содержание этим гипотетическим компонентам. Разумеется, затемненность названия — еще не свидетельство его изначальной немотивированности. Она означает лишь, что мотивировка не может быть усмотрена без дополнительной информации, синхронно недоступной носителем языка.

Различие в степени прозрачности рассмотренных слов вероятнее всего указывает на разницу в возрасте: синхронно мотивированные термины **lěščarъka* и **kuropъty* этимологически моложе не имеющего одной очевидной мотивировки **jerębь*. Соотнеся

---

[4] Используемые сокращения соответствуют принятым в ЭССЯ. Некоторые ключевые термины, называющие доисторические состояния славянского, поясняются в сноске *10*.

[5] Некоторые исследователи (ср. [ЭССЯ, loc. cit.]) предполагали наличие в **kur-* также звукоподражательного элемента. Это кажется маловероятным. Обычный крик куропатки — 'высокое, скрипучее, режущее ухо 'кии-вит' или 'керт-чип', сопровождаемое при взлете или в минуту опасности быстрым кудахтаньем'. В одном или двух из восьми функционально различающихся звуков, издаваемых куропаткой (например, подозрительном бормочущем 'кута-кут-кут-кут' или похожем на голубиное воркование, обращенном к цыплятам) можно различить акустические компоненты, напоминающие позднеобщеслав. **kurъ*, но они едва ли являются достаточно отчетливыми чертами звукового поведения птицы, чтобы мотивировать ее название. Кроме того, до монофтонгизации дифтонгов ок. 500 г. н.э. позднеобщеслав. **kur* звучало как общеслав. **kaur*; ср. [Shevelov 1965: 278]; о звуках, издаваемых куропаткой см. [Cramp 1980: 493]. См. далее раздел 3.

это различие с географическим распределением **lěščarъka* и **kuropъty*, отраженным на схеме 1, можно прийти к заключению, что славяне, заселившие Балканский п-ов и Венгерскую равнину, располагали названием куропатки и создали новое слово **lěščarъka* для обозначения рябчика; между тем, западные и восточные славяне, имея старое название для рябчика, образовали неологизм **kuropъty*, назвав таким образом куропатку.

Этот вывод влечет за собой постановку стержневого вопроса, до сих пор не затрагивавшегося славянской этимологией: как могло случиться, что позднеобщеслав. **jerębь* стало в разных частях славянского мира обозначением двух таких разных видов птиц, как куропатка и рябчик.

Порядок рассмотрения этого вопроса зависит от того, что предполагается в качестве первоначального значения позднеобщеслав. **jerębь*: 1) 'куропатка', 2) 'рябчик' или 3) что-либо иное. Как станет ясно из дальнейшего, сравнительные данные, как и собственно славянские, свидетельствуют, что исходным было значение 'рябчик'. Пока же примем эту логическую возможность в качестве рабочей гипотезы и посмотрим, каким образом мог произойти семантический сдвиг, изменивший значение позднеобщеслав. **jerębь* с 'рябчик' на 'куропатка'.

1.2. Рябчик и куропатка

С экологической точки зрения, рябчик и куропатка находятся в строго дополнительном распределении.

Рябчик — лесная птица. Он обитает

> "исключительно в обширных нетронутых лесах, преимущественно хвойных, но также смешанных и даже полностью лиственных. Предпочитает старый древостой с плотным пологом высоких деревьев, таких как пихта *Picea*, ель *Abies*, лиственница *Larix*, однако с обильной примесью меньших пород — ольхи *Alnus*, березы *Betula* — на полянах, прогалинах и лесных опушках. Держится болотистых мест, ручьев и речных долин, с обильным подлеском" [Cramp 1980: 385].

Рябчик — не перелетная птица; ведет оседлую жизнь и "является, вероятно, наименее подвижным из европейских тетеревиных. Отмечаются небольшие сезонные перемещения в связи с изменением состава кормов, с некоторым сдвигом осенью из сосновых лесов в березовые и ольховые". Однако среднее перемещение вторично обнаруженных окольцованных птиц в Швеции и Финляндии составило всего 1,2 км. "В СССР отмечена склонность к большей подвижности у самок и молодых особей, но и при этом более 90% вторично обнаруженных птиц встретились в пределах 500 м от места кольцевания" [Cramp 1980: 386].

Куропатка, напротив, птица степная,

> "сугубо наземная птица, предпочитающая непрерывный травяной покров, желательно не превышающий ее собственного роста, окаймленный или перемежаемый более высоким и плотным покровом в виде полезащитных полос, окраин леса или грубой травы и кустарника, используемого для укрытия и устройства гнезда. Ищет прямого доступа к голой, желательно пыльной земле, вспаханной или находящейся под паром, или дюнам. На западе палеарктического пояса (в сев. Евразии) практически все земли, подходящие под данное описание, в течение длительного времени возделывались, в связи с чем куропатка стала их постоянным обитателем. В отличие от других видов, обитающих в открытом ландшафте, встречается обычно в пределах не более нескольких сот метров от относительного высокого и плотного покрова, играющего большую роль в гнездовании" [Cramp 1980: 487].

Подобно рябчику, куропатка — оседлая птица и ведет почти сидячий образ жизни. "Перемещения локального характера наблюдаются в феврале, когда выводки разбиваются на пары, занимающие свои территории". Данные исследований, проводившихся в Дании и Чехословакии, демонстрируют локальный характер перемещений: 95% (из 220) resp. 93% (из 378) вторично обнаруженных окольцованных птиц встре-

тились в пределах 5 км от места окольцовки и только 1,4% resp. 3,2% — более чем в 10 км. [Cramp 1980: 489].

Ареалы рябчика и куропатки полностью укладываются в соответствующие экологические ниши, и судьба их в Европе исторически переплетена с распространением сельского хозяйства.

Рябчик "весьма чувствителен к нарушению среды обитания или ее деградации. Плохо переносит чрезмерное беспокойство и преследование, несмотря на свою способность незаметно скрываться. В свое время ареал рябчика в Северной Европе доходил на западе по крайней мере до Любека, где рябчик был документально зафиксирован в 1483 г. Теперь его западная граница проходит приблизительно между Одером и Вислой" [Løpphenthin 1964: 243][6]. На Украине и в южной России рябчик встречался на залешенных участках лесостепи еще в середине XVIII в., но теперь его ареал не распространяется на юг за пределы лесной зоны [Yeatman 1971: 160, с картой; Cramp 1980: 387]. Однако и в пределах этого сузившегося ареала подходящая для рябчика среда обитания значительно сократилась. Так, например, лесной покров Белоруссии, который в естественном состоянии должен был занимать 80% всей территории, составлял в 1840 г. 45,6%, в 1887 36,6%, а в 1914 28,4% (см. [Долбик 1974: 256]; для более позднего времени надежные цифры отсутствуют).

Куропатка, напротив, на протяжении столетий расширила свой ареал. Абсолютно не адаптирующаяся к жизни в лесу, и потому неспособная использовать небольшие прогалины, временно создававшиеся земледельцами эпохи неолита и поздней бронзы [Løppenthin 1967: 245], она в более позднее время оказалась, однако, в состоянии, благодаря своей способности к небольшим перемещениям, продвинуться далеко на север Европы, по мере того как рост человеческого населения и развитие сельского хозяйства в эпоху железа шаг за шагом осваивали новый ландшафт, обращая прежние леса в культивированную степь [Cramp 1980: 487; Долбик 1974: 274—275 (особ.).]. Прогрессировавшее, особенно в течение последних столетий, обезлесение и увеличение размеров полей, вызванное в последнее время механизацией сельского хозяйства, значительно расширили ареал куропатки, хотя и непропорционально численности вида: поскольку для гнездования и укрытия куропатке необходима близость плотного покрова, она избегает больших открытых пространств [Долбик 1974: 276]. Расширение ареала изменило до некоторой степени и поведение куропатки. Ведущая в западных районах (Украина, Белоруссия, Ленинградская область и прилегающие районы) в основном оседлый образ жизни, куропатка, однако, кочует зимой, "приближается к деревням, осваивая кустарник, особенно ивовый, и в целом — запущенный деревенский ландшафт. В центральной и восточной России миграция куропатки начинается, когда глубина снежного покрова достигает 50—60 см и более" [Cramp 1980: 489].

Так обстоит дело теперь. Между тем в эпоху до начала бурного роста сельского хозяйства в Восточной Европе, наметившегося в первые столетия новой эры, ареалы рябчика и куропатки соотносились как масло и вода. Они тесно переплетались, не перекрываясь, там, где зона лесов на юге переходила в лесостепь.

1.3. Смена экологии и экологические изменения

Очевидно, что приведенные факты, характеризующие среду обитания рябчика и куропатки, существенны для решения поставленного выше стержневого вопроса: каким образом одно и то же слово стало в разных позднеобщеславянских диалектах обозначением рябчика и куропатки.

Соответствие между лексикой и экологической средой может быть изменено двумя способами: 1) носители языка могут переместиться из одной экологической зоны в другую; 2) могут измениться определенные характеристики самой экологической

[6] Я не располагаю сведениями о присутствии рябчика на Британских островах. Предположительно он был искоренен в Англии в средние века вследствие общего обезлесения. Английские термины *hazel grouse* и *hazel hen* являются кальками с немецкого, засвидетельствованными лишь с XVII в. (ср. [OED, s.vv.]).

зоны, в пределах которой распространен язык. Имея в виду обе эти возможности, для семантического сдвига позднеобщеслав. *jerębь от значения 'рябчик' к значению 'куропатка' и создания новых слов *lěščarъka 'рябчик' и *kuropъty 'куропатка' можно предложить следующее объяснение.

A. Население, говорившее на общеславянском языке, жило некогда исключительно в пределах лесной зоны Восточной Европы. В его языке имелось традиционное название для рябчика (*jerębь), но не было слова для куропатки.

B.1. Определенная группа этого населения (S), жившая, вероятно, на южной окраине лесной зоны, в процессе колонизации прилегающих районов степи все более ориентировалась в сторону степного ландшафта. Традиционное название рябчика было ею перенесено на куропатку; это был мотивированный метафорический перенос значения, поскольку, с человеческой точки зрения, обе птицы довольно схожи, как по форме и размерам, так и в утилитарном отношении. В степной зоне усвоенное название рябчика *jerębь могло быть перенесено на куропатку без риска нежелательной омонимии, поскольку рябчик в степи не водится.

B.2. Другая группа (N) того же населения, жившая, вероятно, в южной полосе лесной зоны, возможно — в лесистых частях лесостепи, расширила свою территорию, включив в нее участки степного ландшафта. Она сохранила традиционное название рябчика (*jerębь), но, познакомившись с куропаткой, создало для обозначения ее новую лексему: *kuropъty; или, возможно, этим знакомством был вызван метонимический перенос значения общего термина ('куриная птица') и закрепление за ним более специального значения 'куропатка'[7].

C.1. В эпоху территориальной экспансии славян группа S играла главную роль в колонизации Балканского п-ва. Она принесла с собой название куропатки (*jerębь), а встретив в лесах Балкан рябчика, создала для него новое слово: *lěščarъka.

C.2. С момента появления в языке группы N термина *kuropъty 'куропатка' распространение сельского хозяйства на территориях, ранее относившихся к лесной зоне, а также растущая потребность все увеличивающегося человеческого населения в топливе и лесоматериалах, вызвали глубокие экологические изменения, позволившие куропатке распространить свой ареал к северу. По мере освоения земель и продвижения куропатки на север, в том же направлении распространялось и слово *kuropъty, или, во всяком случае, условно отождествляемые с ним образования, использовавшиеся как обозначения куропатки.

Предложенная гипотетическая схема должна быть сразу же дополнена несколькими деталями.

Во-первых, относительно гипотезы C-1 необходимо добавить, что колонизовавшие Балканский п-ов группы славяноязычного населения включали и выходцев из группы N. На это указывает наличие современных продолжений позднеобщеслав. *kuropъty в сербскохорватских источниках (см. раздел 3.1). Кроме того, в словенском представлены вероятные рефлексы позднеобщеслав. *kuropъty: диал. *kurnprat*, стар. *kornbrat*, со значением 'вальдшнеп *Scolopax rusticola*'. Эти данные позволяют предполагать, что в прошлом рефлексы позднеобщеслав. *kuropъty были шире представлены в славянских языках Балкан и что нынешнее полное или почти полное господство рефлексов *jerębь в значении 'куропатка' является во многих случаях результатом локальных процессов лексического обобщения[8].

---

[7] Существует еще и третья логическая возможность, а именно что *kuropъty было традиционным названием другого вида, впоследствии (метафорически) перенесенным на (серую) куропатку. Эта возможность исследуется мною в разделе 3.

[8] В некоторых сербскохорватских диалектах рефлексы позднеобщеслав. *jerębь используются в значении 'рябчик *Bonasa bonasia*', по крайней мере, в сочетании *šumska jarebica* (буквально 'лесной рябчик'), которому может противопоставляться *poljska jarebica* (буквально 'полевой рябчик') '*Perdix perdix*' (ср. [SP, 6: 133]).

Следует заметить также, что лужицкие земли к северу от водораздела Рудных гор в современной Восточной Германии были отчасти колонизованы славянами, мигрировавшими сюда с Венгерской равнины через Чешский бассейн и долину Эльбы, но частично также славянскими поселенцами, пришедшими с востока и северо-востока. Поэтому неясно, были ли занесены нижнелужицкие рефлексы позднеобщеслав. **kuropъty* с юга или же с (северо)-востока (см. карты древних перемещений серболужичан в [Schuster-Šewc 1987: 158, Баран 1991: 78]).

Во-вторых, в то время как в словенском позднеобщеслав. **kuropъty* изменило значение на 'вальдшнеп, *Scolopax rusticola*', в восточнославянском регионе его рефлексы используются в равной степени как названия птиц, обозначаемых в стандартной русской терминологии как белая куропатка (*Lagopus lagopus*) и серая куропатка (*Perdix perdix*). В народном употреблении, однако, данное различие часто не проводится. Для сельского жителя в этом нет необходимости, поскольку ареалы двух птиц пересекаются лишь незначительно: белая куропатка живет на болотах, тогда как серая тяготеет к культурному ландшафту. В русской лексикографии, этимологии и диалектологии не уделяется особого внимания различию между этими двумя видами[9]. Однако, как мы увидим ниже, имеются определенные основания различать их, по крайней мере обсуждая происхождение рефлексов **kuropъty*.

2. ЭТИМОЛОГИЯ И МИФОЛОГИЯ

2.1. Рябчик

Как уже говорилось, имеются как внутренние, так и сравнительные данные, свидетельствующие, что более ранним значением позднеобщеслав. **jerębь* было 'рябчик', а не 'куропатка'.

К числу сравнительных свидетельств относится то обстоятельство, что значение 'рябчик' присуще и соответствующим балтийским и германским лексемам. Этот факт нуждается в определенном осмыслении, поскольку обычно предполагается, что индоевропейские предки славян, балтов и германцев первоначально жили в степи и лишь впоследствии колонизовали лесную зону. Это могло бы означать, что в более отдаленном прошлом **jerębь* было обозначением куропатки. По этой причине я осторожно говорю о "более раннем значении позднеобщеслав. **jerębь*", применительно к периоду, предшествующему тому состоянию, когда слово стало в разных славянских диалектах называть разных птиц.

Внутренним свидетельством того, что более ранним было значение 'рябчик', является семантическая связь между позднеобщеслав. **jerębь* и его первичными дериватами, образующими небольшое гнездо слов, восходящих, по всей вероятности, к глубокой древности. Именно оно будет в первую очередь предметом нашего внимания, хотя в ряде моментов нам придется обращаться и к сравнительной перспективе.

---

[9] Словарь Ожегова (1989) дает единственное определение куропатки ("дикая птица из сем. куриных"). Четырехтомный академический словарь также дает только одно определение ("дикая птица отряда куриных"), иллюстрируя употребление лексемы сочетаниями "Серая куропатка. Белая куропатка", никак не поясняя, что эти сочетания называют разных птиц [СРЯ, s.v. куропатка]. 17-томный академический словарь дает ту же дефиницию, что и словарь Ожегова, приводит два литературных примера, но не указывает, названием какого вида служит лексема [ССРЛЯ, s.v. куропатка]. У Даля, напротив, куропатка определена как "известная дичь, птица из куриного рода *Perdix cinerea*. Куропатка белая *Tetrao lagopus*, белая тетерка" [Даль 1989 (1902), s.v. *куръ*]. В Общеславянском диалектном атласе [Аванесов 1988: 70—71, карта 23] лексемы, соответствующие русск. лит. *куропатка*, отмечены на всей основной территории распространения русского языка, вплоть до Белого моря — то есть далеко за пределами ареала серой куропатки — без уточнений, какую птицу в каком пункте обозначает данный термин, и даже без намека на то, что он может называть разных птиц. Так же поступают и авторы Словаря русских народных говоров [СРНГ, 14: 365, s.v. *коропат*; 16: 140, s.v. *куропатка*].

2.2. Позднеобщеслав. *jerębь 'рябчик'

Этимологи-слависты единодушны в признании сходства между общеславянскими лексемами со значением 'рябчик', 'рябина, *Sorbus aucuparia*' и 'рябой', демонстрируемого, помимо соответствующих русских слов, также, например, слвц. *jarabica* 'куропатка', *jarabina* 'рябина' и *jarabý* 'рябой'. Однако относительно происхождения этого сходства согласие отсутствует, как нет и убедительного объяснения для семантического соотношения трех этимонов. Одновременно на уровне выражения разными исследователями совершено по-разному анализируется позднеобщеслав. *jerębь. Например, Славский реконструирует общеславянские варианты *ěrębь-, *erębь-, *orębь- и *rębь-, образованные при помощи назального инфикса (с неопределенным значением) от протоиндоевропейских вариантов *ěrēb(h)-, *ŏrōb(h)- — гипотетического прилагательного с реконструируемым значением 'темнокрасный, коричневатый, особенно применительно к птицам' [SP, 6: 138; ср. Pokorny 1959: 334]. Трубачев, отмечая, что семантическая гетерогенность "в общем характерна для всего данного семейства слов", возводит их все к позднеобщеслав. прилагательному *(a)-rębь 'рябой' (со свободно опускаемым префиксом неопределенного содержания) [ЭССЯ, 1: 74 и далее].

Три этимона и в самом деле представляют довольно сложную для интерпретации картину, однако, к счастью, не полностью безнадежную, особенно если выйти за пределы поверхностной реконструкции позднеобщеславянского состояния, учтя некоторые архаические формы, допускающие плодотворное сопоставление с балтийским материалом[10].

Семантически эти три этимона могут быть наиболее адекватно истолкованы как основное слово 'рябчик' с двумя его дериватами — 'рябина' (первоначально буквально 'рябчиковая ягода'), см. раздел 2.2.2, и 'рябой' (буквально 'рябчиковый', ср. англ. *pied* от ср.-англ. *pie* 'сорока'), см раздел 2.2.3. Соответствующие современные формы

Таблица 1

Протославянские варианты основ, выступающие в современных названиях 'рябчика', 'рябины' и 'рябого', и их протобалтийские соответствия

	ПРОТОСЛАВЯНСКИЙ	
	I. Простая основа	II. Осложненная основа
A. Полная ступень	ĒRB-	ERIMB-
B. Нулевая ступень	ĪRB-	RIMB-
	ПРОТОБАЛТИЙСКИЙ	
	I. Простая основа	II. Осложненная основа
A. Полная ступень	ĒRB-	ERUMB-
B. Нулевая ступень	ĪRB-	RUMB-

[10] Говоря о доисторическом развитии славянского, я использую следующие термины и понятия: "праславянский" (период, предшествующий формированию всех основных славянских языковых черт), "общеславянский" (период между окончательным оформлением определяющих черт славянского и падением редуцированных), "позднеобщеславянский" (период между качественной дифференциацией долгих и кратких гласных и падением редуцированных). Позднеобщеславянский — стадия, традиционно фиксируемая пособиями по сравнительно-историческому языкознанию и этимологическими словарями. Формы, представляющие различные региональные варианты позднеобщеславянского обозначаются как праукраинские, праславенские и т.д., или просто диалектные (позднеобщеслав. диал., позднеобщеслав. сев. диал. и т.д.). В некоторых случаях я ссылаюсь на "раннеобщеславянский", раннюю стадию с системой гласных, сходной с протославянской.

Реконструируемые формы обозначаются как протославянские и записываются капителью без астериска; хронологическая глубина таких реконструкций в принципе характеризуется неопределенно; (ср. [Andersen 1986; 1996, разделы 9.1—9.2]).

Такие термины, как "прабалтийский" и "протобалтийский", имеют содержание, аналогичное соответствующим терминам для славянского.

базируются на четырех различных протославянских вариантах корня или основы (см. табл. 1), имеющих точные соответствия в балтийских языках.

Вариант I-A выступает в лит. диал. *jérb-ẽ*, *íerb-ė* 'куропатка' (протобалт. ĒRB-); I-B — в лит. диал. *ìrb-ė* 'куропатка', лтш. *irbe* 'рябчик, куропатка' (протобалт. ĪRB-); вариант II-A представлен в лит. *jerumb-ẽ*, лтш. диал. *i(e)rub-e* 'рябчик' (протобалт. ERUMB-), а II-B соответствует лтш. *rub-enis* 'тетерев, *Tetrao tetrix*' (протобалт. RUMB-); это вторичное образование первоначально означало 'рябчиковая птица' (см. [Endzelin 1923: 220]); см. подробнее ниже, раздел 2.3.3.

2.2.1. Названия рябчика

Славянское название рябчика может быть предположительно возведено к протоиндоевропейскому корневому существительному с традиционными ступенями аблаута (см. варианты I-A, I-B в табл. 1); см. ниже разделы 2.4, 2.5.1. Различные индоевропейские диалекты избрали тот или иной вариант для образования *i*-основы мужского рода [см. SP, 6: 138] со значением 'самец рябчика'; для обозначения самки рябчика использовалась, как можно предполагать, женская *ī*-основа (индоевропейское $-ih_2$-). Современные славянские диалекты практически все содержат свидетельства существования противопоставленных сложных основ на *-i-* и *-ī-* (ср. табл. 1, II-A, II-B); см. раздел 2.3.3. От существительных с этими основами были в позднеобщеславянском образованы деминутивы соответственно на **-ьć'ь* и **ića* (в протославянском — суффиксы *-KA-* и *-KA-*, впоследствии подвергшиеся третьей палатализации заднеязычных), а от деминутива мужского рода, по диалектам, еще и вторичный деминутив на **-ьčikъ* (или с его позднейшим рефлексом). Позднеобщеслав. деминутивы на **-ьć'ь* и **-ića* были впоследствии обновлены с использованием более продуктивных позднеобщеслав. суффиксов **-ъkъ* resp. **-ъka* или их рефлексов (ср. [Аванесов 1968]). Также по диалектам встречаются образования с рефлексами позднепраслав. **-itjь* (регулярного в отчествах) и **-uša*, соответственно мужского и женского рода. См. ниже табл. 2.

В приводимых ниже примерах [1] соответствует значению 'рябчик', [2] — значению 'куропатка'.

Вариант основы I-B представлен в болг. диал. *érbica* [2][11].

Вариант II-B отчетливо просматривается в таких примерах, как словен диал. *rẽb* [2], *rebíca* [2] русск. стар. *рябь* [1], диал. *ря́бец* [1], *ряб6́к* [1], русск. *ря́бчик* [1], русск. *ря́бушка* [1].

Остальные формы отражают вариант основы II-A. Он выступает с рефлексами древнейшего (домиграционного периода) диалектного общеславянского перехода начального **e-* > **a-* (традиционно понимаемого как переход **je-* в **o-*), откуда позднеобщеслав. диал. **orębь*, **orębića*, **orębьć'ь*, **orębъkъ*, **orębъka*, как в сербохорв. чак, *ŏrēb*, диал. *orèbica* [1, 2]; укр. *орябець* [1], карпатск. диал. *óрябка* [2], блр. диал. *óраб*, *арабо́к*, *óрабка* [1], рус. стар. *орябь* [2], диал. *оря́бка* [1] (ср. [Andersen 1996, разделы 7.20—7.21]). В остальном материале данный вариант основы либо выступает с регулярным общеславянским протетическим *j-* перед **e-* (позднеобщеслав. диал.

---

[11] Возможно, что этот явно изолированный рефлекс варианта основы I-B, болг. *ербица*, есть результат фонетического изменения раннего **érebica*, с рефлексом варианта основы II-A. Однако данными, которые бы подтверждали это, я не располагаю. О других образованиях на базе варианта основы I-B см. раздел 2.1.2.

Материал, приводимый в этом и двух последующих разделах, представлен в таблицах 2 и 3. В таблицах формы, взятые из [SP], никак не помечены; словенские, сербскохорватские, украинские и русские формы с индексом *a* взяты соответственно из работ [Bezlaj 1976; Skok 1971—1974; Мельничук 1982; Черных 1993]. Несколько форм, добавленных из работы [Popowska-Taborska 1984], помечены индексом *b*.

Таблица 2

Славянские названия ‘рябчика’ и ‘куропатки’ (источники см. в сноске 11)

Простая основа

		I-B. ĪRB-	
	общеслав.	общеслав.	
	īrbi-	*īrbī-*	
		1. позднеобщеслав. **jьrbića*	
		болг. диал. *éрбіца*[b]	

Осложненная основа

II-A. ERIMB-		II.B. RIMB-	
		общеслав.	
erimbi-	*erimbī-*	*rimbi-*	*rimbī-*
		позднеобщеслав.	
2. **jerębь*	3. **jerębića*	4. **rębь*	5. **rębića*
польск. стар.	чеш. диал.	словен. диал.	словен. диал.
jarząb	*jařabice*	*rêb*[a]	*rebíca*[b],
н.-луж.	слвц.	русск.стар.	*rebi͡ca*[a]
jerjab, jerjeb,	*jarabica*	*рябь*[a]	сербохорв. диал.
диал. *heŕeb*	словен.		*rebica*[b]
в.-луж.	*jerebíca,*		
jerjab,	диал.		
стар. *jerob*	*jarebĩca*		
чеш. стар.	сербохорв. чак.		
jeřáb (также	*orebïca,*		
‘журавль *Grus*	диал. *orèbica,*		
cinerea’)	*jerèbica*		
слвц. диал.	*jarèbica*		
jarab ‘журавль’	макед. *еребица,*		
словен. *jerêb,*	диал. *яребица*		
диал. *jarêb*	болг. *éребица,*		
сербохорв. чак.	диал *éрéмбица,*		
õrēb, jèreb,	*я́ребица, ярембица*		
диал. *jãrēb, jàreb,*	русск. *ерябица*[b]		
стар. *jarębь*			
блр. диал. *óраб*			
русск. стар.			
орябь, ерябь,			
русск. ц-сл. **ꙗрѧбь**			
6. **jerębьćь*		7. **rębьćь*	
н.-луж. *heŕabc*[b]		сербохорв. диал.	
сербохорв. диал.		*rēbäc*[a]	
jarébac		укр. *рябéць*[b]	
укр. диал.		русск. *ря́бець*[b]	
óрябець[b]			
ярубец			
8. **jerębъkъ*	9. **jerębъka*	10. **rębъkъ*	
кашуб.	польск. диал.	русск. *рябóк*[b]	
jarzębk ‘тетерев’	*jarąbka* ‘рябая		
польск. диал.	курица’		
jerząbek	в.-луж. *wjerjabka*		
jarząbek	слвц. *jarabka*		
н.-луж. *jerjebk,*	укр. *óрябка*		
heŕebk	блр. диал.		
чеш. *jeřábek*	*óрабка*[b]		
слвц. диал.	русск. диал.		
jariabok	*оря́бка*[a]		

позднеобщеслав.

укр. диал. *óрябок*		
блр. *арабóк*[b]		
11. **jerębitjь*	12. **rębьčikъ*	13. **rębuša*
слвц. диал. *jerebic*[b]	русск. *рябчик*	сербохорв. *rebuša*[a]
jarabic[b]	блр. *рабчык*	русск. *рябушка*[a]
	укр. *рябчик*	

**jerębь*, **jerębića*, **jerębьćь*, **jerębъkъ*, **jerębitjь*, откуда н.-луж. *jerjah*, в.-луж. *jerjeb*, словен. *jerêb* [1], [2], *jerebíca* [2], сербохорв. *jerèbica* [2], болг. *ерéбица* [2], *ерéмбица* [2], макед. *ерéбица* [2] (с вторичной утратой *j-*), польск. диал. *jerząbek* [1], чеш. *jeřábek* [1], слвц. диал. *jerebic* [2], русск. стар. *ерябь* [2?], диал. *ерябица*), либо с той же протезой и нерегулярным рефлексом гласного, вызванного диалектным позднеобщеслав. изменением **je-* > **ja-* (позднеобщеслав. **jarębь*, **jarębića*, **jarębьćь*, **jarębъkъ*, **jarębъka*, **jarębitjь*, откуда польск. стар. *jarząb* [1], слвц. *jarabica* [2], *jariabok* [1], *jarabka* [1], диал. *jarabic*, словен. диал. *jarebíca* [1], сербохорв. диал. *jârēb* [2], диал. *jarèbica* [2], макед. диал. *јаребица* [2], болг. *я́ребица* [2][12].

2.2.2. Названия 'рябины'

Славянские названия 'рябины, *Sorbus aucuparia*', за немногими исключениями, образованы при помощи одного из стандартных деривационных суффиксов, выступающих в названиях ягод, позднеобщеслав. **-ina* или **-ika* (протослав. ĒIN-Ā-, ĒIK-Ā-).

Вариант основы I-A без обычного суффикса выступает в укр. диал. *píba* [ср. [Мельничук 1982, s.v. *горобúна*] (< позднеобщеслав. **rěba* < общеслав. **ērh-ā-* < протослав. ĒRB-Ā-); мы вернемся к этому вопросу в разделе 2.3.2.

Вариант основы I-B выступает в кашуб. сев. диал. *jerzba* (протослав. ĪRB-Ā-) и, с 'ягодным суффиксом', в кашуб. *jerzbina* (< пракашуб. **jirbina* > протослав. ĪRB-ĒINĀ) (ср. [Wajda-Adamczykowa 1989: 32—34]), в.-луж. диал. *jerbina*, словен. диал. *rhika* (теперь в значении 'ежевика') (< праславян. *ŕhika* < протослав. ĪRB-ĒIKĀ-); со вторичным *ja-* в кашуб. *jarzbina*.

---

[12] В позднепраславянский период имели место нерегулярные локальные изменения *je-* > *ja-*, затронувшие лексемы с начальным протослав. Ē-, с чем связано спорадическое совпадение современных рефлексов начальных протослав. Ē-, Ĕ- и Ā-; во многих местах формы с начальным *ja-* выступают параллельно с формами с начальным *je-*; ср. [Shevelov 1965: 177]. Вот некоторые примеры, укр. *ялúна* 'пихта' (позднеобщеслав. **jedlь*), польск. диал., чеш. диал., слвц. *jalec*, сербохорв. диал. *jálac*, укр. *яле́ц* 'елец *Leuciscus l.*' (позднеобщеслав. **jelьcь*), польск. стар., диал. *jaden* 'один' (позднеобщеслав. **jedinъ*), польск. диал. слвц. диал., сербохорв. *jalito*, укр. *ялитúй* 'кишка' (позднеобщеслав. **jelito*), польск. диал. *jamioła*, чеш. диал. *jamela*, слвц. диал. *jamelo*, *jamola* 'омела *Viscum album*' (позднеобщеслав. **jemelo*), польск. диал. *jasień*, слвц. зап. диал. *jaseň*, болг. диал. *ясен* 'осень' (позднеобщеслав. **jesenь*), польск. стар. *jasiotr*, укр. диал. *ясéтр* 'осетр *Acipenser sturio*' (позднеобщеслав. **jesetrъ*), слвц. *jazero*, укр. ю.-зап. диал. *язер* 'озеро' (позднеобщеслав. **jezero*). Все эти лексемы широко представлены и с рефлексами начального позднеобщеслав. **je-*. В прежних исследованиях варианты с *ja-* рассматривались как рефлексы протослав. Ē- или Ā-. Однако учитывая неустойчивость начального *ja-* в славянском, являющуюся следствием этих позднейших региональных изменений, не имеет смысла реконструировать разнообразные протославянские варианты таких лексем, особенно когда оба варианта, с *je-* и с *ja-*, характеризуются одними и теми же акцентными свойствами, что относится ко всем этим лексемам и к рефлексам протослав. ERIMB-. Иначе обстоит дело с несколькими лексемами, у которых различие в начальных гласных коррелирует с разницей в просодии; ср. сербохорв. *jâsēn*, русск. *я́сень* (позднеобщеслав. **jasenъ*, протослав. ĀSENA-, ср. лит. *úosis*) // польск. *jesion*, словен. *jesén* (позднеобщеслав. **jesenъ*, протослав. ESENA-), представляющие и.-е. **h_1eh_3-s-en-*, **h_1h_3-es-en*; ср. [Schrijver 1991: 77—78; Andersen 1996, раздел 5.1.3]. См. также сноску 25.

Вариант основы II-A с рефлексом праславянского перехода *e- > *a- позднеобщеслав. диал. *orębina, *orębika < протослав. ERIMB-ĒINĀ, -ĒIKĀ-) представлен в польск. диал. *orzębina*, блр. *арабіна*, укр. диал. *орябина*, литерат. *горобúна* (с протетическим *г-*, по ассимиляции с *горобéць* 'воробей') и, возможно, словен. диал. *obrika* (если данное слово, как предполагает Безлай [Bezlaj] 1976: 227], восходит к контаминированному **orbika*, из **orebika* x *rbika*). В остальных случаях выступает вариант основы II-A с регулярным протетическим *j-* (позднеобщеслав. диал. **jerębina*, **jerębika*), например, польск. диал. *jerzębina*, н.-луж. *jerjebina*, в.-луж. диал. *jerjabina*, слвц. *jerabina*, словен. *jerebíka*, диал. *jerebina*, блр. *ярабíна*; в некоторых языках и диалектах с нерегулярным рефлексом общеслав. **e-* в виде *ja-* (позднеобщеслав. диал. **jarębina*), например, польск. *jarzębina*, н.-луж. диал. *jarjebina*, чещ. диал. *jařabina*, слвц. *jarabina* (также сербохорв. *jarèbina*, усвоенное из польского как ботанический термин).

Вариант II-B обнаруживается в словен. диал. *rebika*, сербохорв. *rebika*, рус. диал. *рябúка*, *рябúна*, блр. *рабíна*, укр. диал. *рабúна* (< позднеобщеслав. **rębina*, протослав. RIMB-ĒIN-Á, -ĒIK-Á). См. табл. 3.

Таблица 3

Варианты основы славянских названий 'рябины *Sorbus aucuparia*' и 'рябого' (источники см. в сноске 10)

'РЯБИНА'

общеслав.

**ērb-*	**ĭrb-*	**erimb-*	**rimb-*

позднеобщеслав.

**rěba*	**jьrbina*	**erębina*	**rębika*
укр. диал. *рíба*	кашуб. *jerzbina*[b] *jarzbina* в.-луж. диал. *jerbina*[b] словен. диал. *rbika*	польск. диал. *orzębina* *jerzębina*, *jarzębina* н.-луж. *jerjebina*, *jarjebina* в.-луж. диал. *jerjabina*, *herjebina* чещ. *jeřabina*, диал. *jařabina* слвц. *jarabina* словен. *jerebíka*, диал. *jerebina* укр. *горобúна*, диал. *орябина*, *яребúна* блр. *арабíна* *ярабíна*	словен. диал. *rebika* сербохорв. *rebika* укр. *рябúна* блр. *рабíна* русск. *рябúна* диал. *рябúка*

'РЯБОЙ'

общеслав.

	**erimba-*	**rimba-*

позднеобщеслав.

	**erębъ*	**rębъ*
	чеш. диал. *jařabý* слвц. *jarabý*	укр. *рябúй* блр. *рабы́* русск. *рябóй*

Для славянских языков обычно, что названия ягод являются одновременно и названиями соответствующих растений, например, рус. *малина* (ягода и кустарник); при необходимости специальные значения выражаются на уровне фразы, например, русск. *ягоды малины* или *малиновые ягоды, куст малины*. Это в целом справедливо и относительно ягод и дерева рябины, однако в некоторых случаях (особенно в западнославянских диалектах) в качестве специального обозначения дерева закрепилось обратное образование от названия ягоды, например, польск. *jarząb*, н.-луж. *jerjebk*, чеш. *jeřáb*, слвц. *jerab*, укр. диал. *ǿраб* 'дерево рябины'; (ср. [Machek 1954: 114–115; Wajda-Adamczykova 1989: 32–34]). Эти вторичные образования, нами не рассматриваемые, необходимо отличать от приведенных выше лексем со значением 'рябчик', как и от дериватов прилагательного 'рябой', приводимых в следующем разделе.

2.2.3. Названия 'рябого'

Славянское название 'рябого' представляет собой (говоря в индоевропейских терминах) прилагательное с основой на **o-/ā-*, засвидетельствованное с вариантом основы II-A (позднеобщеслав. диал. **jarębъ*) в чеш. диал. *jařabý*, слвц. *jarabý* (где выступает протетический *j-* с нерегулярным рефлексом начального общеслав. **e-*, уже отмечавшимся в двух предыдущих разделах), и с вариантом II-B (позднеобщеслав. **rębъ*) в русск. *рябо́й*, блр. *рабы́*, укр. рябий[13]. В категориях позднеобщеславянского представленный здесь способ словообразования может быть определен как конверсия (т.е. изменение класса основы без помощи аффикса); в качестве параллели может служить, например, **golębъ* 'голубой' от **golębь* 'голубь' (ср. ниже раздел 2.5.3). В некоторых западно- и южнославянских языках прилагательное 'рябой' выступает в обновленной форме, в виде построенных на той же основе дериватов с такими продуктивными позднеобщеславянскими суффиксами, как **-at-* (польск. *jarzębaty*, диал. *jarząbaty*, *jarzębiaty*, кашуб. *jarząbaty*, *jarząb'ati*, н.-луж. *jerjebaty*, диал. *heŕebaty*, в.-луж. стар. *jarabaty*, диал. *jarjebaty*, чеш. *jeřabatý*, диал. *jařabaty*, слвц. *jarabatý*, болг. *яребат*), **-ast-* (польск. диал. *jarzębiasty*) или **-it-* (чеш. диал. *jařambitý*).

Позднеобщеслав. прилагательное **jerębъ*, **rębъ* 'рябой, пестрый' послужило основой для вторичных производных, например, укр. *рябо́к* 'пятно, веснушка", *рябе́ць* 'коршун, гончая', также '(пестрая) форель'. Отметим также русск. *рябь* – синхронно такой же конверсив от *ряб-ой*, как *глубь* от *глуб-ок-ий*, *тишь* от *тих-ий* и т.д.

2.2.4. Обобщение

Предложенный обзор материала показывает, что в то время как лексемы со значениями 'куропатка, рябчик', с одной стороны, и 'рябина' – с другой, засвидетельствованы как с простым, так и с осложненным вариантами основы (I и II), лексемы со значением 'рябой, пестрый' засвидетельствованы исключительно с осложненным вариантом (II), ср. табл. 4. В этом различии естественно видеть проявление того, что термины, называющие 'рябчика' и 'рябину', этимологически старше обозначения 'рябого'. О том же свидетельствуют и сравнительные данные, а именно, что 1) славянский разделяет название 'рябчика' с (восточно)балтийским и германским, 2) значение 'рябина' связывается с данным корнем в славянском и части восточнобалтийского, в то время как 3) значение 'рябой' засвидетельствовано для него только

[13] Значения 'рябой' и 'веснушчатый', а также 'пятнистый' обычны для современных употреблений данного прилагательного. Поскольку крапинки могут быть разных оттенков одного тона или разных тонов, современные рефлексы позднеобщеслав. **jerębъ*, **rębъ* в некоторых языка и диалектах могут означать также 'пестрый, разноцветный', значение, традиционно выражаемое рефлексами позднеобщеслав. **pьstrъ*. Для простоты я ограничиваю пояснение позднеобщеслав. **jerębъ*, **rębъ* предположительно основным и первоначальным значением 'рябой'.

Таблица 4

Распределение четырех протославянских вариантов основы (табл. 1) в современных рефлексах трех славянских лексем

	I-A	I-B	II-A	II-B
'рябчик, куропатка'		+	+	+
'рябина'	+	+	+	+
'рябой'			+	+

в славянском (ср. раздел 2.2.4, 2.5.3). Все эти факты указывают на то, что именно название птицы возглавляет все рассматриваемое семейство слов, и являются сильным аргументом против попыток этимологизировать три лексемы на основе адъективного значения, будь то 'рябой, пестрый' или 'темнокрасный, коричневый'.

2.3. 'Рябчик' и 'рябина': семантическая мотивировка

Заключение, что основным в рассматриваемой семье слов является название птицы – 'рябчика' или 'куропатки', тогда как название 'рябины' и прилагательное 'рябой, пестрый' производны от него, закономерно следует из проведенного в предыдущих разделах словообразовательно-морфологического анализа. Это внутреннее структурное свидетельство до сих пор не было должным образом учтено и никак не повлияло на согласное мнение этимологов, принимающих за основное адъективное значение 'рябой, пестрый' или 'темнокрасный, коричневый'.

Без морфологического анализа спорить с этой общераспространенной гипотезой было бы трудно. Единственное, на что можно было бы указать, это то, что оперение четырех из пяти видов птиц умеренной лесной зоны имеет нерегулярную расцветку: пятнистую, крапчатую, рябую, полосатую, в точках, извилинах и т.д., с разнообразием оттенков от коричневого, бронзового и светложелтого до темножелтого, каштанового, красно-коричневого, рыжего, цвета ржавчины и буйволовой кожи и т.д., что делает предполагаемое определение рябчика или куропатки как 'рябой' птицы обладающим довольно сомнительной описательной силой.

Однако в виду большего этимологического возраста названия птицы, доказываемого внутренними свидетельствами, обобщенными в табл. 4, и сравнительных данных, приведенных в конце раздела 2.2.4, кажется достаточно правдоподобным, что прилагательное со значением 'рябой' было образовано от названия рябой птицы. Отмеченное выше англ. *pied* 'пестрый' из ср.-англ. *pie* (франц. *pie*) 'сорока' – лишь один из множества примеров из разных языков, свидетельствующих, что для прилагательных, обозначающих качества, воспринимаемые органами чувств и в особенности зрительно, вполне обычным является происхождение от названий объектов, обладающих этими качествами (ср. также русск. *голубь – голубой, корица – коричневый, роза – розовый, ворон – вороной, каштан – каштановый, малина – малиновый*, или такие англ. прилагательные, обозначающие цвета, как *buff* 'цвета буйволовой кожи', *burgundy* 'бордовый, цвета красного вина', *cream* 'кремовый', *ox-blood* 'цвета бычьей крови', *peach* 'персиковый', *rust* 'цвета ржавчины', *salmon* 'цвета семги, оранжево-розовый', *violet* 'фиалковый (фиолетовый)'.

Относительно рябины, *Sorbus aucuparia* Славский сочувственно ссылается на предполагаемый Мошиньским семантический переход от 'темнокрасного, коричневого, особенно применительно к птицам и деревьям', к названию 'дерева рябины': "Наиболее правдоподобное...объяснение...связывает его с видом рябиновых деревьев в пору созревания их ярко красных ягод (особенно осенью, когда огненные ягоды горят и мерцают на фоне редеющей и коричневеющей листвы)" [SP, 6:135]. Несомненная риторическая весомость этого объяснения ослабевает, однако, ввиду отсутствия свидетельств первичности прилагательного (ср. раздел 2.2.4), не говоря уже о свидетельствах существования в индоевропейских диалектах – предках

германского, балтийского и славянского – прилагательного со столь специфическим значением.

Выявив словообразовательно-морфологические отношения, указывающие на производность названия 'рябины' от названия 'рябчика' и 'куропатки', мы должны теперь объяснить семантическую мотивировку этой связи. Для этого необходимо ответить на два вопроса: 1) что сделало рябчика (или куропатку) подходящей мотивировкой для создания нового названия рябины (раздел 2.3.1) и 2) почему в языке возникла необходимость создания для обозначения рябины нового слова (раздел 2.3.2).

2.3.1. Почему рябчик?

Замечательно, что во всех славянских языках название 'рябины' произведено от позднеобщеслав. **jerębь*, независимо от того, названием какой птицы служат рефлексы этого слова. Это может означать лишь одно: название рябины появилось до того, как у **jerębь* развились два отдельных значения 'рябчик' и 'куропатка'.

Рябина является важным компонентом смешанных широколиственно-хвойных или полностью широколиственных лесов, составляющих среду обитания рябчика[14]. Как правило, наряду с другими малыми породами деревьев – жостером, орешником, ивой, можжевельником – она образует подлесок под елью, дубом и ольхой [Долбик 1974: 115, 122 и сл.]. Известно, что осенью ягоды рябины являются одним из кормов рябчика [Cramp 1980; 387]. В новое время, когда столь значительная часть лесной зоны обращена в культивированную степь – а рябина широко распространилась как декоративное дерево – самых разных птиц открытого ландшафта можно увидеть кормящимися в ее кроне осенью в пору созревания ягод[15]. Однако в доисторическую эпоху, когда была создана эта славянская лексема, экология лесной зоны оставалась еще в основном нетронутой, так что естественная практическая ассоциация между рябчиком и рябиной вполне могла быть достаточно сильна и хорошо ощутима, чтобы мотивировать создание нового названия.

Характерно, что между рябиной и куропаткой подобной ассоциации не прослеживается. Осенью рацион куропатки включает три категории кормов: зеленые листья травы (*Graminae*); 2) злаки и клевер (напр., *Trifolium*); 3) семена хлебных злаков и сорняков, особенно горца (*Polygonum*) с преобладанием семян сорняков [Cramp 1980: 490]. Куропатка ищет корм исключительно на земле и не интересуется ягодами. Это – важное "энциклопедическое" свидетельство того, что первоначальным значением позднеобщеслав. **jerębь* не могло быть 'куропатка'. Куропатка никогда бы не могла составить мотивацию для создания названия рябины.

И все же не один лишь факт, что рябчик питается ягодами рябины, определил значение этой ассоциации. Рябина – лишь одно из целого ряда растений, используемых рябчиком осенью[16]. Конечно, рябчик – одна из наиболее крупных птиц, кормящихся в

---

[14] "Рябина относится к роду *Sorbus*, семейству *Rosaceae*, отряду *Rosales*. (Американская рябина имеет название *Sorbus americana*.) Лиственное дерево, цветет плоскими гроздьями белых цветов, сменяющихся оранжевыми или огненно красными плодами, из-за которых дерево широко культивируется как декоративное. Вяжущие мясистые ягоды широко используются в народной медицине" [NCE, s.v. *mountain ash*].

[15] В русском языке одна из таких птиц открытого ландшафта, *Turdus pilaris*, из-за устойчивой ассоциации с рябиной носит в настоящее время название *рябинник*. Первоначально – птица средних и высоких широт, предпочитающая открытую местность и поросшие травой края болот, – рябинник начиная со второй половины XVIII в., широко распространился к югу повсюду в Европе, занимая огромные территории, открываемые сельским хозяйством [Cramp 1988: 979–980], ср. также [Радзявичюте 1987].

[16] Другими являются "черника *Vaccinium myrtillus*, брусника *V. vitis-idaea*, клюква *V. oxycoccos*, водяника черная *Empetrum nigrum*, красная смородина *Ribes rubrum*, ландыш майский *Convallaria majalis*, соломонова печать *Polygonatum*, омела *Viscum album*, белладонна, красавка *Atropa belladonna*, *Fragaria vesca*, рябина мучнистая *Sorbus aria*, морошка *Rubus chamaemorus*, костяника каменистая *R. saxatilis*, *R. idaeus*, куманика, ежевика несская *R. fruticosus*, боярышник *Crataegus monogyna*, терновник *Prunus spinosa*, вишня обыкновенная *P. cerasus*, дикая вишня *P. avium*, дикая груша *Pyrus communis*, дикая яблоня *Malus sylvestris*,

кроне рябины, причем часто кормятся вместе целые стайки рябчиков, что, естественно, привлекает внимание наблюдателя как к птицам, так и к ягодам[17]. Не менее важно, однако, что яркокрасные ягоды рябины выделяются не только зрительно. Для тех, кто знает в них толк, они отличное лакомство, особенно, когда первые морозы проявят их сладость[18]. Можно думать, что и в древние времена, как и теперь, рябину собирали и сушили осенью, развешивая кисти под балками крыши или на сеновале и сохраняя их, пока это было возможно. Рябина является, таким образом, важным питательным продуктом, равно привлекательным для рябчика и человека.

Но и это не все. Далеко не случайно, что этот вид семейства *Sorbus* носит определение *aucuparia* 'птицелов'. С незапамятных времен человек мог наблюдать и использовать тот факт, что сама Природа раскладывает приманку в ветвях рябины в пору наибольшей полноты всевозможного птичьего населения, так что кажется: все, что остается птицелову – это расставить в них свои силки и ждать. Поскольку рябчик – одна из наиболее крупных птиц, питающихся рябиной, кажется вполне вероятным, что столь стоящая добыча могла послужить мотивацией для создания альтернативного названия привлекающих ее ягод.

Впрочем, отсутствие прямых подтверждений того, что древние славяне действительно добывали рябчика таким образом, заставляет с большой осторожностью проецировать в отдаленное прошлое такого рода практические соображения – они в конечном счете в основном, если не полностью, вытекают из культурно обусловленного представления о здравом смысле, которое у наших предков могло и отличаться от нашего. Не исключено, что ягоды рябины получили названия 'рябчиковых' не потому, что рябчик питается ими, и не из-за своей роли как приманки для рябчика: могли существовать и другие отношения, способные мотивировать данное производное. Возможно, рябина могла рассматриваться как прерогатива или как законная добыча рябчика. Замечательно, что в разных местах белорусского Полесья как ягоды, так и дерево рябины (одинаково обозначаемое рефлексами позднеобщеслав. диал. **orębina*, **rębina*, см. раздел 2.2.2) были эксплицитно защищены рядом табу; ср. (1).

(1) "Нельзя рубить деревьев рябины, поскольку птицы осенью кормятся в их ветвях" [Lettenbauer 1981: 114]. "Рябина мстит: если кто-то сломает ее, или обрубит ветки, то сам он или кто-то из его близких скоро умрет" [Там же: 113]. "Никогда нельзя рубить рябиновых деревьев, поскольку это большой грех. Всякий, кто срубит рябину, умрет преждевременной и внезапной смертью" [Там же: 114]; (ср. [Moszyński 1967: 524]).

2.3.2. "Небесная" рябина

Этимологизация лексического неологизма часто не идет дальше предложения для него правдоподобной семантической мотивировки; вопрос, что определило потребность в инновации, остается при этом без ответа, а иногда даже и не ставится. В случае с рябиной этимологи до сих пор поступали именно таким образом, как если бы это название было первоначальным, созданным в ходе первичного называния объектов природной среды.

Однако словообразовательная структура позднеобщеслав. **jerębina* (**rębina*) говорит об ином. Данная лексема, наоборот, выделяется из ряда названий основных компонентов смешанного широколиственного леса – например, позднеобщеслав. **edlь*

жостер *Rhamnus catharticus*, бирючина *Ligustrum vulgare*, калина *Viburnum*, бузина *Sambucus*, орехи и семена пинии *Pinus cembra*, сосны обыкновенной *P. sylvestris*, пихты *Picea abies*, лиственницы *Larix decidua*, липы *Tilia*, клена *Acer*, граба *Carpinus betulus*, бука *Fagus sylvatica* и дуба *Quercus robur*" [Cramp 1980: 287]. Конечно, не все эти корма доступны в каждой местности.

[17] "На ближнюю рябину слетелся выводок рябчиков. Птицы бойко клевали, крошили спелые ягоды" (Арамилев. В лесах Урала; цит. по [СРЯ, s.v. *рябчик*].

[18] Обусловленную содержанием сорбитола, $C_6H_8(HO)_6$, спирта, ныне широко используемого как синтетический заменитель сахара (ср. [AHD, s.v.]).

'ель', **sosna* 'сосна', **elьxa* 'ольха', **berza* 'береза', **os(in)a* 'осина', **lěska* 'орешник', **iva* 'ива', **dǫbъ* 'дуб', **grabъ* 'граб', **jasenъ* 'ясень', **lipa* 'липа', **klenъ* 'клен' и т.д.[19] – как единственное название дерева, имеющее прозрачную структуру и мотивировку, образованное по продуктивной деривационной модели. Более того, вариантные формы этой лексемы при ближайшем рассмотрении оказываются имеющими различный этимологический возраст, что отражает ее поступательное развитие во времени.

Укр. диал. *píба* (протослав. ĒRB-Ā), кашуб. N-диал. *jerzba* (протослав. ĪRB-Ā), ныне существительные женского рода, восходят, по-видимому, к древним собирательным среднего рода. Кашуб. *jerzbina*, в.-луж. *jerbina* и словен. диал. *rbika* (протослав. ĪRB-ĒINĀ-, -ĒIKĀ), основанные на нулевой степени корня, содержат регулярный для славянских названий ягод суффикс и потому этимологически бесспорно моложе. Еще более новыми являются образования на базе варианта основы, названного выше осложненными (см. раздел 2.2.1), позднеобщеслав. **jerębina* и **rębina* (протослав. ERIMB-ĒINĀ, RIMB-ĒINĀ, -ĒIKĀ). В своей совокупности эти варианты представляют картину лексического обновления, происходившего в разное время в разных протославянских и праславянских диалектах, и лишний раз заставляют задуматься о древнейшем названии рябины и причинах, по которым оно было заменено на новое.

Для истории данного слова весьма существенно, что в древние времена рябина была для человека не просто одним из деревьев леса. Хорошо известно, что среди древних индоевропейцев рябина некогда почиталась как святое дерево; так, вероятно, обстояло дело и у славян[20]. Это заставляет учитывать, помимо охарактеризованных в разделе 2.3.1 естественных связей между рябчиком и рябиной, также возможную культурную обусловленность создания нового названия для рябины с использованием в качестве мотивировки названия рябчика.

Подходя к этой теме, следует учесть, что славянские поверья, связанные с рябиной, дошли до наших дней лишь в виде скудных фрагментов. Славяне в этом отношении отличаются от других индоевропейских народов. Достаточно вспомнить ирландскую легенду "Преследования Диармайда и Грайне", где о рябине , "живительном дереве", сказано, что ее алые плоды обладают "многочисленными достоинствами и никакая болезнь или недуг не пристанут к тому, кто съест три ягоды, ... и будь попробовавший их даже ста лет от роду, он возвратится в тридцатилетний возраст". Дерево выросло из единственной ягоды, оброненной одним из Tuatha Dé Dannan, которые, узнав, что они нечаянно приобщили смертных к небесной и бессмертной пище, послали огромного циклопа Шарвона (Searban Lochlannach) стеречь дерево, чтобы никто из людей не мог вкусить его плодов" [Sheaghdha 1967: 53–55, 65–71; Squire 1979: 218–219]. В сжатой форме здесь объяснено происхождение рябины, ценность ее для богов и причина запрета на употребление ее плодов. Имя Шарвона Угрюмого и его наводящий ужас взгляд могут быть интерпретированы как мифологическое объяснение вяжущего вкуса спелых ягод, еще не тронутых морозом, который истолковывается как средство защитить их от людей. Никаких сопоставимо связных и эксплицитных свидетельств в славянском фольклоре не обнаруживается. Однако, как мы увидим, записанные славянские поверья, связанные с рябиной, обнаруживают черты сходства с распространенными среди соседних балтийских и германских народов, достаточно значительные, чтобы заключить, что дошедшие до наших дней разрозненные фрагменты некогда составляли части связной системы.

Начнем со статьи "Рябиновая ночь" белорусской этнографической энциклопедии; см. (2)

---

[19] См., например, список общеславянских названий деревьев в [Šmilauer 1970: 18].

[20] «В фольклоре Старого света это дерево было одним из наиболее почитаемых. Оно охраняло от злых влияний и считалось "помощником Тора"; считалось, что кусочки древесины рябины способны отвратить практически любое несчастье» [NCE, s.v. *mountain ash*.].

(2) "Рабіновая ноч, навальнічная ноч, якая абавязкова чакаецца ў канцы лета (ў спасаўку, паміж Ільеў ці Барысам і велікай прачыстай або поміж вяликай и малай прачыстымі). Называлася так-сама арабинавая ноч, вераб'іная ноч. На працягу ўсей Р.н. неба сатрасаюць грымоты, бліскаюць маланкі, лье праліўны дождж, дзьме страшэнны вецер, узнікаюць віхоры. Згодна з нар. павер'ямі [a] ў гэтую ноч з пекла на свет выходзілі ўсе злыя сілы, якія нібыта спраулялі сваё галоўнае свята. Паводле адных меркаванняў, у Р.н. [b] розная нечысць страшыла хрышчоных людзей, паводля другіх – наадварот, [c] ўсе стыхіі прыроды ядналіся, каб знішчыць нячыстую сілу, што распладзілася пасля купалля [23 июня] за лета і бясконца шкодзіла людзям. [d] Кожны забіты ці пакалечаны ў гэтую ноч перуном лічыўся нядобрым чараўніком. Каб маланка не спалила хату ці іншыя збудаванні, у Р.н. [e] вывешвалі непамыты велікодны абрус, [f] у некаторых мясцінах пад страху прывязвлі чырвоныя ніткі. [g]. На Палессі верылі, што ад моцнай буры ў гэтую ноч рабчыкі разляталіся па ўсім лесе і да самага такавання жылі па аднаму. [h] Лічылася, што навальніца ў Р.н. нібыта патрэбна для паспявання ягад на рабіне, калі ж ягады не спелі – чакалі благога заканчэння лета і халоднай восені" [Василевич 1989 (вставки в квадратных скобках мои – *Х.А.*)].

Два последних положения, (2g) и (2h), представляются данью современной натуралистической интерпретации понятия 'рябиновая ночь' и едва ли существенны для характеристики народных верований[21]. Однако предыдущие фрагменты интересны, как отражение понимания грозы, случающейся в разгар вызревания плодов, как столкновения враждебных подземных (2a, 2b) и небесных (2c) сил, в котором человек, подверженный страшной опасности с обеих сторон, ищет защиты от беспорядочных стрел Перуна при помощи освященного полотна, сохраненного нетронутым с весеннего праздника плодородия (2e) или крашеных нитяных символов молнии (2f).

В приведенном описании отсутствуют прямые указания на то, каким образом можно защититься от сил подземного мира, но представление об этом имплицитно присутствует в самом термине "рябиновая ночь": в эту ночь защита приходит от рябинового прута: эта эмблема молнии, известная также как золотая розга, является единственным оружием, способным убить черта [Афанасьев 1865–1869, 2:392][22].

Защитная, плодотворящая и целебная сила рябины лежит в основе многих верований и обрядов, засвидетельствованных в Северной Европе. "В Швеции думают, что рябиновая палка охраняет от бури на море, от колдовства и нечистых духов" [Афанасьев 1865–1869, 2:389]. "В Швеции и Вестфалии 1 мая трижды ударяют молодых коров, которые еще не телились, веткою рябины, дабы плодотворящая сила громового прута (*donnerruthe*) наполнила их сосцы молоком" [Афанасьев 1865–1869, 2:288]. В этом следует видеть отголосок представления о связи грома с созреванием ягод рябины (ср. выше 2h). С другой стороны, в Германии и Польше в обильно уродившейся рябине видели предвестье хорошего урожая пшеницы в следующем году [HdA, s.v. *Eberesche*, 2:23–527; Lettenbauer 1981: 105].

В северной России существовало представление, что наложение ягод рябины излечивает глазную болезнь [Даль 1989 (1902), s.v. *рябый*]. В Белоруссии считалось, что ягоды рябины лечат зубную боль [Lettenbauer 1981: 95, 96). Очистительная и целебная сила рябины отражены и в следующем русском лечебном наставлении: "сыщи рябину древо, чтобъ отрастелина была от нея, да отсѣки ее, да расколи надвое, да свяжи в концахъ посконною ниткою, и пройди сквозь рябину трожды" [Афанасьев 1865–1869: 3.803].

Историческое соответствие этому ритуалу находится в Житии Св. Адриана Пошехонского (*написанном в 1612 г.*), *упоминающем о поклонении рябиновому дереву в*

[21] Рябчики фактически живут семейными выводками до осени, затем образуют пары и разделяют территории. "Зимой (самки) могут скитаться. Весной происходит перераспределение территорий..." [Cramp 1980: 388]. О связи грома с созреванием ягод рябины в (h) см. ниже.

[22] Даль определяет рябиновую ночь "душная, с зарницею, во время цвета рябины" [Даль 1989 (1902), s.v. *рябый*]. Фасмер [(Vasmer 1955, s.v.)] цитирует А. Подвысоцкого [Подвысоцкий 1885]. Это явно другое (демифологизированное) понятие. В Белоруссии рябина цветет в мае; в наиболее северных частях ее ареала, например, в Архангельской области, она цветет в июле (ср. [Hulten 1971: 277]).

связи с празднованием пятницы *накануне Ильина дня* (20 июля); ср. (3).

(3) "церковный діакъ Иванъ Прокопіевъ хожаше по вся лѣта къ Иліѣ пророку на пустошь на рѣку Ухру на усть рѣки Ушломы къ рябинѣ на ильинскую пятницу. И изо окрестныхъ весей священники прихожаху на той день и съ собою приношаху икону мученицы Парасковіи, нареченной Пятницѣ. А изо окрестныхъ волостей и изъ градовъ многи торговые и пахотные люди вѣру держаху мученицѣ Христовѣ Парасковѣ, нареченной Пятницѣ, на той день прихожаху, и молящеся мученицѣ Христовѣ Пятницѣ, и у рябины сквозѣ сучіе проимаху дѣти малые и юнаты. А иніи людіе и въ совершенномъ возрастѣ проимахуся" [Соболевский 1891: 229; ср. Lettenbauer 1981: 92–93].

Здесь описано празднование *одной из двенадцати пятниц*, посвященных св. Параскеве, почитавшейся среди славян как христианская заместительница Живы (Фрейи)[23], богини женского здоровья и плодовитости, брака и домашнего очага, покровительницы земледелия и ремесла. Празднования св. Параскевы приурочивались к большим церковным праздникам, как в данном случае – ко дню св. пророка Ильи, христианского заместителя славянского Перуна, бога грома и дождя, огня и света, целительных сил и (мужского) плодородия [Калинский 1877 (1990):41–48, 146–150, 213, 231; Иванов, Топоров 1974: 4–30]. Хотя речь в данном случае идет о праздновании памяти двух христианских святых, трогательное ритуальное пронесение человеческих тел сквозь ветви рябины и помещение иконы св. Ильи на стволе дерева являются убедительными свидетельствами народной веры в особую целебную силу рябины как воплощения могущества св. Ильи (Перуна). Однако большую связность эти фрагменты славянских верований приобретают при сопоставлении с соответствующими верованиями соседних балтов, прекрасный обзор которых содержит работа [Vėlius 1989].

Религиозное значение деревьев вытекает из в целом общей для всех индоевропейских народов картины мира, представляющей его в виде трех царств: небесного, земного и подземного. Деревья естественным образом сопричастны всем трем царствам, так как устремлены ветвями к небу, растут на земле и уходят в нее корнями. Среди деревьев некоторые, например, лиственные, были посвящены небесным богам, хвойные – воспринимались как представляющие хтонических богов (ель, в частности, – дьявола), а стелящиеся по земле ива и ольха представляли земных божеств (фей и, отчасти, дьявола) [Vėlius 1989: 127]. Из лиственных деревьев *самым* священным считался дуб; за ним, судя по некоторым данным, следовала рябина. У *восточных балтов оба* дерева были, по-видимому, посвящены богу-громовержцу (лит. *Perkunas*, лтш. *Perkons*), чья молния воспламеняет дуб и чей символический цвет – огненно-красный – заливает осенью кисти рябины; ср. (4).

(4) "Рябина внушает ужас злым духам (лит. *laumės*), ведьмам, колдунам и, в особенности, чертям (лит. *velniai*). Существует представление, что черта можно убить рябиновым прутом, который является надежным оберегом от черта и вообще от всех злых духов" [Vėlius 1989: 123]. "Рябиновый прут оттоняет змей, поэтому рябина использовалась в оградах, чтобы защитить от змей скот" [Vėlius 1989: 117]. "Литовские мифологические сюжеты часто включают сцены, изображающие испуг и бегство черта, побиваемого или убиваемого рябиновым прутом. Этиологические легенды поясняют, что черт боится рябинового дерева, так как не может произнести его имя (лит. *šermùksnis*), был однажды жестоко избит рябиновым прутом и т.д. Чтобы защитить скотину от ведьм, рябиновые деревья использовались во время наиболее типичного из посвященных солнцу праздников – Ивановой ночи. Во всем этом проявляется свойственное литовской народной традиции представление о связи рябины с небесными божествами, прежде всего с солнцем, и противопоставление ее хтоническому началу" [Vėlius 1989: 123].

---

[23] Имя святой, греч. παρασκευή 'приготовление' в свою очередь калькирует еврейское (арамейское?) название пятницы, буквально 'день приготовления'. Память Св. Параскевы празднуется 28 октября, однако славянская передача ее имени как Пятница сделала святую подходящим прикрытием для сохранявшегося культа богини Живы, славянского соответствия Фреи (ср. англ. *Friday*, буквально 'день Фреи'). До недавнего времени она оставалась наиболее почитаемой и чаще всего призываемой в молитвах святой православной России (ср. [Калинский 1877 (1990); Рыбаков 1981: 387–392]).

Как отмечает Велюс, в репертуаре литовских народных песен рябина в целом фигурирует нечасто, при этом, однако, большая часть песен, упоминающих ее, происходит с восточных территорий балтийского культурного ареала, в древности наиболее тесно соприкасавшихся с прародиной славян. На тех же территориях записано и вдвое больше этиологических легенд о страхе черта перед рябиной, чем в центральной и восточной частях Литвы [Vėlius 1989: 134][24].

На этом фоне представляется вполне вероятным, что различные славянские обозначения рябины (ягод и дерева), протослав. ĒRB-Ā, ĪRB-Ā, IRB-ĒINĀ, (E)RIMB-ĒINĀ, мотивированные названием рябчика, были первоначально созданы как иносказания для более древней лексемы (которую мы так никогда и не узнаем), и вытеснили это древнее название вследствие тенденции избегать его как слишком прямого, недостаточно почтительного для дерева, считавшегося одним из важнейших воплощений Перуна – главного небесного божества славян, бога плодородия и целительных сил, огня и света [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 798].

2.3.3. "Земной" рябчик

Зная о религиозном значении рябины, естественно задаться вопросом: не занимал ли и рябчик, послуживший мотивировкой для названия рябины, сходного места в системе верований древних славян?

Никакие славянские поверья, которые бы впрямую указывали на это, мне не известны. Однако сам факт широкого лексического варьирования названий этой птицы заставляет задуматься на этот счет. Отметим для начала, что славяне располагали специальными обозначениями для самца и самки рябчика. Такая лексическая дифференциация типична для названий культурно значимых птиц и животных; применительно к птицам она теперь практически ограничена названиями домашних видов, однако обычно распространяется также и на диких птиц. Кроме того, имеется целый ряд деминутивов, проанализированных в разделе 2.2.1 и представленных в табл. 2. Никакое другое название дикой птицы не породило такого количества праславянских деминутивов. Внешне это предполагает наличие у древних славян какого-то особого расположения к рябчику. Вместе с тем, вспомнив о табу на называние ягод и дерева рябины, можно предположить, что деминутивы использовались с целью добиться и удержать благосклонность птицы, связываемой с могущественными силами природы. Какой бы ни была их функция – гипокористической или эвфемистической – они не оставляют сомнения в том, что рябчик был для славян чем-то большим, чем заурядным предметом разговора.

Наиболее древним из этих деминутивных наслоений является, по-видимому, основа, названная выше в разделе 2.2.1 осложненной, протослав. ERIBM-I, RIMB-I (и протобалт. ERUMB-Ē-, RUMB-Ē-). Содержащее, по мнению некоторых исследователей, лишенный особого значения назальный инфикс (ср. раздел 2.2.1), данное образование может быть более адекватно интерпретировано в совершенно ином русле. Оно представляет, как кажется, ближайшую морфологическую параллель к греч. ἔλαφος ‘лань’ (и.-е. *h_1el-n-$b^h o$-) и англ. *lamb* ‘ягненок’ (др.-в.-нем. *lembir*, др.-англ. *lamb*, прагерм. **lamb-iz*, и.-е. *h_1l-*on*-b^h-*es*), основанную на и.-е. корне *h_3er- ‘птица’, т.е. *h_3er-n-b^h-*i*-, h_3r-n-b^h-*i*-. Если прав Вайан [Vaillant 1958: 158], это гипокористический или эвфемистический деминутив со значением ‘птичка’.

[24] Интересен вопрос, чем был мотивирован особый статус рябины как второго по святости дерева после дуба. Возможно, здесь сыграло свою роль то, что это чрезвычайно жизнестойкое дерево встречается как спутник других, более крупных деревьев. Замечательно, в частности, что из-за своих огромных размеров, особенно старые, отдельностоящие дубы нередко служат пристанищем для рябины, растущей в развилках главных ветвей или между ветвями и стволом. Однако возможно, что эта субординация дуба и рябины есть чисто культурный феномен, результат культурного компромисса, отражающего взаимодействие индоевропейских традиций с традициями неиндоевропейского (вероятно, уральского) субстрата. Ср. раздел 5.3.

Данная реконструкция близка предложенной Вайаном этимологии позднеобщеслав. *jerębь*, с той, однако, разницей, что Вайан иначе идентифицировал корень, рассматривая слово как производное от и.-е. **jēr-*, **jōr-* 'весна', что не кажется убедительным со стороны содержания. Что касается начальной гласной корня протослав. *ERIMB-I, протобалт. ERUMB-Ē-, то как в славянском, так и в балтийском начальное *e-* в соответствии с и.-е. **a-*, **o-* (**h_2e-*, *h_3e-)* выступает примерно в дюжине лексем, образованных от нескольких хорошо засвидетельствованных индоевропейских корней, среди которых и корень **h_3er-* 'птица', выступающий также в протослав. ER-IL-A // AR-IL-A, протобалт. ER-EL-IA 'орел' (ср. [Rozwadowski 1915 (1961); Andersen 1996, разделы 5.3.3–6.6])[25]. Суффикс же **-b^ho-* выступал, как можно думать, в группе *i*-основ мужского рода, обозначающих птиц и животных, например, позднеобщеслав. **žeravь* 'журавль', **tetervь* 'тетерев' *Tetrao tetrix*', *labędь* 'лебедь *Cygnus*', **gǫsь* 'гусь, *Anser*' и **golǫbь* 'голубь *Columba*'; имелись, вероятно, и балтийские соответствия.

Тот факт, что в славянском и балтийском представлены разные рефлексы слогового назального (и.-е. **-ṇ-*, протослав. -IM- // протобалт. -UM-), может характеризовать данное образование как относящееся к эпохе до прото-славяно-балтийской дифтонгизации индоевропейских слоговых сонорных. Вайан связывает этот суффикс со славянским **-en-* в позднеобщеслав. диал. **mold-en-ьcь* (ст.-слав. *младеньць*, протослав. MALD-A- 'молодой'), **pьć-en-ьcь* (русск. *птенец*, протослав. PUT-Ā- 'птица'); можно вспомнить и славянские суффиксы, образующие названия молодых животных, позднеобщеслав. **jagn-ę*, *-ęt-e* 'ягненок', **pors-ę* 'поросенок' и т.д. (протослав. -IN-T- или -EN-T-?). Однако, учитывая, что перед нами протославяно-балтийское образование, проще предположить, что реконструируемое **h_3er-ṇ-b^h-i-*, **h_3r-ṇ-b^h-i-* базируется непосредственно на индоевропейской *n*-основе со значением 'птица', отраженной в греч. ὄρνις 'птица', хетт. *haras*, *haranas*, англ. *earn* 'орел'.

Каковы бы ни были первоначальные коннотации этого иносказания – 'птичка' или просто 'птица' – замечательно, что в результате этой инновации название рябчика встало в прозрачную парадигматическую оппозицию к названию птицы, наиболее прочно ассоциируемой с небесным царством, орла (протослав. ER-IL-A // AR-IL-A, протобалт. ER-EL-IA-), имеющему в этих языках иной суффикс; (см. [Гамкрелидзе, Иванов 1984; 537–539]). (Мы вернемся к первоначальному названию рябчика, протослав. и протобалт. ĒRB-, ĪRB-, в разделе 2.4.)

Принимая во внимание устойчивую связь между рябчиком и рябиной в доисторической культуре славян (раздел 2.3.2) и столь же древнюю традицию называния рябчика посредством деминутивов, нельзя не признать удивительным отсутствие прямых свидетельств вхождения рябчика в систему древних славянских верований. Но, с другой стороны, правомерно допустить, что рябчик, если он действительно занимал некогда важное место в этой системе, был с неизбежностью вытеснен (в его предполагаемой роли как главного в пределах славянской прародины представителя семейства куриных) домашней курицей *Gallus domesticus*, появившейся в Восточной

---

[25] Из-за своего географического распределения начальное общеслав. **e-* в н.-луж. *herjoł* 'орел' общеслав. **a-* в других славянских языках (польск. *orzeł*, чеш. *orel*, сербохорв. *orao*, болг. *орел*, русск. *орёл* и др.) фонологически несводимы к одной славянской праформе и предполагают протославянские варианты ERILA- ‖ ARILA-. С другой стороны, балтийские формы (лит. *erẽlis*, *arẽlis*, лтш. *erglis*, др.-прусск. *Arelie*, читается /arelis/) могут восходить к протобалт. ERELIA-. Другие лексемы с протослав. или протобалт. Е- вместо и.-е. **a-*, **o-* (*h_2e-*, *h_3e-)* – протобалт. ESETRA (польск. *jesiotr*), протобалт. ESETRA- (лит. стар. *ešketras*) 'осетр', оба из и.-е. **$h_2e\hat{k}$-* 'остроконечный'; протобалт. ELKŪNĖ (лит. диал. *elkūnė*) 'локоть' (из и.-е. **h_1h_3-e-l-* 'локоть'), ср. протослав. *alkuti*- (ст.-слав. **лакъть**); протослав. ESENA- ‖ ĀSENA- (словен. *jesẽn*, русск. *ясень*), протобалт. ŌS-I- (лит. *úosis*) 'ясень *Fraxinus*' (из и.-е. **$h_x h_3$-es-en*, *$h_x eh_3$-s-en*); ср. подробнее [Andersen 1996, разделы 5.3.3–6.6].

Европе всего за несколько столетий до новой эры (ср. [Løppenthin 1967: 53, 556; Digard 1990])[26].

Введение у славян домашнего куроводства должно было явиться событием огромного экономического значения, резко ослабив в течение относительно короткого времени вековую продовольственную зависимость населения от диких птиц естественной природной среды[27]. Значительные последствия этот исторический прорыв должен был иметь и в сфере духовной культуры. Можно полагать, что по мере утраты славянами былых связей с автохтонной орнитофауной, приходила в упадок, разрушалась и в значительной мере забывалась и система символических значений, ассоциируемых с ее компонентами. Не приходится сомневаться в том, что вместе с домашней курицей, каким бы ни был процесс распространения ее у славян, был усвоен и набор готовых символических значений, некоторые из которых могли отличаться от традиционно связывавшихся с местной орнитофауной[28]. Но в той мере, в какой новые символические смыслы совпадали с традиционными, они могли ассимилировать их, в результате чего традиционные значения, до этого связывавшиеся с дикими птицами, сохраняли свое место в системе, будучи перенесены на домашнюю птицу – изменение, лишившее диких птиц культурной значимости. Среди этих культурных ценностей была, вероятно и явившаяся главным экономическим стимулом введения домашней курицы – ее плодовитость.

Рискну высказать предположение, что на протяжении неопределенно долгого периода, пока свежие яйца не стали составным элементом питания, в ту эпоху, когда птичьи яйца появлялись лишь раз в году, и то на короткий срок, когда ежегодное добывание пасхальных яиц было серьезным предприятием, наделенным религиозным значением, славяне видели в рябчике ритуальный источник яиц для Пасхи, весеннего праздника плодородия[29]. В культуре, в целом рассматривающей птиц как обитателей небесного царства [Vėlius 1989: 97], рябчик с его скрытным поведением должен был

---

[26] Мне не известны факты, которые бы позволяли с уверенностью датировать введение домашнего куроводства у славян. Домашняя курица утвердилась в Средиземноморье задолго до 1000 г. до н.э., но в Греции она фиксируется лишь с шестого века до н.э.; ср. сноску 28. В Италию и на Сицилию курица была занесена через местные греческие колонии, и таким же образом она могла распространиться к северу через понтийские степи из греческих колоний на побережье Черного моря [Hehn 1885 (1976): 247].

Предполагается, что курица была занесена в Галлию финикийскими купцами. Распространение ее во всей Западной и Центральной Европе обычно связывается с экспансией и миграциями кельтов (ср. [Buck 1949: 174–177]). Имеются веские археологические свидетельства присутствия кельтов в Галиции, на территории современной Западной Украины, в последние столетия до новой эры [Баран и др., 1991: 47]; это существенно, если думать, что курица была занесена к славянам с запада.

С другой стороны, в средиземноморский регион курица была впервые занесена мидо-персидскими завоевателями. В религии зороастрийцев собака и петух были священными животными, первая – как страж дома и стад, второй – как глашатай зари и символ света и солнца. Яркие религиозно мотивированные заимствования из иранских языков в славянский, к которым относится и название собаки (позднеобществ. диал. **sobaka*, авест. *spaka*, мидийск. *spaka* (Геродот) [Vasmer 1955, s.v.]), позволяют предполагать, что в ходе этих культурных контактов, опосредованных скифами в 700–400-х гг. до н.э., славяне могли познакомиться и с домашней курицей.

[27] Это не значит, конечно, что дикие птицы не могли остаться в качестве окказионального, а для кого-то, возможно, и регулярного добавления к рациону, основанному на сельскохозяйственных продуктах. Кости некоторых видов диких птиц обнаруживаются в средневековых археологических памятниках; (ср. [Кириков 1979: 16]).

[28] В.Н. Топоров перечисляет весьма разнообразные символические значения, связываемые в первую очередь с петухом в различных индоевропейских и неиндоевропейских традициях [Топоров 1982: 309–311]. Некоторые из них вполне могли ассоциироваться и с самцами рябчика и других птиц класса куриных. Мы вернемся к этому вопросу в разделе 5.6.

[29] В других регионах древнего мира та же функция могла выполняться другими дикими птицами, о чем свидетельствует известный фриз дворца в Кноссе на Крите, датируемый ок. 1500 до н.э., изображающий куропаток вместе с крашеными полосатыми яйцами; крашеное глиняное яйцо чибиса, найденное в погребении в Фрисландии, относимом к 500 до н.э., и страусиные яйца из этрусских погребений Вульки (ср. [Newall 1971: 293–294]).

восприниматься как исключение: он частый гость в кронах деревьев и проворный, хотя и необычайно шумный летун; однако в целом рябчик – птица наземная; потревоженный, он предпочитает уходить по земле [Cramp 1980: 388] и обладает удивительной способностью бесследно исчезать в подлеске [Там же: 385]. В отличие от большинства видов птиц, подтверждающих свою близость небесам строительством гнезд в кронах деревьев, рябчик устраивает гнездо на земле, откладывая в него 7–11 хорошо замаскированных яиц[30]. Кажется вполне вероятным, что эта "земная" птица входила в ряд парадигматических оппозиций с "небесной" рябиной – кладки яиц рябчика vs. кисти рябины; появляющиеся в начале vs. в конце вегетативного периода; откладываемые на земле vs. висящие на ветвях в воздухе. Одновременно яйцо символизирует союз между женским плодородным началом, в природе воплощенным в земле, и мужским, олицетворяемым молнией и дождем[31].

Как уже было сказано, прямые свидетельства наделенности рябчика такими символическими значениями отсутствуют. Однако некоторые народные поверья, связанные с пасхальными яйцами, определенно выигрывают в интерпретативной глубине при таком гипотетическом прочтении и готовности допустить их восхождение ко времени до заимствования курицы как домашней птицы.

Подборка приводимых ниже (5) ритуальных предписаний распадается на несколько категорий. Одни относятся к выращиванию хлеба (5a-e), другие связаны со здоровьем людей и домашних животных (5d-h), третьи – с защитой от небесных сил (5i-k).

(5) (a) Чтобы получить хороший урожай хлеба, нужно положить яйцо вместе с пшеничным колосом в начале первой пропаханной борозды и в конце последней (записано в Хорватии [Newall 1971: 217]);
(b) чтобы обеспечить хороший урожай, смешивают пасхальные яйца или их скорлупки с семенами, особенно конопли [Афанасьев 1865–1869, 1:537][32];
(c) красное пасхальное яйцо подбрасывают высоко вверх над засеянным полем ржи, чтобы рожь так же высоко поднялась [Афанасьев 1865–1869, 1:537];
(d) чтобы был хороший урожай меда, кладут крашеное яйцо под улей [Newall 1971: 239];
(e) "заслышав первый весенний гром, умываются водою с красного яйца – на красоту, счастье и здоровье" [Афанасьев 1865–1869, 1:537];
(f) крашеное пасхальное яйцо, повешенное на шею, отводит болезни и очищает отравленную кровь [Newall 1971: 255];
(g) на Юрьев день, выгоняя скот в поле, гладят лошадей по хребту, от головы до хвоста, приговаривая: "Как яичко гладко и кругло, так моя лошадка будь и гладка и сыта" [Афанасьев 1865–1869, 2:537];
(h) крашеное яйцо, повешенное под крышей дома или подложенное под стог сена, отвращает сильные ветры [Newall 1971: 248];
(i) чтобы отвратить град от посевов, нужно в день св. Георгия завернуть крашеное яйцо в зеленый овес и закопать на поле [Newall 1971: 248];
(j) чтобы защитить дом от пожара, нужно бросить через него яйцо, отложенное в "зеленый четверг" и освященное на Пасху. С той же целью можно использовать громовый прут ('перунову ветку') [Афанасьев 1865–1869, 1:537].

Заметим прежде всего, что некоторые из этих ритуалов предписывают принесение яиц в жертву нижнему (5a–d) или верхнему (5e–g) миру, тогда как другие апеллируют

[30] "Первая кладка с конца марта... до середины мая. ... Один выводок. После утраты яиц возможны замены. Интервалы в кладке 1–2 дня. Инкубационный период 25 дней" [Cramp 1980: 389].

[31] Для полноты картины заметим, что яйца рябчика имеют некоторое зрительное сходство с рябиной: они глянцевитые, бледно-желто-коричневого цвета, слегка покрыты красно-коричневыми пятнышками и крапинками.

[32] Упоминание конопли в этом пункте, как и в описании медицинского ритуала в разделе 2.3.2, заставляет вспомнить такую особенность, как двуполое воспроизводство, сближающую это экономически важное растение с человеком. Возможно, что оно содержит намек на использование конопли *Cannabis sativa* или *indica* как наркотического средства с предполагаемыми волшебными свойствами.

к заложенной в яйцах магической силе как таковой, вне всякой жертвы. Пункты (5a–d) демонстрируют связь пасхальных яиц с плодами земли, предписывая принесение символов земного плодородия в жертву хтоническому царству, из которого произрастают злаки, в обмен на будущие возвращения. Вместе с тем специальная сила, приписываемая красному цвету (5c), может быть объяснена его связью с Перуном. То же значение может иметь и требуемая в (5c) высота броска.

Пункты (5e–g) иллюстрируют целебную силу яиц. В отдельных случаях эта сила может быть увеличена призыванием Перуна; см. особенно упоминание грозы (5e), знака его близкого присутствия, а также красного цвета, как средства призывания бога. В (5g) сила яйца увеличивается использованием ее в день св. Георгия (23 апреля), покровителя земледелия и скотоводства (греч. γεωργία 'земледелие'), традиционно изображавшегося на белом коне, поражающим дракона – воплощение сил подземного мира – и почитавшегося славянами как христианский заместитель земного бога Ярила [ср. [Иванов, Топоров 1974: 180–216]).

Сходным образом в (5i) приуроченность ритуала к Юрьеву дню призвана, очевидно, усилить способность яйца предотвратить вред, которой град может нанести посевам. Ритуал (5i) предписывает принесение в жертву яйца, обладающего особой силой, так как оно было отложено в четверг – день Перуна (англ. *Thursday* < *Thor's day*, нем. *Donners-tag*) и освящено (во имя небесного божества) – дар Земли, приносимый небесному Перуну, богу огня, как плата за его благоволение.

Принято считать, что практика красить и расписывать яйца, отнюдь не являющаяся данью прикладной эстетике, восходит к ритуальному посвящению яиц силам природы или персонифицирующим их божествам. Значение красного цвета в окраске и росписи яиц признается мастерами этого дела и по сей день: по свидетельству Афанасьева, яйца, окрашенные в красный цвет, наделены особой силой как символы здоровья и плодородия [Афанасьев 1865–1869, 1:537]; ср. также [Newall 1971: 207–231, 272]. Частая встречаемость красного цвета вместе с другими символами Перуна в ритуалах, связанных с пасхальными яйцами, позволяет считать, что красный был цветом, при помощи которого эти производимые рябчиком весенние символы плодородия посвящались небесному богу, и что этот цвет призван был обеспечить участие Перуна в исполнении всех магических функций яйца.

Важно, что эти весенние плоды Земли должны были быть приносимы в жертву преисподней (5a–e) или небесам (5h–j), иначе говоря, служить целям осуществляемых человеком операций обмена, призванных обеспечить благотворное взаимодействие трех мировых царств. Учтя это, мы можем снова вернуться к образу (самки) рябчика, кормящейся в ветвях рябины (раздел 2.3.2), реконструировав культурный смысл картины, к которой отсылает приведенный выше запрет (1): земная производительница весенних пасхальных яиц получает свою долю в плодах "небесной" рябины – символический обмен, происходящий без вмешательства человека, но и зависящий от его невмешательства, чем и вызван соответствующий запрет[33].

2.3.4. Рябчик и курочка ряба

С учетом всего сказанного кажется весьма вероятным, что осложненный вариант основы названия 'рябчика', протослав. (E)RIMB-I-, протобалт. (E)RUMB-$\bar{E}$ (ср. раздел 2.3.3) был создан не как гипокористическое, а как эвфемистическое иносказание. То же, вероятно, относится и к более поздним напластованиям деминутивов, представленных в табл. 2.

С другой стороны, деминутивы могли быть мотивированы и просто малым размером самого референта, или же таким образом мог быть интерпретирован уже сущест-

[33]В порядке обратного символического обмена русские крестьяне ссыпали пепел из очага (символ огня Перуна) на пол курятника, чтобы обеспечить плодовитость несушек [Калинский 1877 (1990): 226].

вующий деминутив: ведь рябчик действительно – самая маленькая из обитающих в лесной зоне птиц семейства куриных[34].

Здесь стоит привести латышскую этиологическую легенду, специально объясняющую малый размер рябчика. По легенде, рябчик некогда был намного больше, чем теперь. Но однажды, когда он взлетел, испугав коня проезжавшего мимо Перуна, тот поймал рябчика и в гневе стал сжимать его в кулаке, пока рябчик не сделался размером с сердце Перуна [Gattiker and Gattiker 1989: 456]; см. ниже раздел 5.4.

И последнее замечание относительно деминутивных обозначений 'рябчика'. Для славянского фольклора характерно традиционно теплое отношение к курице, сопоставимое с отношением англосаксов к своей Little Red Hen. Такое восприятие кажется совсем не мотивированным общим поведением дворовых кур, какими мы их знаем теперь, но может объясняться ролью курицы как источника пасхальных яиц, будучи таким образом первоначально мотивировано аналогичной ролью рябчика. В русской детской сказке 'курочка ряба' к радости старика и старухи сносит яичко; пробегающая мимо мышка, махнув хвостом, сталкивает его со стола, и яичко разбивается; плачущим старикам курочка обещает снести взамен другое яичко, "не простое, а золотое". Конечно, никак невозможно подтвердить, что эта сказочная формула циклического обновления старше введения у славян домашнего куроводства и первоначально имела в виду дикую птицу из семейства куриных, но именно это кажется в высшей степени правдоподобным. Несомненно значимо, что устойчивый эпитет курочки – *ряба* содержит этимологическую отсылку к названию рябчика[35].

2.4. Северо-западное индоевропейское *$(h_1)erb$-, *$(h_1)rb$- 'рябчик'.

Исходное славянское обозначение рябчика, протослав. ĒRB-Ī-, ĪRB-Ī-, является, насколько можно судить, немотивированным в рамках славянской языковой группы, но имеет точные соответствия в балтийском (протобалт. ĒRB-Ē, ĪRB-Ē-) и германском (др.-исл. *jarpi*, норв. *jerpe*, швед. *järpe* 'рябчик', прагерм. * *erp-jō-*). В ряде германских языков корень выступает также в прилагательных: др.-исл. *iarpr* 'коричневый (о волосах)', др.-англ. *eorp*, *earp* 'темный', др.-в.-нем. *erpf* 'то же'. Можно спорить, является ли значение 'коричневый' исходным для прагерм. **erpa-*, что предполагает большинство этимологов, или оно вторично – что мне кажется более вероятным – по отношению к основному значению 'темный' (темные волосы в Северной Европе чаще всего – коричневые)[36]. В совокупности эти лек-

---

[34]Для сравнения несколько измерений. Рябчик *Bonasa bonasia*: длина 35–37 см, хвост 9–10 см, размах крыльев 48–54 см, вес самца 360–470 г, самки 315–465 г; Белая куропатка *Lagopus lagopus*: длина 37–42 см, хвост 8–9 см, размах крыльев 55–66 см, вес самца 405–750 г., самки 405–680 г.; тетерев *Tetrao tetrix*: длина 40–55 см, хвост 12–16 см, размах крыльев 65–80 см, вес самца 1000–1465 г, самки 765–1120 г.

Соответствующие цифры для серой куропатки *Perdix perdix*: длина 29–31 см, размах крыльев 45–48 см, вес самца и самки 310–455 г.

Значительно более крупный глухарь *Tetrao urogallus*, возможно, не был известен древним славянам. Общеславянское название для него отсутствует. Глухарь обитает преимущественно в хвойных лесах на севере лесной зоны; может сезонно смещаться в смешанные лиственные леса, но является оседлой птицей и не намного более подвижен, чем рябчик. Его размеры: длина 60–87 см, хвост 19–28 см, размах крыльев 87–125 см; вес самца 3300–6500 г, самки 1500–2500 г. Ср.: [Cramp 1980, passim].

[35]Традиционная связь между рябчиком и домашней курицей проявляется и в таких выражениях, как польск. диал. *jarąbka*, слвц. диал. *jarabica* 'рябая курица', т.е. буквально *'рябчиковая курица'.

[36]Анттила замечает, что вероятные протоиндоевропейские соответствия этих германских лексем имеют значение 'темный' не в смысле цвета, а в смысле отсутствия дневного света [Anttila 1969: 112]. Ср. далее ниже.

Здесь уместно напомнить об универсально низком ранге коричневого цвета среди основных цветов: наличие в языке основного термина для 'коричневого' предполагает присутствие в нем основных терминов для черного, белого, красного, желтого, синего и зеленого (ср. [Kay, McDaniel 1978]). С диахронической точки зрения эта универсальная иерархия цветов предполагает, что прилагательные, обозначающие тона более низкого ранга с большей вероятностью могут быть новообразованиями, кальками или заимст-

семы указывают на сев.-зап. индоевроп. *$(h_1)erb$-i-, *$(h_1)rb$- 'рябчик', *$(h_1)erb$-o- 'темный'.

Этот этимон стоит сопоставить с греческим названием 'подземного мрака, области перехода между Землей и Аидом', ἔρεβος. Если это слово основывается на том же протоиндоевропейском корне, его содержание позволяет предположить, что первоначальным значением сев.-вост. индоевроп. *$(h_1)erb$-i-, *$(h_1)rb$-i- было 'пришедший из мрака, птица мрака'. Здесь уместно напомнить об отсутствии каких-либо свидетельств семантической мотивированности протослав. ĒRB-I-, ĪRB-I- и протобалт. ĒRB-Ē-, ĪRB-Ē- в рамках славянского и балтийского (в отличие от германского, где она могла иметь место). Таким образом, предложенная в разделах 2.3.2–2.3.3 интерпретация символических отношений между рябчиком и рябиной, не зависит от этимологических связей корня, от которого образованы обе лексемы.

Другие соответствия греч. ἔρεβος 'подземный мрак' представляют санскр. *rájas-* 'мгла, туман, мрак', арм. *erek* 'вечер', гойдельск. *rigis*, исл. *røkkr* 'мрак'. Все вместе эти формы указывают на и.-е. *h_1reg^w- 'мрак, отсутствие дневного света'; греч. ὄρφνος 'темный', ὀρφνη 'тьма (ночи, подземного мира)' предполагают и.-е. *h_1org^w-s-n-; (ср. [Frisk 1960–1973, s.vv.]). Сев-зап. и.-е. корень *$(h_1)erb$-, *$(h_1)rb$-, выступающий в названиях 'рябчика' и 'мрака' не вполне отвечает этим реконструкциям.

Во-первых, он имеет *-b- в соответствии с лабиовелярным. Однако возможно, что данный корень принадлежит к группе лексем, имеющих в германском избыточный лабиальный рефлекс протоиндоевропейского лабиовелярного, напр., англ. *four*, *wolf*, *five*, *twelve*, *oven*, *sheep*, *bid* (и.-е. *$k^w etwor$-, *wlk^wo-, *$penk^we$-, *lik^w, *uk^w-no-, *$skeg^wo$-, *g^whed^h-). Именно это предполагает Анттила относительно прагерм. *$erpa$- 'темный', отраженного приведенными выше германскими прилагательными [Anttila 1969: 112][37]. Другие аналогичные славянские или балтийские соответствия мне неизвестны, однако обнаружение одного или даже нескольких таких соответствий не было бы слишком большим сюрпризом на фоне многочисленных данных, свидетельствующих о слиянии в славянском и балтийском нескольких лингвистических традиций: можно, в частности, указать на примеры мены гуттуральных (протослав., протобалт. *K*, *G* вместо и.-е. *$\hat{k}$, *$\hat{g}$, *$\hat{g}^h$), различные лексические рефлексы протоиндоевропейских слоговых сонорных (протослав., протобалт. UR наряду с lR), соотношения тематических смычных (протослав., протобалт. mediae вместо и.-е. tenues, протослав., протобалт. tenues вместо и.-е. mediae aspiratae [Holzer 1989], а также лексемы с начальными протослав., протобалт. E- вместо и.-е. *a-, *o- [Andersen 1996, разделы 6.3–6.5; ср. сноску 25]). Подобно другим лексемам с германскими лабиальными вместо протоиндоевропейских лабиовелярных название 'рябчика' может быть заимствованием из индоевропейского диалекта – предтечи германского, балтийского и славянского, который впоследствии был поглощен этими последними в лесах Восточной Европы, не оставив по себе иных различимых следов, кроме нескольких слов с нерегулярными соответствиями.

Во-вторых, современные акцентные рефлексы в балтийском (например, лит. диал. *íerbė*, *ìrbė*) указывают на первоначально долгий гласный. Эта долгота могла развиться при переходе из одного диалекта в другой, однако она может быть и результатом удлинения, прошедшего перед звонким (или глоттализованным) смычным в диалекте-источнике или в пра-славяно-балтийских диалектах по закону Винтера [Winter 1978, Beekes 1995: 133, 151].

ваниями, чем прилагательные, называющие тона более высокого ранга. Общегерманским названием *'коричневого' представляется относительно новое, безусловно вторичное прагерм. *$brūna$- 'коричневый' – протоевропейское название этого цвета не восстанавливается. Все свидетельствует о том, что первоначальное значение прагерм. *$erpa$- было 'темный, сумеречный'.

[37]Для некоторых из этих нерегулярных соответствий и.-е. *g^w > прагерм. *b могут быть ad hoc предложены индивидуальные фонетические объяснения; (ср. [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 89]).

Наконец, реконструируемое сев.-зап. и.-е. **(h₁)erb-i-* 'рябчик', *и.-е. *(h₁)erg^{w}- отражает состояние* I корня (TRET), как и **(h₁)org^{w}-*, выводимое из греч. ὄρφνος, в противоположность состоянию II **h₁reg^{w}-* (TRET), представленному греч. ἔρεβος, а также санскритским и армянским соответствиями. Но в сев.-зап. индоевропейском имелась также и нулевая ступень корня (TRT), **(h₁)rb-*, в которой можно предположительно видеть соединительное звено между двумя состояниями (ср. [Anttila 1969: 112]).

2.5. Обобщение

Мы можем теперь подытожить результаты проведенного в предыдущих разделах анализа славянских слов для 'рябчика', 'рябины' и 'рябого', попытавшись интегрировать затронутые морфологическую, семантическую и культурную перспективы в хронологически связное построение. Это позволит нам добавить к уже сказанному несколько дополнительных наблюдений, детализировав таким образом полученную картину. Для удобства результаты анализа трех лексем обобщены в отдельных разделах.

2.5.1. Названия 'рябчика'

Первоначальное название 'рябчика' в сев.-зап. индоевропейском, **(h₁)erb-i-*, **(h₁)rb-i-*, могло быть не связано с другими и.-е. этимонами или отражать и.-е. **h₁erg^{w}-*, **h₁reg^{w}-* 'мрак, отсутствие дневного света' (как в греч. ἔρεβος 'подземный мрак'). В первом случае, в нем естественно видеть субстратное заимствование. Во втором случае, оно могло быть заимствовано в диалекты, из которых впоследствии развились славянский, балтийский и германский, из индоевропейского диалекта с лабиальными рефлексами протоиндоевропейских лабиовелярных, распространенного в лесной зоне Центральной и Восточной Европы в эпоху, когда там распространились диалекты – предтечи славянского, балтийского и германского. Каково бы ни было происхождение данного слова, оно, по-видимому, было семантически не мотивированным (то есть лексически изолированным) в славянских, балтийских и германских прадиалектах. Этот чисто этимологический факт не имеет, однако, отношения к символическому значению, которое могло быть закреплено за рябчиком в культурах этих трех групп северо-западных индоевропейцев (см. раздел 2.4).

Сев.-зап. и.-е. **(h₁)erb-*, **(h₁)rb-* было, по всей вероятности, корневым существительным, с чередующимися ступенями аблаута, что свидетельствует в пользу его *индоевропейского происхождения. По-видимому*, прагерманские диалекты, как и некоторые праславянские и прибалтийские, использовали в производных полную ступень корня (вариант основы I–A: др.-исл. *jarpi*, протослав. ĒRB-(Ā-), протобалт. ĒRB-Ē- в лит. диал. *jerbẽ*, *íerbė*; см. также ниже), в то время как другие праславяно-балтийские диалекты использовали нулевую ступень (вариант основы I–B: протослав. ĪRB-Ī-, протобалт. ĪRB-Ē- в бол. диал. *ербица*, лит. *диал. irbė*, лтш. *ĩrbe*; ср. раздел 2.2.1). Географическое распределение рефлексов этих вариантов в современных славянских и балтийских диалектах не содержит ясных указаний на то, каким было их первоначальное распределение в праславяно-балтийском диалектном континууме.

Впоследствии некоторые праславянские и прабалтийские диалекты развили, по-видимому, эвфемистическое (деминутивное) иносказательное обозначение 'рябчика', **h₃er-n̥-bʰ-i-*, *h₃r-n̥-bʰ-i-*, основанное на и.-е. **h₃er(-n̥-)* 'птица', буквально 'птичка', формальный антоним к **h₃er-el-*, **h₃er-l̥* (протослав. ERILA-, протобалт. EREILA-) 'орел'. Оно с течением времени вытеснило унаследованное слово для 'рябчика' почти во всем славянском (ср. сн. 11) и части балтийского. Вариант этого образования с нулевой ступенью корня имеет вполне определенное географическое распределение: он засвидетельствован в латышских диалектах (вариант основы II-B: протобалт.

R-UM-B- в *rubenis* 'тетерев', вторичный деминутив, буквально 'рябчиковая птица'), а также в восточнославянских, словенских и сербскохорватских диалектах (II-B: протослав. R-IM-B-I- в русск. стар. *рябь*, словен., сербохорв. *rȇb*). Полная ступень чередования (II-A: протослав. ER-IM-B-I, протобалт. ER-UM-B-E) характеризуется более диффузным распределением; см. табл. 2.

В дальнейшем, когда деминутив был переосмыслен как основное обозначение 'рябчика', возникло несколько новых слоев деминутивов, распространившихся в большинстве славянских диалектов (ср. раздел 2.2.1). Первичные образования с протослав. -KA-/-K$\overline{\text{A}}$-, позднеобщеслав. *-*ьćь* (муж.), *-*ića* (жен.) безусловно хронологически предшествовали славянской территориальной экспансии. Вторичные формы с позднеобщеслав. *-*ъkъ* (муж.), *-*ъka* (жен.) могли появиться в эпоху экспансии. Остальные деминутивные образования носят локальный характер и, вероятно, возникли еще позже.

Спустя какое-то время после начала территориальной экспансии славян, когда они стали осваивать степь, в языке одной из славянских группировок это название птицы было перенесено на куропатку *Perdix perdix*. Замечательно, что южнославянские языки и центральнословацкие диалекты по большей части обобщили как название 'куропатки' позднеобщеслав. **jerębьćь* (муж.), **jerębića* (жен.), особенно последнее[38]; вторичные и позднейшие деминутивные образования в них, как правило, не представлены, будучи распространены почти исключительно в севернославянских диалектах.

2.5.2. Названия 'рябины'

Еще в отдаленной праистории название 'рябчика' мотивировало образование производного со значением 'ягоды рябины', отраженного в архаическом собирательном существительном, укр. диал. *ríba* (конверсив на базе варианта основы I-A: протослав. $\overline{\text{E}}$RB-$\overline{\text{A}}$-), кашуб. сев.-диал. *jerzba* (вариант I-B: протослав. $\overline{\text{I}}$RB-$\overline{\text{A}}$). В германском подобные образования не известны. Однако, как показывает лтш. диал. *irb-ene* 'рябина' (вариант основы I-B с суффиксом названий растений, буквально 'рябчиковое дерево'; (ср. [Endzelin 1923: 218–219]), эта ранняя лексическая инновация не была узко праславянской[39]. В разделах 2.3.2–2.3.3 были приведены аргументы, свидетельствующие, что появление этого производного было мотивировано табуистическим запретом на древнее название рябины, а также природными и культурными связями между рябчиком и рябиной. Важно заметить, что, хотя символическое значение рябины было равно актуальным для верований древних славян, балтов, германцев и кельтов, переименование рябины, лингвистически выразившее ее религиозную связь с рябчиком, произошло только в праславянском и небольшой части прабалтийского; см. далее раздел 5.

Более молодые производные с типичными для названий ягод суффиксами протослав. -$\overline{\text{E}}$IN-$\overline{\text{A}}$, -$\overline{\text{E}}$IK-$\overline{\text{A}}$- были образованы в некоторых диалектах общеславянского на основе первоначального названия 'рябчика' (вариант основы I-B, ср. кашуб. *jerzbina*, в.-луж. диал. *jerbina*, словен. *rbika*, ныне в значении 'ежевика'). Географи-

---

[38]Обобщение формы женского рода позднеобщеслав. **jerębića* в большей части южнославянских языков и диалектов и центральных диалектов словацкого может объясняться тем, что куропатка, безотносительно к полу, более напоминает самку рябчика, чем самца; самка рябчика меньше и медлительнее, имеет менее определенную расцветку оперения, в отличие от самца, у нее нет хохолка и черного "галстука" [Cramp 1980: 385].

[39]В некоторых балтийских диалектах рябина обозначается заимствованием (лтш. литерат. *pīlādzis* из. ливск. *pīlǝg* 'дерево рябины', ср. фин. *pihlaja* 'то же'); большинство других балтийских диалектов используют как название рябины рефлексы протобалт. ŠERM-US (напр., лтш. диал. *sērmūk(l)is*, лит. *šermùksnis*), слово, родственное славянскому названию 'черемухи *Prunus padus*' (русск. *черемуха*, польск. *czeremcha* < протослав. KERM-UX-$\overline{\text{A}}$, словен. *srȇmša* < протослав. SERM-UX-I$\overline{\text{A}}$, варианты *Gutturalwechsel*).

ческое распределение этих производных в настоящее время с трудом поддается интерпретации.

В дальнейшем, вероятно, после того как эвфемистически-иносказательное обозначение рябчика *h_3er-n-b^h-i- (*h_3r-n-b^h-i- 'птичка' было переосмыслено как просто название птицы, от этой основы были образованы новые термины со значением 'рябчиковая ягода', давшие протослав. (E)RIMB-$\overline{\text{E}}$IN-$\overline{\text{A}}$-, -$\overline{\text{E}}$IK-$\overline{\text{A}}$-.

Хотя эти три стадии – (i) протослав. $\overline{\text{E}}$RB-$\overline{\text{A}}$-, $\overline{\text{I}}$RB-$\overline{\text{A}}$-, (ii) $\overline{\text{I}}$RB-$\overline{\text{E}}$IN-$\overline{\text{A}}$, (iii) (E)RIMB-$\overline{\text{E}}$IN-$\overline{\text{A}}$- – выстраиваются в ясной логической последовательности, эту очевидную хронологию не следует понимать слишком прямолинейно. Рефлексы протослав. $\overline{\text{I}}$RB-$\overline{\text{E}}$IN-$\overline{\text{A}}$- и в самом деле предполагают, что использование 'ягодного' суффикса старше обновления основы в названиях ягод рябины. Однако вполне возможно, что в действительности суффикс был добавлен уже после этого обновления, но затем распространился в диалектах, использовавших как старый, так и обновленный вариант основы, заменив протослав. -$\overline{\text{A}}$- на -$\overline{\text{E}}$IN-$\overline{\text{A}}$- (например, $\overline{\text{I}}$RB-$\overline{\text{A}}$- > $\overline{\text{I}}$RB-$\overline{\text{E}}$IN-$\overline{\text{A}}$-, *(E)RIMB-$\overline{\text{A}}$ > (E)RIMB-$\overline{\text{E}}$IN-$\overline{\text{A}}$-), resp. на -$\overline{\text{E}}$IK-$\overline{\text{A}}$-. Следует заметить, что первоначальный суффикс собирательных протослав. -$\overline{\text{A}}$- присутствует в обоих 'ягодных' суффиксах (подобно тому, как это имеет место в протослав. $\overline{\text{A}}$G-$\overline{\text{A}}$- 'ягоды' и производном протослав. $\overline{\text{A}}$G-AD-$\overline{\text{A}}$ 'ягоды'; ср. позднеобщеслав. *(*vinj*)-*ag-a* 'виноград', **jag-od-a* 'ягода, ягоды', *протобалт.* OG-A, *лит. uoga* 'ягоды'; [ср.: SP, 1:63, 152].

В любом случае резонно полагать, что с течением времени производные на базе более нового, осложненного варианта основы в целом вытеснили старые дериваты на базе варианта I-B. Это объясняет, почему последний в настоящее время столь скудно представлен.

2.5.3. Названия 'рябого, пестрого'

Несколько групп индоевропейских диалектов в Европе имеют общее слово для 'рябого', др.-ирл. *ríabach* 'рябой, серый' лит. *rãibas* (наряду с *ráibas, rãimas, ráimas, rãinas, ráinas, rãivas*) 'рябой, пятнистый', лтш. *ràibs* 'рябой, пятнистый, разноцветный', др.-прусск. *roaban* 'полосатый'. Тот же корень может выступать в прагерм. *$(h_x)roi$-$\hat{k}o$-, др.-в.-нем. *reh(o)*, др.-англ. *ráh(a)*, др.-исл. *rá* 'косуля'; (ср. [Fraenkel 1965; 686]). В славянском этот этимон представлен укр. *рі́бий*.

Этимологи пытались связать это слово с синонимичным позднеобщеслав. **jerębъ*, **rębъ*, несмотря на очевидное расхождение в огласовке. Морфологический анализ, проведенный в разделах 2.2.3–2.2.4, выявляет отчетливое хронологическое соотношение между двумя рядами слов. Кельтские, германские, балтийские и славянские прилагательные, основанные на и.-е. *$(h_x)roi$-, являются, по-видимому, относительно древними. Напротив, позднеобщеслав. **jerębъ, rębъ* явно моложе специфически праславянско-балтийского иносказательного *h_3er-n-b^h-i- 'птичка' и его переосмысления как названия 'рябчика'. Это ведет к единственно возможному выводу: в общеславянском унаследованное прилагательное протослав. RAIBA 'рябой, пестрый', реликтово представленное укр. *рі́бий*, было в основном заменено семантически более жизненными производными со значением 'рябчиковый', созданными на базе распространенного варианта основы II-B в восточнославянском (напр., русск. *рябой*) и II-A – в других диалектах (напр., слвц. *jarabý*). Характерно, что географическое распределение этих вариантов названия 'рябого' – то же, что мы наблюдали для вариантов II-A и II-B в разделах 2.5.1, 2.5.2. Во многих славянских диалектах этот общеславянский конверсив был впоследствии обновлен с использованием соответствующих суффиксов.

3. КУРОПАТКА

3.1. Позднеобществ. **kuropъty* 'куриная птица'?

Общепринятая этимология севернославянского названия 'куропатки', представленная в стандартных этимологических словарях (ср. (6)), создает на первый взгляд впечатление очевидной, предполагая сочетание двух общеславянских корней в прозрачном сложении с хорошо мотивированным значением. В начале статьи мы по композиционным соображениям приняли эту этимологию как данность. Однако ближайшее знакомство с картиной представленности слова в славянских языках и диалектах не может не возбудить серьезных сомнений относительно как содержательной, так и формальной стороны этой реконструкции.

(6) Позднеобществ. **kuropъty*:

зап.-слав.: полаб. *t'aurĕpotkă*, словин. *kûropâtkă*, кашуб. *kuropatka*, польск. *kuropatwa*, диал. *kuropatka*, *kropatwa*, в.-луж. *kurotwa*, *kurotej*, *-twje*, н.-луж. *kurotwa*, чеш. *koroptev*, *-tve*, диал. *kurotva*, *kurotvja*, *korotev*, *kuropatva*, *kropatf*, слвц. *kuropta*, стар. *kuroptva*, диал. *kuropka*, *kuropatka*;

вост.-слав.: укр. *куропáтва*, диал. *курíпка*, *куропáта*, *коропáта*, белор. *курапáтка*, *курапáтва*, диал. *курапáта*, русск. *куропáтка*, диал. *куропáтва*, *кýропоть*;

юж.-слав.: сербохорв. стар. *kuroptva*, словен. диал. *kurnprat*, стар. *kornbrat* 'вальдшнеп *Scolopax rusticola*'; (ср. [ЭССЯ, 13:127–128]).

Широко представленные отклонения от реконструируемой формы лексемы составляют наиболее серьезное препятствие для принятия самой реконструкции. Эти отклонения затрагивают как первую часть сложения, которая во многих районах и пунктах представляет рефлекс не позднеобществ. **kur-o-*, а, скорее, **koro-*, **kor-* или **kro-*, так и его вторую часть, которая в части славянских языков и диалектов действительно представляет рефлекс предполагаемого **ръt-*, однако значительно более широко распространена в виде рефлекса последовательности **pat-*, см. (6).

Предполагаемое значение также нельзя признать вполне удовлетворительным. Кажется сомнительным, чтобы общеславянская народная таксономия птиц действительно включала родовой термин 'куриная птица'. Если же такой термин и в самом деле существовал, то почему такое значение нигде не засвидетельствовано для рефлексов позднеобществ. **kuropъty*? Можно, конечно, предполагать, что это родовое значение не могло долго сосуществовать со специальным значением 'куропатка'. Но по крайней мере в южнославянских языках, где значение 'куропатка' выражают рефлексы позднеобществ. **jerębica* и других родственных слов, такого конфликта быть не могло. Более вероятно поэтому, что позднеобществ. **kuropъty* было изначально создано как обозначение определенного вида, а именно куропатки. Но если так, тогда почему этот вид был обозначен термином, очевидным образом отсылающим к неправильному таксономическому уровню: почему 'куриная птица', а не, скажем, 'полевая курица', как в датск. *ager-høne*, или 'ежевичная курица', как в *нем. Reb-huhn*, буквально, 'лозовая курица'[40].

Чтобы полностью оценить масштабы формального варьирования термина, приводящее в смущение множество вариантов полезно увидеть нанесенным на карту Общеславянского лингвистического атласа [Аванесов и др. 1988; 70 и сл., карта 23]. Приведу без комментария предлагаемый автором карты Ф.Д. Климчуком перечень реконструируемых вариантов (7); в записи Климчука прописные буквы обозначают чередующиеся элементы (например, *U* представляет чередование *u* ||*o*||∅, *O* – *o*||*a*, *P* – *p*||*r*||∅; '=' указывает на результаты переразложения. Мои собственные реконструкции

[40]Нем. *Rebhuhn* считается возникшим по народной этимологии (ср. [Kluge, Götze 1953, s.v]). Здесь важно, однако, что структура сложения семантически правильна.

представлены в разделе 3.3.2.

(7) (a) *kur-o-pъl-ь* (f) *kUr-O-p = -at-ъv-ь*
(b) *kUr-o-Pъl-ъv-ь* (g) *kUr-O-p = -at-ъv-a*
(c) *kUr-o-Pъl-ъv-a* (h) *kUr-O-p = -at-ъk-a*
(d) *kUr-o-Pъl-ъv-ja* (i) *kur-o-p = -ъk-a*
(e) *kUr-O-p = -at-a*

Рассмотрим первый компонент, гипотетическое **kur-o*. Вариант *kro-* с большой последовательностью представлен в восточных, центральных и южных диалектах польского (напр., польск. диал. *kropatwa* (7g), при лит. *kuropatwa*). Вариант *koro-* так же последовательно представлен в Чехии и Моравии (напр., чеш. литерат. *koroptev* (7b)), в отдельных пунктах Восточной Польши и многочисленных пунктах, разбросанных по территории Украины, Белоруссии и России (напр., укр. диал. *коропатва* (7g), русск. диал. *коропатка* (7h), при укр. литерат. *куропатва*, русск. литерат. *куропатка*). В принципе, прозрачные сложения иногда подвергаются фонологическим деформациям, утрачивая свою прозрачность. В особенности это характерно для отдельных терминологических систем, как, например, охотничьих обозначений дичи, часто демонстрирующих сознательные, табуистически мотивированные деформации. Однако широкую и неравномерную представленность форм с *koro-* в восточнославянских диалектах трудно объяснить таким образом. Распределение вариантных форм с *koro-* и *kuro-* проще интерпретировать на основе допущения, что формы с *koro-* были на обширных территориях изменения в *kuro-* по народной этимологии (по сходству с позднеобщеслав. **kur-* 'курица'), сохранившись неизмененными в отдельных разрозненных местных диалектах.

Налицо, похоже, классический случай, требующий применения филологического принципа предпочтения "lectio difficilior". В данной ситуации поступить таким образом – значит признать прозрачные формы с *kuro* отражающими результат вторичного "редактирования", направленного на достижение большей ясности выражения, и взять на себя бремя интерпретации форм с более сложными, затемненными вариантами первой части *-kro-* и *koro-*.

Те же соображения вызывает и второй компонент позднеобщеслав. **kur-o-pъty*. Большинство этимологов закрывают глаза на различие между вариантами **-pъt-* и **-pat-* (**-pъt-* и *-p=at-* у Климчука (7)), необъяснимое никакими известными чередованиями гласных (протослав. -U- || -Ā-, и.-е. **-u-* || **-ō-* или **-ā-*). Те немногие, кто признал наличие этой сложности, вынуждены были схватиться за соломинку. П.Я. Черных предположил контаминацию регулярного (восточнославянского) рефлекса *-pot-* с суффиксальным гласным, выступающим в таких образованиях, как диал. *пт-ах, пт-ак* [Черных 1993, s.v. *куропатка*]. Украинский исследователь И. Стоянов, объясняя соотношение вариантов **-pъt* и **-pat-*, предположил, что "в связи с сближением второй части сложения с образованиями на *-tva* и утратой корневого гласного *u* (вследствие общеславянского падения редуцированных), в сочетании согласных *ptv* развился вторичный гласный *a*" [Мельничук 1982, 3:156 f. и сл.]. Однако варианты с **-pat-* географически распространены столь широко, что должны были появиться задолго до падения редуцированных. Фактически они представлены во всех славянских языках, знающих данное слово, за исключением нескольких компактных ареалов: Верхней и Нижней Лужицы (*kurota, kurwota*), Чехии и Моравии (*koroptev*), русских диалектов в районе Архангельска (*ку́ропоть*), небольшого участка украинских Карпат и нескольких изолированных юго-восточных анклавов украинского, где укр. диал. *куріпка*, по-видимому, отражает **kuro-pъta*, с *i* из *o* по заместительному удлинению 'в сильной позиции' и с происшедшим после падения редуцированных переразложением под влиянием продуктивной модели деминутивов на *-k-a*.

Из двух вариантов, *-*рът* и *-*pat*-, первый бесспорно лучше объясняет название птицы, чем второй, не имеющий в славянских языках очевидных семантических ассоциаций[41]. Более вероятно, следовательно, что *-*рът*- заменило *-*pat*-, а не наоборот. Это "исправление" могло быть проведено задолго до падения редуцированных. Оно вполне могло предшествовать территориальной экспансии славян, чем можно объяснить распространение данной инновации из одного района в многочисленные и не связанные друг с другом области, в которых ее рефлексы представлены в настоящее время. С другой стороны, такая инновация могла возникнуть и независимо в разных местах и в разное время, так как мотивированность ее имела системный характер: содержание понятие 'птица' всегда и всюду было частью понятия 'куропатка'.

3.2. Позднеобщеслав. **kropaty* 'куропатка'?

Этимологизируя название 'куропатки', Вайан отдал предпочтение lectio difficilior (что, как кажется, было просмотрено в этимологической литературе), предположив для данного слова исходную форму **kropaty*, образованную от **kropatъ* 'рябой, пестрый', производного от **kroръ* 'капля'. Он находил очевидным "qu'il s'agit d'un nom... déformé par l'étymologie populaire, qui a voulu retrouver dans son initiale *kurŭ* 'coq', et dans sa finale *pŭta* 'oiseau'..." [Vaillant 1958: 258]. Заметим, что суть предполагаемых Вайаном народных этимологий ("исправления" в **kur-o-* и **-рът-*) заключается в переразложении протоформы, изменении **krop-at-y* в **kro-pat-y*: гипотетическое образование, изначально содержавшее один корень, переосмысляется как состоящее из двух.

К сожалению, реконструкция Вайана не объясняет вариантов с *koro-*, представленных в чешских, моравских и восточнославянских диалектах. Она также не вполне удовлетворительна в семантическом отношении, поскольку, как уже было сказано выше, пестрое оперенье для птиц настолько обычно, что непонятно, каким образом столь поверхностная характеристика может служить цели определения одного определенного вида.

Объяснение Вайана эксплицитно основано на допущении, что унаследованное балто-славянское название 'куропатки', позднеобщеслав. **jerębь*, было в севернославянских языках заменено на **kropaty* [Vaillant 1958: 278]. Мы же исходим из гипотезы, развитой в разделе 1.3 настоящей статьи, согласно которой славяне поначалу не располагали названием для 'куропатки', поскольку жили в лесной зоне. Отправляясь от этого и вспомнив, что современное севернославянское название 'куропатки' (русск. *серая куропатка*) используется также как обозначение другого вида, *Lagopus lagopus* (русск. *белая куропатка*, блр. *белая курапатка*), стоит изучить возможность того, что позднеобщеслав. **kuropъty* (или **kor(o)paty*) исходно обозначало 'белую куропатку', и – допустив, что перед нами описательный термин – попытаться этимологизировать слово, основываясь на характеристиках его предполагаемого денотата.

3.3. Позднеобщеслав. **korpaty* 'Lagopus lagopus'

3.3.1. От 'белой куропатки' к 'серой куропатке'

В отличие от серой куропатки, чей первоначальный ареал был ограничен степью и открытыми участками лесостепи к югу от лесной зоны, белая куропатка – "птица по преимуществу тундры и редколесья, переносящая кустарник, но не лесостой" [Cramp

[41] В обширном списке форм, приводимых в Общеславянском диалектном атласе встречаются лишь изолированные примеры народных этимологий, демонстрирующих такие ассоциации, например, русск. диал. *куропя́тка* (букв. 'куриная пятка') или укр. диал. *скоропа́дка* (букв. 'быстро падающая') (ср. [Аванесов 1988: 83]).

1980: 392][42]. "В период размножения преимущественно концентрируется в безлесной тундре, на болотах, вересковых пустошах, ...на севере СССР предпочитает заросли ивы и карликовой березы *Betula*, перемежающиеся с холмистой, поросшей ягодой тундрой... По окончании сезона размножения... перемещается в лесотундру и ивово-березово-ольховые леса" [Там же].

В южной части своего ареала, в лесной зоне, белая куропатка ведет преимущественно оседлую жизнь, с зоной рассеяния в пределах 10 км., как в Скандинавии [Cramp 1980: 394]. В прошлом была распространена к югу до припятских болот, но в дальнейшем ареал птицы значительно сократился на юге и на западе, особенно за последнее время: с 1870 г. она не появляется в Восточной Пруссии, а на территории Литвы исчезла уже в этом столетии [Yeatman 1971: 160]. В Белоруссии, где белая куропатка причислена к исчезающим видам, она распространена почти только в северных областях, где встречается в основном в природных заповедниках [Долбик 1974: 36–37, карта]. Тенденция к потеплению, наблюдаемая в последние два столетия, осушение болот под сельскохозяйственные угодья, истребление и нарушение экологической среды – вот основные причины упадка вида [Долбик 1974: 44; ср. Cramp 1980: 393].

Примечательно, что среда обитания белой куропатки частично совпадает со средой обитания серой куропатки. Зависимость белой куропатки от растительности болот и пустошей и предпочтение серой куропаткой открытых участков с островками леса, грубой травы и кустарника, пригодных для укрытия и устройства гнезд, сделали возможным неконкурентное сосуществование двух видов в определенных природных ландшафтах pari passu по мере постепенного обращения лесной зоны в культивированную степь. Таково реальное, практическое основание для предположенного в разделе 1.3 распространения названия белой куропатки также и на серую куропатку. Можно представить себе, как на протяжении столетий, со средних веков до нового времени, это семантическое расширение постепенно распространялось в северно-славянском языковом ареале параллельно с расширением ареала куропатки на север, в пределы бывшей лесной зоны[43].

Если, таким образом, **korpaty* было первоначально обозначением 'белой куропатки', тогда славянская группировка S, колонизовавшая степь и перенесшая на серую куропатку традиционное обозначение рябчика (ср. раздел 1.3), более не нуждалась в слове для обозначения белой куропатки, поскольку последняя не встречается к югу от лесной зоны. Этим может объясняться общее отсутствие рефлексов **korpaty* в южнославянских языках.

В этой связи интересно заметить, что изолированные южнославянские употребления **korpaty* имеют разные значения.

(i) сербохорв. стар. *kuroptva* 'куропатка', может восходить к речи представителей группировки N (ср. раздел 1.3), в которой семантический переход 'белая куропатка > серая куропатка' произошел еще в эпоху до начала славянских миграций (если, конечно, это сербскохорватское слово не является значительно более поздним заимствованием из чешского, что предполагает Безлай [Bezlaj 1982: 113; s.v. *kurnprat*].

---

[42] *Lagopus lagopus* имеет несколько подвидов, из которых наиболее известен *scoticus* (русск. *шотландский тетерев*). Подвид *lagopus* распространен в Скандинавии, Финляндии и северной России, к югу примерно до 60° сев. широты (в частности, в Ленинградской, Вологодской областях по р. Вычегде). К югу от его ареала, целиком в пределах лесной зоны располагается ареал подвида *rossicus*, который и является предметом нашего внимания. Существует и еще с дюжину разновидностей *lagopus lagopus*, обитающих в разных частях палеарктического и неарктического поясов (в Сев. Америке и Гренландии).

Как и рябчик *Bonasa bonasia*, белая куропатка входит в семейство тетеревиных (*Tetraonidae*, ср. сноску 2). Ближайшим родственником ее является тундряная куропатка *Lagopus mutus*, чей ареал целиком расположен к северу от лесной зоны, протянувшись от лесотундры на юге до Ледовитого океана на севере. Эта птица, вероятно, была неизвестна славянам.

[43] Русск. *куропатка* в современном значении впервые фиксируется в 1586 г. в форме *Courat pateca* [Черных 1993, s.v.]; польск. *kuropatwiczka* встречается в этом значении у Н. Рея (1509–1569) (ср. [Brückner 1974, s.v.]).

(ii) Словенское диал. *kurnprat*, устар. *kornbrat* 'вальдшнеп *Scolopax rusticola*' кажется мотивированным тем обстоятельством, что эта болотная птица (русск. *вальдшнеп, лесной кулик*) имеет примерно ту же среду обитания, что и белая куропатка (в добавок к определенному сходству в окраске оперения), что позволяет допускать прямой перенос значения 'белая куропатка > вальдшнеп' в речи выходцев из группировки N, сохранивших в какой-то степени память о белой куропатке.

Хотя белая куропатка размером несколько больше серой (ср. сноску 34), ее главным отличительным признаком является, безусловно, окраска оперения. Летом его "верхние участки, зоб, шея, верхняя часть груди – глубокого... красно-коричневого цвета... с темными пестринами. Крылья и нижняя часть туловища белые". Зимой "все красно-коричневые участки оперения... становятся белыми" [Cramp 1980: 391]. Эта бросающаяся в глаза особенность оправдывает русское и белорусское определение вида 'белая', противопоставляя его 'серой' куропатке. Последняя, несмотря на все разнообразие оттенков оперения, столь заметных вблизи, на расстоянии кажется просто серой, и остается такой круглый год.

3.3.2. Форма **korpaty*

Предлагаемый ниже анализ основывается на данных Общеславянского лингвистического атласа [Аванесов и др. 1988: 71–72, 153], с некоторыми добавлениями из Словаря русских народных говоров (СРНГ) и затрагивает в данном разделе формальную сторону лексемы, а в разделе 3.3.3 – ее возможное описательное содержание.

Исходя из трактовки вариантов с **kur-o-* как результатов народной этимологии, варианты, требующие объяснения, можно представить в виде следующего перечня (8), представляющего собой переоформленный в позднеобщеславянских терминах перечень (7), пункт за пунктом. Морфологическое членение вариантов предвосхищает последующие выводы.

(8) (a) **kor-o-pъt-ь*
(b) **kor-o-pъt-ъv-ь*
(c) **kor-o-pъt-v-a*
(d) **kor-o-pъt-v-j-a*
(e) **korp-at-a*
(f) **korp-at-ъv-ь*
(g) **korp-at-v-a*
(h) **korp-at-ъk-a*
(i) **kor-o-pъt-a*

Исходное протослав. KARP-Ā-TA – с неясным значением, но, возможно, параллельное таким прилагательным, как протослав. BARD-Ā-TA 'бородатый', RAG-Ā-TA 'рогатый', позднеобщеслав. **bordatъ, rogatъ* (ср. раздел 3.3.3) должно было дать в общеславянском субстантивированные прилагательные **karp-at-a-* (муж.), **karp-at-ā* (жен.), позднеобщеслав. вост. диал. **koropatъ, *koropata;* ср. (8e). Эти рефлексы непосредственно представлены в сев.-русск. диал. *куропáт* [СРНГ, s.v.], блр. диал. *коропáта* (||*куро-*) и укр. диал. *коропата* (||*куро-*). Последнее образование имеет регулярный деминутив (позднеобщеслав. вост. диал. **koropatića*), представленный изолированным русск. диал. *курупатица*, и, возможно, косвенно, с учетом регулярной замены суффикса, затронутой в разделе 2.2.1, в некоторых или всех восточнославянских рефлексах позднеобщеслав. диал. **koropatъka* (ср. (8h)), как русск. диал. *коропатка* (||*куро-*), блр. *коропáтка* (||*куро-*), укр. диал. *коропáтка* (||*куро-*), а также в слвц. вост. диал. *kuropatka*, кашубск. диал. *kuropatka*, полаб. *t'aurĕpotka*. Однако формы с продуктивным суффиксом позднеобщеслав. **-ъka* могут восходить и к следующему образованию.

Производное общеслав. **karp-āt-ū* (жен.) дает позднеобщеслав. лехитск. диал. **kropat-y*, acc. sg. *-ъvь*, и вост. диал. **koropat-y*, *-ъvь*[44]. Первое предполагается польск.

[44] Напомню, что позднеобщеслав. *u*-основы представлены тремя алломорфами, например, *1) *sьrk-y-*

диал. *kropatfa* (и литер. *kuropatwa*) (ср. (8c)); второе могло быть трансформировано в позднеобществав. вост. диал. **koropatъka* (ср. (8h)), выступающее в русск. диал. *коропáтка* (||*куро-*), блр. диал. *кoропáтка* (||*куро-*), укр. диал. *коропáтка* (||*куро-*); но в чистом виде представлено в явно восточнослáвянском по форме польск. вост. диал. *koropatef* (район Полесья) и русск. сибирск. диал. *коропáтва* [СРНГ, s.v.]; ср. (8f).

Параллелями к отадъективному общеславянскому образованию на **-ŭ-* могут служить *позднеобществав. *pъstrъ* 'пестрый' – диал. **pъstry* 'форель' (ср. *сербохорв. pȁstrva*, словен. *postŕv*), **suxъ* 'сухой' – диал. **suxy* 'изюм' (серб. ц-сл. **сѫхвами** (instr. pl.), сербохорв. стар. *suxva*, диал. *sȕvica*; (ср. [Vaillant 1958: 278 и сл.]). Однако, учитывая возможность существования особых обозначений для самца и самки белой куропатки, позволительно интерпретировать общеслав. **karp-āt-ŭ-* в контексте таких пар, как позднеобществав. **svekr-ъ – svekr-y-* ('свекр – свекровь', ср. др.-русск. *свекры*), **vъnuk-ъ – *vъnuk-y* 'внук – внучка' (ст.-сл. **въноукъ** – польск. стар. *wnukiem*) и **kur-ъ – *kur-y* 'петух – проститутка' (букв. 'курица', ср. фр. *coquette*) (напр., русск. *кур – курва*). Последняя пара подтверждает как продуктивность данной модели еще в относительно недавнее время (ср. прим. 26), так и ее актуальность для названий птиц; ср. также позднеобществав. диал. **qty*, сербохорв. *ȕtva* при позднеобществав. диал. **qtъka*, русск. *утка* (протослав. ĀNT-Ū-).

Субстантивированная форма мужского рода, позднеобществав. **korpraъ* 'самец куропатки', выступающая в сев.-русск. диал. *куропáм*, может быть усмотрена в несколько измененном виде в словен. диал. *kurnprat*, стар. *kornbrat* 'вальдшнеп *Scolapax rusticola*[45].

В части общеславянского ареала последовательность *-pāt-* общеслав. **karpātā* была интерпретирована как корень со значением 'птица', вследствие чего слово подверглось переразложению. Результатом этого переосмысления явилась не только последующая замена гласного (на общеслав. **-pъt-*), но и трактовка первой части слова как отдельного корня, вызвавшая вставку регулярного интерфикса (и.-е. **-o-* > общеслав. **-a-*), продуктивного в новых сложениях. Полученное таким образом общеслав. **kar-a-pъt-ā-*, позднеобществав. диал. **kor-o-pъt-a* (ср. (8i)) косвенно отражено в н.-луж., в.-луж. *kuŕuota* (с *-t-* < **-pt-*) и сев.-русск. диал. *кýропка*, укр. ю.-вост. диал. *кýрiпка*, слвц. вост. диал. *koropka*, имеющих *-pk-* в соответствии с позднеобществав. **-pt-* по ассимиляции с распространенными деминутивными образованиями на *-k-a-*. Соответствующая форма мужского рода, позднеобществав. **koropъtь* (ср. (8a)) предполагается сев.-русск. диал. *кýропоть;* в некоторых говорах эта лексема специально обозначает самца куропатки, в отличие от (предположительно немаркированной по признаку пола) формы женского рода *куропáтка*.

Переразложение общеслав. **karpāt-* произошло и в диалектах, в которых имелись дериваты на **-ŭ-*, что дало позднеобществав. **kor-o-pъty*, acc. sg. *-ъvь*. Эта форма непосредственно отражена чеш. литерат. *koroptev* (ср. (8c)) и косвенно – чеш. диал. *korotva* (||*kuro-*) и моравск. *korotvja* (||*kuro-*) (ср. (8d)), все формы с переходом *-tv-* < **-ptv-*.

Предложенная реконструкция отношений между различными современными

(nom. sg.), 2) **cьrk-ъv-* (косвенные падежи единств. числа, nom. acc. gen. pl., и все формы двойств. числа) и 3) **cьrk-v-* (loc. dat. instr. pl.), ср. **cьrk-ъv-e* 'dat. sg' и **cьrk-v-axъ* 'loc. pl.'. Упрощение этого склонения происходит, как правило, путем обобщения одного из последних двух вариантов: обобщение варианта (2) дает существительные третьего склонения (ср. русск. *церковь*), тогда как обобщение варианта (3) – второго (ср. укр. *церква*).

[45] Обе эти формы демонстрируют изменение *-rC- > -rCr-*, похожее на аналогичное изменение лат. *perdix* > франц. *perdrix*, англ. *partridge*. Дополнительные изменения, представленные в этих словенских формах, труднообъяснимы.

рефлексами протослав. KARPĀ-TA- (муж.), KARPĀ-TĀ- (жен.) представляется логически достаточно последовательной. Она объясняет соотношение польск. *kro-* ‖ вост.-слав. *koro-* как регуля́рный результат развития общеславянских плавных дифтонгов, а также то, почему все диалекты, имеющие рефлексы позднеобщеслав. **-ръı-* имеют одновременно начальное *kor-o-* (‖*kur-o*). Но она последовательна также и с географической и хронологической точек зрения, предполагая простое хронологическое соотношение двух основных ареальных различий между вариантами лексемы, которые могут быть, во всяком случае, приблизительно и схематично, спроецированы на диалектную карту общеславянского эпохи до начала миграций.

Схема 2

Приблизительное географическое размещение общеслав. вариантов протослав. KARPĀ-TĀ- 'белая куропатка' в эпоху до начала славянских миграций

	-Зап.	Вост.
Сев.	**karp-āt-ū*	**karp-āt-ā*
Юг.	**kar-a-put-ū*	**kar-a-put-ā*

На схеме 2 (реконструируемая) южная зона характеризуется переразложением лексемы, вызванным первичной народной этимологией (общеслав. **-pat-* > **-ръı-* 'птица'). Вариант в юго-западном квадрате представлен чешскими и моравскими формами (8b, c, d), юго-восточный вариант выступает в северновеликорусских (8a, i), юго-восточных украинских (8l) и серболужицких (8i) диалектах – последние в этом отношении ведут себя в соответствии с теорией Трубачева о вторичной окцидентализации серболужицкого [Трубачев 1963: 1967; Andersen 1966, раздел 6.1]. Наиболее архаичный вариант в северо-восточном квадрате непосредственно представлен лишь в белорусских и украинских диалектах (8e), но может лежать и в основе других восточнославянских форм (8h). Вариант в северо-западном квадрате отражен основной массой польского и украинского материала (8g), изолированными примерами (8f) и некоторыми двусмысленными рефлексами (8h) в полабском и кашубском на западе и во многих восточнославянских говорах на востоке.

Изменение в **kuro-* по народной этимологии не нашло себе места в этой схеме, поскольку невозможно определить, когда оно произошло и как распространялось на славянских территориях. Укр. *ку́рiнка* (ст.-укр. **korôpta* < позднеобщеслав. **kor-o-ръта*) свидетельствует, что эта народная этимология старше падения редуцированных и фонологизации компенсаторно удлиненного соединительного **-o-*. Будь оно моложе, в неологизме был бы не *i*, а *o*, так как интерфикс *o* сохраняет свою продуктивность в украинском[46]. Слабый намек на возраст новообразования содержит и южнославянский материал. Словенск. диал. *kurnprat* 'вальдшнеп' может указывать на то, что в некоторых диалектах общеславянского изменение в **kuro-* произошло до монофтонгизации дифтонгов, то есть ранее 500 г. н.э., поскольку изменение общеслав. **karpāt-* > **kaur-a-pat-* кажется более правдоподобным, чем позднейшее общеслав. **karpāt-* > **kūr-a-pāt-*, не говоря уже об изменении после метатезы сочетаний с плавными, позднеобщеслав. **krapat-* > **kur-o-*. Если эти соображения справедливы, то можно считать, что изменение по народной этимологии могло произойти в любой момент после введения домашнего куроводства у славян и происходило в разное время в разных диалектах на протяжении последних двух тысячелетий.

[46] Ср. различные реализации интерфикса в относительно недавнем (книжном) укр. *сам-о-званец* (позднеобщеслав. *sam-o-zъv-a-*) и традиционном укр. *мак-і-тра* (позднеобщеслав. **mak-o-tьr-a-* 'посуда для растирания мака'); эффект заместительного удлинения гласного в слоге перед слабым редуцированным наблюдается лишь в традиционной лексике.

3.3.3. Значение протослав. KARPA-TA-

Содержательная сторона реконструируемого протослав. KARPĀ-TA- представляет больше трудностей для анализа.

Исходное слово выглядит как прилагательное, приписывающее денотату некоторый характерный и бросающийся в глаза признак. Возможно, что протослав. KARPĀ-TA- служило табуистической заменой более раннего названия, в отличие от сев.-зап. и.-е. *$(h_1)erb$-i- ныне бесследно утраченного. Другая возможность заключается в том, что это прилагательное первоначально характеризовало белую куропатку, отличая ее от близкой родственницы – серой куропатки. Эта возможность предполагает, что два вида рассматривались как имеющие больше сходств между собой, чем с другими птицами (в частности с еще одним представителем куриных, обитающим на юге лесной зоны, тетеревом *Tetrao tetrix*), что кажется вполне вероятным. Характерно в связи с этим, что общеславянский сохраняет протоиндоевропейское название тетерева (позднеобщеслав. **tetervъ*, др.-прусск. *tatarwis*, лтш. *teteris*, лит. *tētervinas* (муж.) *tetervà* (жен.), др.-исл. *piðurr* 'глухарь', ирл. *tethra*, греч. τετράων 'глухарь', санскр. *tittiras* 'куропатка'). Вполне возможно, что рябчик и белая куропатка считались некогда разновидностями сев.-зап. и.-е *$(h_1)erb$-i. Менее вероятно, что, как и рябчик, белая куропатка играла роль ритуального источника яиц для весеннего праздника плодородия – название ее носит чисто описательный характер и, в отличие от слов для рябчика, не содержит никаких признаков иносказательного языкового поведения.

К сожалению, характерный признак, называемый этим прилагательным, может быть идентифицирован лишь весьма гипотетически. Претендовать на эту роль могут два протославянских корня.

Протослав., протобалт. KĀRPĀ- (лтш. *kařpa-*, лит. *kárpa* 'бородавка') кажется малоподходящим кандидатом. Этот корень усматривается в слвц. *rapavý* 'покрытый рубцами, оспинами', словен. *rapa* 'рубец, оспина (на лице)', укр. *коропáтий, коропáкий* 'шершавый, пупырчатый', эпитет жабы (укр. *коропáта жаба*, блр. *карóпава жаба*), встречается также в иносказательных названиях жабы и лягушки (словен. *krápavica*, укр. *корóна, корóпавка*, диал. *коропáня*, блр. *курáпа*), см. [ЭССЯ, 13:90]. Характерно варьирование акцента, например, закономерное укр. *корóна, корóпавка* (соответствующие балтийским формам) наряду с *коропáтый, коропáвый* и др., вероятно, объясняемыми контаминацией со следующим этимоном.

Другой корень – протослав., протобалт. KERP-, KIRP-/KURP- '*резать' – имеет больше шансов, так как обладает двумя специализированными значениями, позволяющими обозначить одну из двух действительно характерных черт белой куропатки.

Одно из этих специализированных значений представлено в дериватах корня, означающих 'вырезанный кусок ткани, заплата, тряпка' (слвц. *krpa*, словен. *krpa*, сербохорв. *krpa*, макед *krpa*, болг. *кърпá*, позднеобщеслав. **kъrpa*, протослав. KURPĀ-). Оно выступает также в широко распространенном отыменном глаголе протослав. KURPĀ-TĒI 'латать, чинить (одежду)' (польск. диал. *karpać*, чеш. стар., диал. *krpati*, слвц. *krpat'*, словен. *krpati*, сербохорв. *krpati*, болг. *кръпá*, укр. *кóрпáти*, блр. *кóрпáць*, русск. диал. *корпáть*). В современных славянских языках этот этимон выступает исключительно с нулевой степенью корня; однако в литовском представлена ступень *o* в *karpà* 'лоскут, кусок ткани'. Основанное на сходной форме реконструируемое протослав. KARPĀ-TA могло иметь значение 'в заплатах, истрепанный', подмечающее яркую черту облика белой куропатки на протяжении большей части года. Дело в том, что эта птица несколько раз в году линяет (до и после сезона размножения и осенью), причем линьки как бы частично переходят одна в другую.

ЛИНЬКИ. ...У взрослых птиц по окончании периода размножения. Полная линька; начинается в июле, заканчивается в сентябре... В оперении туловища перья головы, шеи, груди и верхней стороны хвоста заменяются пигментированными перьями небрачного наряда. Начиная с сентября среди пигментированных перьев появляются белые; в течение осени все пигментированные перья, включая появившиеся в ходе предыдущей линьки, заменяются на белые... У взрослых птиц перед началом периода размножения. Частичная линька; туловище, внутренние маховые перья второго порядка и центральные перья верхней стороны хвоста, но не остальная часть хвоста и крыльев. Начинается в марте-апреле с горла, шеи и верхней части груди, продолжается на голове, задней стороне шеи и верхней части мантии. У самок заканчивается... в начале мая. У самцов продолжается на протяжении большей части лета и без перерыва переходит в следующую линьку; рассматривается (некоторыми орнитологами) как включающая отдельную линьку в промежутке между весной и осенью [Cramp 1980:404].

Эта экстравагантная, почти перманентная смена нарядов отличает белую куропатку от других птиц лесной зоны, придавая на протяжении большей части года многим или даже всем представителям вида весьма характерную неряшливую расцветку, в одно время года в целом пеструю красно-коричневую, но с примесью белых перьев, в другое – в основном белую, но с выглядывающими из-под белого наряда цветными перьями [Долбик 1974: 36], см. иллюстрации в [Cramp 1980: 400, табл. 46] или в Audubon Society field guide [Udvardy 1977: 268–271]. Не удивительно, что столь яркая зрительная примета могла быть положена в основу описательного названия птицы.

Другое специализированное значение протослав., протобалт. KERP-, KIRP-/KURP- '*резать' представлено разнообразными лексемами, обозначающими различные виды обуви (польск. *kierp, kierpiec* 'кожаный башмак', диал. *karpie* 'башмак на деревянной подметке', чеш. *krpec*, слвц. *krpec*, словен. *kŕpec* 'мокасин', позднеобществ. **кърь*, протослав. KURPI-; ср. др.-прусск. *kurpe* 'башмаки', лтш. *kuŕpe* 'бащмак', лит. *kùrpe* 'башмак') или продолжение обуви, словен. *karp, kŕplja* 'лыжа', сербохорв. *kŕplja* 'снегоступы', *kŕplja* 'лыжи'.

Значения этих возможных родственников протослав. KARPĀ-TA 'белая куропатка' заставляют вспомнить, что в отличие от остальных птиц умеренной лесной зоны, ноги белой куропатки полностью оперены. Относительно короткие плюсны птицы "полностью покрыты перьями, более плотно зимой, чем летом". Оперены и лапы, причем перья "гуще и длиннее зимой, облегчая хождение по снегу" [Cramp *1980: 405*]. Audubon Society field guide, описывая "длинное, густое оперение ног, облегчающее хождение по снегу", употребляет даже термин "snowshoes" ('снегоступы') [Udvardy 1977: 763 и сл.][47]. Именно эта физиологическая особенность белой куропатки отражена греческим словом λαγώπους (-ποδος), используемым ныне как научное название птицы, буквально 'зайцелапая, т.е. мохноногая, как заяц'. В рамках этой гипотетической интерпретации протослав. KARPĀ-TA должно означать 'птица в снегоступах'[48].

Известную сложность для такой интерпретации представляет тот факт, что все известные обувные термины используют нулевую степень корня, тогда как в названии птицы выступает ступень *о*. Необходимо также признать, что оба предложенных объяснения страдают от недостатка собственно славянской лексической поддержки. Кажется странным, на первый взгляд, что протослав. KARPĀ-TA, отражающее продуктивную словообразовательную модель, не может рассматриваться как мотивированное образование. Но следует учесть, что эта модель была продуктивна на протяжении тысячелетий и, хотя некоторые иллюстрирующие ее образования до сих пор сохраняют морфологическую прозрачность, это лишь потому так, что и сами

[47] Некоторым читателям внешность птицы может быть знакома по изображению *Lagopus l. scoticus* на этикетке виски *The Famous Grouse* (blended and bottled by Matthew Gloag and Son Ltd., Perth, Scotland).

[48] Некоторые комментарии относительно символики этих двух гипотетических значений предложены в разделе 5.5.

они (скажем, позднеобщеслав. *ženatъ, *volsatъ), и слова, от которых они произведены (позднеобщеслав. *žena, *volsъ), сохранили без изменения свои значения. Корень, представленный в протослав. KURP-Ā- 'лоскут, заплата' и KURP-I- 'обувь', к которому мы возводим протослав. KARPĀ-TA- 'белая куропатка', сохранился в своем первоначальном значении в современных балтийских языках, ср. лтш. *cìrpt) (cèrpu, cìrpu)*, лит. *kir̃pti (kerpù, kirpaĩ)* 'резать, стричь' и производное лит. *karpà* 'отрезанный кусок ткани'. Но в славянском он испытал радикальные семантические изменения, как в составе глагола (протослав. KERP-/KIRP-, позднеобщеслав. * *čerpti/ čьrpǫti* 'черпать', так и в составе существительного: протослав. KERPA-, позднеобщеслав. * *čerpъ* 'черепок, глиняный горшок'; (ср. [ЭССЯ, 4: 70–74, 13.90]).

Если протослав. KARPĀ-TA- 'белая куропатка' содержит этот корень, что кажется вероятным, необходимо допустить, что данное образование возникло ранее семантического распада семьи слов, к которой оно принадлежало, когда было создано. Но именно такое предположение должно быть сделано и относительно лексем со значениями 'обувь' и 'лоскут', нулевой вокализм рефлексов которых (протослав., протобалт. KURP-) показывает, что лексикализованы они были еще до кодификации новой, продуктивной нулевой ступени корня в протослав., протобалт. KERP-, KIRP-. На этом фоне нет никаких оснований отказывать в столь же глубокой древности и описательному названию белой куропатки, протослав. KARPĂ-TA-, какое бы из гипотетических значений этой реконструкции ни было избрано[49].

3.4. Обобщение

В этом разделе было показано, что разнообразные формы, в которых представлено в славянском мире название (белой и серой) куропатки, не могут быть рефлексами традиционно постулируемого позднеобщеслав. *kuroръty. Вместе с тем допущение, что эта реконструированная форма есть результат народной этимологии, и перенесение акцента на анализ не выводимых из нее реально засвидетельствованных форм, позволяют представить эти последние как отражающие разные стадии последовательной словообразовательно-морфологической эволюции.

В начале протослав. прилагательное KARPĀ-TA- /-TĀ- закрепилось в формах мужского и женского рода как обозначение соответственно самца и самки 'белой куропатки *Lagopus lagopus*'. Предположительным значением этого термина было 'птица в снегоступах', или, возможно, 'птица в заплатах'). Можно полагать, что белая куропатка воспринималась как разновидность куропатки и что это название характеризовало куропатку, отличая ее от ее родственника, рябчика. Возможно, что оно заменило более древнее, табуированное название куропатки, подобно тому как протослав., протобалт. ĒRB-, ĪRB- было заменено эвфемистическим иносказанием протослав. ERĪMB-I-, RĪMB-I 'птичка' во всем славянском (и протобалт. *ERUMB-Ē-, RUMB-Ē-* в части балтийского).

В части общеславянского ареала форма женского рода протослав. KARPĀ-TĀ- была обновлена при помощи продуктивного производного на -Ū-, что дало общеслав. **karpātū-*.

В дальнейшем в южной части ареалов обеих форм, **karpātā-* и **karpātū*, эти два диалектных варианта были переосмыслены, по народной этимологии, как сложения, и гласный второй части слова заменен выступающим в родовом обозначении птицы,

---

[49] Лат. *cŏturnix* 'перепел, куропатка' с виду может быть принято за производное от *cŏthurnus* (греч. κόθορνος) 'греческий охотничий сапог, зашнуровывающийся спереди и закрывающий всю ногу' и может восходить к семантической параллели славянскому 'птица в снегоступах', с последующим переносом значения 'белая куропатка > перепел' (в румынском 'белая куропатка > серая куропатка'). В действительности, однако, латинское слово могло подвергнуться вторичному влиянию со стороны заимствованного греческого обувного термина, поскольку романские языки в целом предполагают исходное **coturnix*, неясного, возможно, 'средиземноморского' происхождения (ср. [Ernout, Meillet 1959, s.v., Battisti, Alessio 1950–1957, s.v. *cotornice;* Cioranescu 1958, s.v. *potîrniche*]).

общеслав. **put-ā-*, что дало общеслав. **kar-a-put-ā-* и **kar-a-put-ū-*. Можно предполагать, что причиной, по которой слово подверглось преобразованию по народной этимологии, были семантические изменения у других слов лексической семьи, к которой оно относилось, прежде всего изменение значения глагола протослав. KERP-TĒI, KIRP-ĀM '*резать, стричь' > 'вычерпывать', оставившее без синхронной мотивации оба первоначально описательных термина, 'заплата' (протослав. KURP-Ā-) и 'обувь' (протослав. KURP-I-), и соответственно, также название птицы.

За редкими уникальными исключениями, вся совокупность современных форм термина может быть произведена от четырех региональных вариантов лексемы (см. схему 2) путем одних лишь регулярных фонетических изменений или путем фонетических изменений и дополнительной народной этимологии, заменившей первый, лишенный значения компонент сложения фонетически сходным протослав. KĀUR-A, позднеобщеслав. **kur-o-* 'курица'.

Эта вторая народная этимология, уподобившая название куропатки названию курицы, может быть датирована лишь весьма приблизительно. Если наблюдения, сделанные в разделе 3.3.2 относительно словен. диал. *kurnprat*, хотя бы отчасти справедливы, эта народная этимология должна была осуществиться в некоторых диалектах общеславянского в эпоху до метатезы сочетаний с плавными, т.е. приблизительно до 800 г. н.э., а возможно, даже раньше монофтонгизации дифтонгов ок. 500 г. н.э. Но в принципе это изменение могло произойти в любое время после введения у славян домашнего куроводства за несколько столетий до начала новой эры (ср. сноску 26).

Эта народная этимология является интересным и несколько ироническим свидетельством революционных изменений, произведенных в славянской культуре появлением домашней курицы. Введение домашнего куроводства резко сократило зависимость населения от диких птиц его естественной среды обитания, бывших на протяжении тысячелетий важным источником пищи. В результате такие птицы, как белая куропатка, которые до этого вполне могли быть, подобно рябчику, наделены символическим значением и таким образом интегрированы в человеческую культуру, скоро утратили свою культурную ценность. Использование названия недавно появившейся домашней курицы для прояснения ставшего затемненным названия 'белой куропатки' было лишь закономерным следствием этого отчуждения важного компонента древней славянской культуры.

Белая куропатка, некогда столь хорошо знакомая древнему славянину как неотъемлемая часть его лесной среды обитания и, вполне вероятно, как один из главных компонентов его весеннего рациона, если не источник ритуальных пасхальных яиц, была истолкована как 'куриная птица' (позднеобщеслав. **kuro-pŕtъ* и т.д.) или даже 'куриное нечто' (позднеобщеслав. **kuro-pata* и т.д.) и таким образом обозначена терминами, которые с тем же основанием (или без основания) могли быть применены и другим птицам семейства куриных, что и случалось в дальнейшем по мере того, как куропатка, недавний пришелец в лесном окружении земледельцев железного века, шаг за шагом расширяла свой ареал к северу, распространяясь на культивируемых территориях прежней лесной зоны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аванесов Р.И. 1968 – К истории чередований согласных при образовании уменьшительных в праславянском // Славянское языкознание. VI международный съезд славистов. Доклады советской делегации. М., 1968.

Аванесов Р.И. и др. 1988 – Общеславянский лингвистический атлас. Серия лексико-словообразовательная. Вып. 1: Животный мир. М., 1988.

Афанасьев А.Н. 1865–1869 – Поэтические воззрения славян на природу: опыт сравнительного изучения славянских преданий и верований в связи с мифическими сказаниями других родственных народов. Т. 1–3. М., 1865–1869.

Баран В.Д. и др. 1991 – Походження слов'ян. Київ, 1991.

Васілевіч У.А. 1989 – Рабінавая ноч // Этнаграфія Беларусі. Энцыклапедія. Мінск, 1989.
Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. 1984 – Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. Т. 1–2. Тбилиси, 1984.
Даль В.И. 1989 (1902) – Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1–4. 6-е изд. М., 1989.
Долбик М.С. 1974 – Ландшафтная структура орнитофауны Белоруссии. Минск, 1974.
Иванов Вяч.Вс., Топоров В.Н. 1974 – Исследования в области славянских древностей. Лексические и фразеологические вопросы реконструкции текстов. М., 1974.
Калинский И.П. 1877 (1990) – Церковно-народный месяцеслов на Руси. СПб., 1877.
Кириков С.В. 1979 – Человек и природа восточнославянских летописей в X-начале XIX вв. М., 1979.
Мельничук О.С. 1982 – Етимологічний словник української мови. Т. 1–. Київ, 1982–.
Подвысоцкий А. 1885 – Словарь областного архангельского наречия. СПб., 1885.
Радзявічюте А. 1987 – К вопросу о взаимосвязи между названиями деревьев и птиц в балтийских языках // Балтистика. № 23.
Ремизов А. 1994 – Павлиньим пером. СПб., 1994.
Рыбаков Б.А. 1981 – Язычество древних славян. М., 1981.
Соболевский А.И. 1891 – Из вновь открытого древнерусского поучения домонгольской эпохи // Живая старина. 1891. Вып. 4.
СРЯ – Словарь русского языка. Т. 1–4. М., 1957–1961.
СРНГ – Словарь русских народных говоров / Под ред. Ф.П. Филина и П.Ф. Сороколетова. Т. 1–. М.; Л., 1965–.
ССРЛЯ – Словарь современного русского литературного языка. Т. 1–17. М.; Л., 1950–1967.
Топоров В.Н. 1982 – Петух // Мифы народов мира. Т. 2. М., 1982.
Трубачев О.Н. 1963. – О праславянских лексических диалектизмах серболужицких языков // Серболужицкий лингвистический сборник. М., 1963.
Трубачев О.Н. 1967 – Из славяно-иранских лексических отношений // Этимология 1965. М., 1967.
Черных П.Я. 1993 – Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. 1–2. М., 1993.
ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков/Под ред. О.Н. Трубачева. Т. 1. 1974.
Andersen H. 1986 – Protoslavic and Common Slavic: questions of periodization and terminology // Slavic linguistics, poetics, cultural history. In honor of Henrik Birnbaum on his sixtith birthday, 13 december 1985 (=International journal of Slavic linguistics and poetics. 31/32). Columbus, Ohio. 1986.
AHL – The american heritage dictionary of the English language (3-th ed)/Ed. by A.H. Soukhanov et al. Boston; N.Y.; L. 1992.
Andersen H. 1996 – Reconstructuring prehistoric dialects. Initial vowels in Slavic and Baltic. B., 1996.
Anttila R. 1969 – Proto-Indo-European Schwebeablaut. Berkeley; Los Angeles, 1969.
Battisti C., Alessio G. 1950–1957 – Dizionario etimologico italiano. I-V. Firenze, 1950–1957.
Beekes R.S.P. 1995 – Comparative Indo-European linguistics. An introduction. Amsterdam, 1995.
Bezlaj F. 1976 – Etimološki slovar slovenskega jezika. A-J. Ljubljana, 1976.
Bezlaj F. 1982 – Etimološki slovar slovenskega jezika. K-O. Ljubljana, 1982.
Brückner A. 1974 – Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1974.
Buck C.D. 1949 – A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages. Chicago; L., 1949.
Cioranescu A. 1958 – Diccionario etimológico rumano. Tenerife, 1958.
Cramp S. et al. 1980 – Handbook of the birds of Europe, the Middle East and North Africa. The birds of Western Palearctic. II. Hawks to bustards. Oxford, 1980.
Cramp S. et al. 1988 – Handbook of the Birds of Europe, the Middle East and North Africa. The birds of Western Palearctic. V. Tyrant flycatchers to thrushes. Oxford, 1988.
Digard J.-P. 1990 – L'homme et les animaux domestiques. Anthropologie d'une passion. P., 1990.
Endzelin J. 1923 – Lettische Grammatik. Heidelberg, 1923.
Ernout A., Meillet A. 1967 – Dictionnaire étymologique de la langue latine. Histoire des mots. P., 1967.
Fraenkel E. 1962–1965 – Letauisches etymologisches Wörterbuch. I–II. Heidelberg, 1962–1965.
Frisk H. 1960–1973 – Griechisches etymologisches Wörterbuch. I–II (2-te Aufl.). Heidelberg, 1960–1973.
Gattiker E., Gattiker L. 1989 – Die Vögel im Volksglauben. Eine volkskundliche Sammlung aus verschiedenen europäischen Ländern von der Antike bis heute. Wiesbaden, 1989.
Hehn V. 1885 (1976) – Cultivated plants and domesticated animals in their migration from Asia to Europe: Historico-linguistic studies / New edition prepared with a bio-bibliographical survey of Hehn and a survey of the research in Indo-European prehistory by James P. Mallory. (=Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. 7). Amsterdam, 1976. (*1-е англ. издание: The wanderings of plants* and animals from their first home. L., 1885).
Holzer G. 1989 – Entlehnungen aus einer bisher unbekannten indogermanischen Sprache im Urslavischen und Urbaltischen (=Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophischhistorische Klasse. Sitzungsberichte. 521). Wien, 1989.

Hulten E. 1971 – Atlas över växternas utbredning i norden. Fanerogame och ormbunksväxter. Stockholm, 1971.
Kay P., McDaniel Ch.K. 1978 – The linguistic significance of the meanings of basic color terms // Language. 1978. V. 54.
Kluge F., Götze A. 1953 – Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache (16-te Aufl.). Berlin, 1953.

Lettenbauer W. 1981 – Der Baumkult bei den Slaven. Vergleichende volkskundliche kultur- und religionsgeschichtliche Untersuchung (=Selecta Slavica. 6). Neuried, 1981.
Løppenthin B. 1967 – Danske ynglefugle I fortid og nutid. Historiske og faunistiske undersøgelser over fuglenes indvandring, forekomst og livsvilkår i Danmark. Odense, 1967.

Machek V. 1954 – Česká a slovenská jména rostlin. Praha. 1954.

Miklosich Fr. 1970 – Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Amsterdam, 1970 (Repr.: Vienna, 1886).
Moszyński K. 1967 – Kultura ludowa słowian. T. II. Kultura duchowa. Część 1 (2-е изд.). Warszawa, 1967.
NCE – Harris W., Levey J.S. (ed.) The New Columbia encyclopedia. N.Y.; L., 1975.
Newall V. 1971 – An egg at easter. A folklore study. L., 1971.
OED – The compact edition of the Oxford English dictionary. I–II. Oxford, 1971.
Pokorny J. 1959–1969 – Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. I–II. Bern; München, 1959–1969.
Popowska-Taborska H. 1984 – Z dawnych podziałów Słowiańszczyzny. *Słowiańska alternacja (j)e-: o-*. Wrocław, 1984.
Rozwadowski J.M. 1915 – Przyczynki do historycznej gramatyki języków słowiańskich // Roc. Slawistyczny. T. 7. 1915. (=Reprinted in his "Wybor pism" / T. II. Językoznawstwo indoeuropejskie. Warszawa. 1961).
Schrijver P. 1991 – The reflexes of the Proto-Indo- European laryngeals in Latin. Amsterdam; Atlanta, 1991.
Schuster-Šewc H. 1987 – Zu den ethnischen und linguistischen Grundlagen der westslavischen Stammesgruppe der Sorben/Serben // Studia nad etnogenezą Słowian i kulturą Europy wcześnośredniowiecznej. I. Wrocław, 1987.
Sheaghdha N.N. (ed.) 1967 – Tornigheacht Dhiarmada agus Ghrainne. The Pursuit of Diarmaid and Grainne. Dublin, 1967.
Shevelov G.Y. 1965 – A Prehistory of Slavic. The historical Phonology of Common Slavic. N.Y., 1965.
Skok P. 1971–1974 – Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. I–IV. Zagreb, 1971–1974.
Šmilauer V. 1970 – Prírucka slovanské toponomastiky / Handbuch der slawischen Toponomastik. Praha, 1970.
SP – Słownik prasłowiański. 1–. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1974–.
Squire Ch. 1979 – Celtic Myth and legend, poetry and romance. N.Y., 1979.
Udvardy M.D.F. 1977 – The Audubon Society's Field Guide to North American Birds. Western Region. N.Y., 1977.
Vaillant A. 1958 – Grammaire comparée des langues slaves. T. II. Morphologie. Première partie: Flexion nominale. P.; Lyons, 1958.
Vasmer M. 1953–1957 – Russisches etymologisches Wörterbuch. I–III. Heidelberg, 1953–1957.
Vėlius N. 1989 – The world outlook of the ancient Balts. Vilnius, 1989.
Wajda-Adamczykowa L. 1989 – Polskie nazwy drzew. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź, 1989.
Winter W. 1978 – The distribution of short and long vowels in stems of the type Lith. *ėsti: vėsti: mėsti* and OCS *jasti: vesti: mesti* in Baltic and Slavic languages // Recent developments in historical phonology / Ed. J. Fisiak. The Hague; P.; N.Y., 1978.
Yeatman L.J. 1971 – Histoire des oiseaux d'Europe. P.; Montreal, 1971.

Перевел с английского *А.А. Гиппиус*

(Продолжение следует)

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1996

© 1996 г. К.А. ПЕРЕВЕРЗЕВ

СЕМАНТИКА КАУЗАЦИИ НА ФОНЕ ЛЕКСИЧЕСКОЙ И ПРОПОЗИЦИОНАЛЬНОЙ ТИПОЛОГИЙ

В семантике индоевропейских языков, рассматриваемой с типологической точки зрения, имеется обширная область, которую можно — до некоторой степени условно — обозначить термином каузативность. Конфигурация этого фрагмента семантики поддерживается постоянным присутствием в жизненном цикле идеи номических связей двух явлений, где первое является причиной, второе — следствием, и наличием в языках разнообразных средств, выражающих эту идею.

Каузальные ситуации формируют семантику каузации в сфере предикатных значений и получают выход в лексику. Однако типологическая суть этого фрагмента именно в том, что одна и та же область семантики (т.е. плана содержания) в каждом языке покрывается различным набором типизированных лексических единиц (т.е. имеет различные конфигурации в плане выражения).

В настоящей статье, в первом разделе (I), опираясь на работы некоторых авторов [Типология... *1969*; Савичюте *1980: 14—19*; Степанов *1988*; *1989*], охарактеризуем эту проблему типологически, как фон нашего дальнейшего рассуждения, и опишем круг относящегося к ней русского материала, имея в виду типологию лексем. Отправным пунктом здесь будет каузальная ситуация и способы ее выражения в языке.

Во втором разделе (II) мы будем говорить о типологии пропозиций, которая выстраивается по линии соотносительных типов предикатов, формирующих их. Главная проблема состоит в том, что лексикализованные предикаты и формируемые ими пропозиции, обслуживающие семантическую область каузации и служащие обозначению каузальной ситуации, определенным образом поляризованы в системе языка. В русском языке такими поляризованными единицами (классами лексикализованных предикатов) являются каузативы (класс каузативных *предикатов*) и *рефлексивы* (*класс* рефлексивов — о нюансах терминологии речь пойдет ниже). Семантика каузации по-разному распределена между ними, и создаваемые ими "образы" ситуации неравновесны. Лексическая типология дополняется типологией ситуаций и пропозиций. В фокусе внимания оказывается, таким образом, структура ситуации и ее преломление в сознании субъекта (ее "изменчивый образ").

Итак, если в первом разделе "образ" ситуации предполагается как бы изначально заданным — ситуация предстает "свободной" от редукционизма любых факторов (эпистемических, прагматических и других), то во втором — как раз важны его "подвижные черты". Эпистемология ситуации становится предметом описания. Очевидным образом изменяется и само понятие ситуации. Отсюда — неизбежность одной семантической "нестыковки", на которую сразу важно указать.

Перемещение исследовательского фокуса, эмпатии исследователя с системы языка (в разделе I) на фигуру воспринимающего ситуацию субъекта (в разделе II) влечет различия в способах интерпретации семантики русских рефлексивов. Фактам лексической типологии индоевропейских языков противоречит взгляд на семантику

рефлексивов как содержащую каузативный элемент. Так, дефиниция А. Вежбицкой "X умер = нечто, что можно сказать об X, каузировало X стать неживым" [Wierzbicka 1980: 172] — плод "тренированной интроспекции" исследователя, отождествления собственной позиции с фигурой говорящего — противоречит интуиции типолога.

Проблема снимается, если учитывать, что различия лексической и пропозициональной типологий — с введением последней в оборот прагматических и эпистемических факторов — происходят от разности исходных установок. Тогда и классическая формула "*убить* = каузировать *умереть*" может предстать не столь однозначной, как иногда полагают.

Основаниями типологии "образов" ситуации и соотносительных с ними пропозиций будут два различительных параметра — степень определенности каузатора и его положение относительно объекта каузации, или субъекта каузируемого состояния. Мы стремимся показать, что системная поляризованность каузативов и рефлексивов обусловлена не столько внутренними смыслами соответствующих языковых форм, сколько — и прежде всего — самими ситуациями.

Понятие ситуации относится к числу базовых для статьи теоретических концептов. Оно, как отмечено, различается в разделах I и II. Поэтому целесообразно определить его заранее; другие же понятия будут разъясняться в дальнейшем изложении.

В лингвистический обиход понятие ситуации широко вошло с распространением в лингвистике теории референции. Референция к ситуациям отграничивает единицы пропозитивной семантики (прежде всего предложения и высказывания, а также непредметные имена и именные группы) от единиц с предметным значением, отсылающих к объектам. Вопрос об определении понятия ситуации в теории референции не ставился и был бы столь же абсурдным, как если бы имели место опыты лингвистического определения его антипода — понятия объекта (применительно к нуждам теории референции).

Однако попытки истолкования и формализации понятия ситуации предпринимались в логической теории. Поэтому в рамках данной статьи естественно ограничиться указаниями на две традиции в интерпретации этого понятия в логике, созвучные тому, как оно используется нами.

Определение понятия ситуации релевантно для так называемой "ситуационной семантики". В ее рамках различаются "реальные" и "абстрактные" ситуации. О первых Дж. Барвайс и Дж Перри пишут: "Мы всегда находимся в тех или иных ситуациях. Человеческая познавательная деятельность выделяет в этих ситуациях категории объектов, имеющих атрибуты и находящихся в отношениях друг к другу в своих локусах — связных областях пространства-времени" [Барвайс, Перри 1987: 264—265]. Такое понятие ситуации очевидным образом соответствует онтологическому, где ситуация представляет собой фрагмент мира, выделенный из жизненной сферы.

Абстрактные ситуации теоретически репрезентируют множество реальных ситуаций [Петров, Переверзев 1988: 5]. Элементарными (первичными) признаются реальные ситуации, принадлежащие — что важно подчеркнуть — реальному миру. Абстрактные ситуации не принадлежат миру: они "о мире"; они — его абстрактная математическая модель. Примером абстрактной модели будет каузальная ситуация с ее универсальной логической структурой. Именно в таком виде используется это понятие в разделе I.

Ситуационная семантика концептуально отличается от "семантики возможных миров". Однако отличия, как показали В.В. Петров и В.Н. Переверзев [1988: 24—25], не свидетельствуют о противопоставленности их систем. Для понятия же ситуации расхождения между семантиками оказываются релевантными.

В семантике возможных миров элементарным (первичным) является понятие возможного мира. Возможный мир не тождествен реальному, а ментально существует на равных правах с ним. Возможные миры рассматриваются и как "возможные ситуа-

ции" и как "возможные положения дел". Объемы понятий "мир" и "ситуация" в семантике возможных миров не различаются [Петров, Переверзев 1988: 24].

В каузальном анализе Г.Х. фон Вригта, рассматривающем возможные миры в их динамике, ретроспективе, "истории", в качестве первичного используется понятие "состояние мира". Множество состояний формирует мир, его "историю". Наше понятие ситуации в разделе II близко к понятию состояния (возможного) мира у фон Вригта [фон Вригт 1986]. Таким образом, каузальная ситуация — во "втором" понимании — является частью возможного мира.

Итак, в разделе II мы оперируем двумя понятиями — "мир" и "ситуация", рассматривая и то и другое с эпистемической точки зрения, т.е. объема информации, знаний человека (говорящего) о них. Их эпистемические "образы" будут предметом нашего внимания.

I

Идея каузальной связанности событий состоит в том, что некоторое свойство субъекта одного события — свойство в самом широком смысле — стимулирует в субъекте другого события определенную реакцию. По логике вещей, каждому событию, в котором активный субъект каузирует возникновение, становление или развитие какого-либо признака (например, *Человек валит дерево*), должно имплицативным образом соответствовать событие, центром которого является субстанция, испытавшая воздействие этого субъекта. Ей и предицируется статический или динамический признак (*Дерево падает, валится*).

Типология лексических средств выражения семантики каузации отновывается на идее о том, что любая каузальная ситуация может быть описана по крайней мере с двух сторон — со стороны действующего субъекта каузации или со стороны ее объекта. Другими словами, каждому лексикализованному предикату, обозначающему каузацию признака в объекте, должен соответствовать другой лексикализованный предикат, называющий эффект каузального воздействия. Предикаты первого типа традиционно называют к а у з а т и в а м и, предикаты второго типа мы условно обозначим как р е ф л е к с и в ы.

Здесь нужна одна терминологическая оговорка. Термин "рефлексив" — в его традиционном употреблении — характеризует план выражения глагольного предиката. Его распространением на все глаголы с аффиксом *-ся* русистика обязана А.М. Пешковскому [Пешковский 1956]. Класс же интересующих нас лексем в значительной степени смещен относительно формально-рефлексивного.

Во-первых, в оборот вводятся непроизводные глаголы типа *пить, сидеть, стынуть, гибнуть, сохнуть, мерзнуть, течь, гореть* и др., соотносительные с каузативами *поить, садить, студить, губить, сушить, морозить, точить (воду), жечь* и не являющиеся рефлексивами в указанном выше понимании.

С другой стороны, многие рефлексивы не попадают в семантическую сетку отношений "каузатив — рефлексив", особенно так называемые "автокаузативы" (*подняться, застрелиться, спрятаться, бросаться*), "абсолютивы" (*лягаться, драться, толкаться, ругаться, кусаться*), реципроки (*целоваться, обниматься*) и пр.

Другой терминологический путь состоит в использовании префиксальных производных термина "каузатив", ср. исчисление "некаузативного", "декаузативного" значений рефлексивов (!) в работе И.Б. Долининой [Долинина 1991]. Этому пути мы не следуем по той причине, что значения не- и декаузативные в паре "каузатив — рефлексив" нами не усматриваются (см. раздел II).

В пользу термина "рефлексив" можно привести следующий аргумент. В современном русском языке (шире — в современных славянских, в отличие от балтийских [Степанов 1989: 137]) глаголы, описывающие каузируемое состояние неактивных субъектов (прежде всего вещей), большей частью морфологически производны от

каузативов. Они образуются добавлением к исходному глаголу аффикса *-ся*, то есть являются формально-рефлексивными. Именно поэтому предпочтение мы отдаем термину "рефлексив".

Оформление класса русских глаголов с аффиксом -ся, выражающих сосредоточенность действия в субъекте, — процесс исторически наблюдаемый (см. [Марфунина 1970]). А типологическая тенденция к замещению более древних глаголов каузируемого состояния *исторически позднейшими рефлексивами (с тем же значением)* прослеживается и в современной русской лексике. Ср. остатки старых оппозиций типа *сушить — сохнуть, морозить — мерзнуть*, а также *торопить — спешить*, где в современном языке наблюдается дублетность форм: *сохнуть* и *сушиться, мерзнуть* и *морозиться, спешить* и *торопиться*; ср. также *гордиться*, при исчезнувшем *гордеть* "гордиться", зафиксированном В.И. Далем и И.И. Срезневским как *гордѣть* и *гърдѣти* = *гордѣти* соответственно. Современный рефлексив *садиться* — производный от каузатива *садить* — заместил собой древний глагол *сѣдати* (несов. вид, его коррелят сов. вида *сѣсти* — современное *сесть*).

Итак, каузативы и рефлексивы (последние — в указанном понимании) образуют *бинарные оппозиции*, типизируя оба фланга каузальной ситуации. Теоретически возможно предположить, что любая каузальная ситуация будет описываться в языке набором из двух типизированных лексических единиц (конфигурацией двух *лексикализованных предикатов*).

Факты типологии индоевропейских языков обнаруживают четыре типа соотношения лексических единиц в выражении ими каузальной семантики. (В работах [Степанов 1988; 1989] эти соотношения имеют вид троичных оппозиций — в соответствии с тремя основными типами индоевропейского предложения — и потому в системе этого автора их шесть.) Современный русский язык, выступающий в данном случае языком иллюстраций, сохранил в своей системе все типы конфигураций.

Конфигурация 1. Каузатив и рефлексив — разные лексемы: *жечь — гореть, класть — лежать, топить — таять, валить — падать*.

Конфигурация 2. Каузатив — одна лексема, рефлексив — не имеет самостоятельного лексического выражения: *греть — греться, валить — валиться, варить — вариться, сыпать — сыпаться, пахать — *пахаться (поле пашется), рыть — *рыться (земля легко роется)*.

Конфигурация 3. Каузатив и рефлексив — одна и та же лексема: *гнать (Пастух гонит стадо — Стадо гонит во весь опор), поворачивать (Ямщик поворачивает бричку — Бричка поворачивает)*, ср. англ. *to boil* "кипятить, кипеть", *to dip* "погружать, окунать, быть погруженным".

Конфигурация 4. Каузатив и рефлексив — разные лексемы, но одного корня: *сушить — сохнуть, морозить — мерзнуть, садить — сидеть* и др. Именно для **Конфигурации 4** характерна в современном русском языке дублетность форм, ср. *человек сохнет* (но не *?сушится*, если даже его кто-то *сушит*), а *одежда* (если ее специально сушат) скорее *сушится*, чем *сохнет*; человек *мерзнет*, но мясо *морозится* и т.д.

Однако преобладающей в русском языке оказывается тенденция к выстраиванию оппозиции "каузатив — рефлексив" по **Конфигурации 2:** *варить — вариться, валить — валиться, дробить — дробиться, лить — литься* (из *точить — течь*), *плавить — плавиться* и под. Эта тенденция оказывается настолько сильной, что в функции соотносительного рефлексива нередко (окказионально) выступают глаголы *страдательного значения*, ср. распространенные реплики типа **Вопрос обмозговался, обдумался* по аналогии с узуальным *Вопрос решился (сам собой)*.

Если балтийские языки, например литовский, оформляют рассматриваемую оппозицию по **Конфигурации 4** (ср. *berti — birti* "сыпать — сыпаться", *skelti — skilti* "колоть

— колоться", *skiesti — skysti* "разбавлять — разжижаться", *iežti — ižti* "лущить — лущиться"), т.е. как эквиполентную [Степанов 1989: 134], русский язык представляет ее как привативную, где маркированным (сильным) членом выступает каузатив.

Производный характер современных русских рефлексивов, все исторические замещения форм и современная дублетность свидетельствуют об исконной слабости, неполной типизированности в русском языке того фрагмента семантики каузации, который обозначается рефлексивами.

II

Современная теоретическая лингвистика в силу сложности своего объекта описания — языка — ищет опору в логико-философских концепциях. В свою очередь последние в верификативных целях привыкли обращаться к языку, пытаясь в нем найти "естественные" аналоги своих концептов. В использовании методологии и методики лингвистики при решении философских проблем известны значимые для самой лингвистики результаты (ср. открытие категории "факт" с помощью дистрибутивного анализа З. Вендлером [Vendler 1967]).

Складывающаяся на этом фоне дисциплина — философия языка — призвана придать законченную (и "законную") форму этим отношениям. Нижеследующие замечания вызваны потребностью гармонизировать положение дел в одной сфере приложения сил логиков, философов и лингвистов.

Особенность познавательной ситуации — в поэтапности, постепенном освоении ее дифференциальных черт. На каждом этапе (или уровне) к известному добавляется новое, вновь приобретенное увязывается с уже имеющимся. При этом эпистемический фон познающего субъекта непременно трансформируется. В движении от предположения к знанию человеческая мысль пренебрегает фактором целостности мира.

Принципиальная "непрозрачность" мира вызвала к жизни философскую феноменологию в лице Э. Гуссерля, М. Мерло-Понти и др. Эпистемический фон лежит в основе некоторых логических систем. Небезразличен фактор знания для каузального анализа, как он интерпретируется в системе Г.Х. фон Вригта. Любые теории обработки и использования знаний ведут к умножению сущностей. Поэтому эпистемически-ориентированный каузальный анализ выполняет миропорождающую функцию, обращаясь к понятию возможного мира и семантике возможных миров.

Объяснение фрагментов "истории" возможного мира состоит в учете всех условий реализации его промежуточных состояний. Естественно, эти условия необходимо з н а т ь , чтобы творимая "история" имела объяснительную силу. И суть каузального анализа по фон Вригту — в преимущественно ретроспективном "раскручивании" цепочки обусловленных и з в е с т н ы х состояний в системе мира. Его эпистемология "находит отражение в операции расширения начальных фрагментов системы либо путем включения дополнительных элементов в пространство состояний, либо посредством рассмотрения большего числа стадий в развитии систем" [фон Вригт 1986: 219]. Осведомленность субъекта о ситуации — знание или незнание ее фрагментов, ее истока и предела — находит выражение в конструируемом отрезке возможного мира, куда она включена.

Градуированность знания задает множественность возможных интерпретаций ситуации, а следовательно — и спектр возможных, "ментальных", миров, протяженный по эпистемической шкале [Степанов 1994].

В каждом мире действуют свои законы, потому что "власть" в них принадлежит разным причинам. Последние формируют собственную семантику, естественно градуированную по линии выделенности причин из каузального фона, определенности.

Эпистемический фактор регулирует жизненную практику, ограничивает поведение, в том числе и вербальное. Эпистемические "пробелы", возникающие на пути осмысления каузальных ситуаций, мешают полноте мотивировок. Незнание вуалируют, о

нем не сообщают; к знанию всегда апеллируют. Например, в ответ на вопрос: *"Почему ты так плохо работаешь?"* можно услышать: *"Скверно себя чувствую"* или *"Что-то сегодня не работается"*. Первый вариант ответа строится по принципу "из-за" (because of), второй — "никто не может сказать почему" (one couldn't say why). Эти классификаторы, заимствованные нами из метаязыка А. Вежбицкой [Wierzbicka 1988], отражают уровни знаний говорящего, оказавшегося перед необходимостью предъявления причин.

Наконец, тот или иной "образ" ситуации, взятый в контексте возможного мира, "схвачен" средствами обслуживающего этот мир языка. Ниже речь пойдет о семантическом "д в о е м и р и и " по линии определенности/неопределенности семантики каузации, выражаемом поляризованными единицами языка — каузативами и рефлексивами.

Истоки "двоемирия" в том, что семантика каузации, включая в себя все атрибуты процесса каузации — его актанты и сирконстанты, — неравномерно распределена между нами. Она варьирует при изменении смыслового объема ("образа") ситуации, причем варьирование заключается в отбрасывании эпистемически (и прагматически) нерелевантных атрибутов ситуации, т.е. уменьшении общей с другими мирами части ее свойств.

При движении в обратном направлении смысловой объем ситуации обогащается введением новых ее актантов. Как будет видно, усложнение "образа" ситуации происходит не путем простого прибавления нового знания к уже имеющемуся. Мир, где неполнота знания о субъекте каузации приводит к его невыделенности из каузального фона, противоположен другому миру, в котором субъект известен и определен, отнюдь не только по линии определенности черт субъекта. В обоих различен каузальный фон, а соответственно — и природа каузирующих субъектов. То же можно сказать применительно к любому компоненту ситуации, подпадающему под эпистемическую редукцию. При переходе из одного мира в другой прежние импликации непременно погашаются, а узнавание новых черт влечет перемену взгляда на ситуацию в целом.

В языке отмеченная закономерность проявляется в различиях условий истинности высказываний, принадлежащих разным мирам. Так, об одном мире можно сказать: *"Он уже собирался произвести последний и самый блистательный вольт, поместив в газету объявление, что меняет шесть комнат в разных районах Москвы на одну пятикомнатную квартиру на Земляном валу, — как его деятельность, по независящим от него причинам прекратилась"* (М. Булгаков), как и, о том же мире: *"...как обстоятельства прекратили его деятельность"*. Однако, употребив высказывание без каузальной ремарки — использовав рефлексивную пропозицию *...как его деятельность прекратилась*, — мы расширим его экстенсионал и получим описание другого, нетождественного первому мира. Последнему принадлежит и ситуация с каузирующим субъектом *он* (т.е. "его деятельность прекратилась из-за него; он сам прекратил свою деятельность"). Тогда высказывание о положении дел в первом мире применительно к миру второму не всегда даст описание истинного положения дел. Ведь оно не приложимо к ситуациям так называемой "внутренней" каузации (см. ниже).

Очевидно, что оба типа пропозиций (*обстоятельства прекратили его деятельность* и *его деятельность прекратилась*) имплицируют различный, хотя и пересекающийся, каузальный фон. И набор потенциальных каузаторов в них неодинаков.

Типология пропозиций по линии предикатов, соответствующая эпистемически значимым фрагментам типологии каузальных ситуаций, может быть продлена. В первом приближении проступают такие ее контуры.

В русском языке выстраивается ряд пропозиций, которые фиксируются следующим образом: *Собеседники прервали разговор* (каузативная) — *Разговор прервался* (рефлексивная) — *Что случилось? — Прервалось* (безличная). Они градуируются по

линии постепенного удаления актантов ситуации: каузативная пропозиция включает субъект каузации и ее объект, из рефлексивной уходит фигура каузатора, безличность освобождает ситуацию от мыслимого набора актантных ролей. Возможно также — в этом противопоставлении — и семантическое градуирование по линии субъекта внутри рефлексивного типа пропозиции: *Разговор прервался — Связь прервалась.* Однако типология субъектов здесь рассматриваться не будет. Обратимся к двум первым типам пропозиций — каузативным и рефлексивным.

* * *

Традиционно при описании семантики рефлексивов используется дескрипция "замкнутость действия в сфере субъекта". Сама "замкнутость", хотя и в широком смысле, служит своеобразным дифференциальным признаком, выделяющим называемый рефлексивами тип ситуации из массы других, и прежде всего — именуемых каузативами.

Пара "каузатив — рефлексив" в семантико-синтаксическом ключе представлена в литературе довольно единообразно: несмотря на широту спектра возможных семантических сдвигов — впрочем, весьма неодинаковую в работах разных авторов, — регулярность устранения каузативного значения при формальной рефлексивизации каузативов является в исследованиях общим местом.

Обычно это связывают с тем (или же исходят из того), что рефлексивная и каузативная пропозиции (в отличие, скажем, от оппозиции актива и пассива) называют две различные ситуации ("ситуация" здесь понимается в первом, онтологическом, смысле — как фрагмент реального мира). Так, ситуация *"Занавес опустился"* в силу тех или иных причин осмысляется как автономная от ситуации *"Служитель опустил занавес"*. А пары *Он отвязал собаку — Собака отвязалась; Он рассердил ее — Она рассердилась* и др. показывают: "рефлексивная конструкция отражает независимую от каузации ситуацию, никак с ней не связанную" [Долинина 1991: 328—329].

Наша же позиция резюмируется следующим образом: каузативные и рефлексивные пропозиции в данном случае обозначают одну и ту же реальную ситуацию. И хотя з н а н и я говорящего о ситуациях, стоящих за каузативными и рефлексивными пропозициями, различны, они различаются лишь объемом признаков и полностью накладываются друг на друга или, во всяком случае, пересекаются.

Мы говорим *Собака отвязалась*, когда информация о виновнике ситуации нам неизвестна, когда виновник невычленим из каузального фона, а также в тех случаях, когда употребление конструкции *Он отвязал собаку* кажется прагматически неуместным. Инвариантом же здесь является одна наблюдаемая (реальная) ситуация "собака отвязана".

Мы говорим *X умер*, хотя хорошо знаем, кто *убил X-а*. В ситуации дознания презумпция невиновности запрещает "лобовые" обвинения, а дескрипция *убийца* в норме судопроизводства позволительна лишь в его финальной части. Аномальность ситуации заставляет использовать предикаты широкой семантики — *умереть (от руки убийцы)*, *погибнуть* — в тех текстах, куда его партнер *убить* невхож по законам жанра [Арутюнова 1988: 298—315].

Мы сообщаем о событии, хотя его причины нам неясны. Высказывание *X был убит*, занимающее вершинное место на шкале знания, налагает на автора определенные эпистемические обязательства. Его экстенсиональное пространство регламентировано, в то время как экстенсионал выражения *X умер* более размыт. Поэтому рискующий ошибиться скорее выберет из двух высказываний второе.

Итак, каузативы и рефлексивы дают высказывания, квалифицируемые говорящим в терминах их адекватности обозначаемым ситуациям. За ними стоит один онтологический ряд, и потому они способны стать объектами выбора. Мы убеждены, что это одна наблюдаемая (реальная) ситуация, но только каждый раз по-разному

интерпретированная. Она включается говорящим в разные миры, причем так, что в одном случае образуется мир полного, в другом — "ущербного" знания. Степень "освоенности мира" и нормы речевой практики играют здесь первостепенную роль.

* * *

Такой подход заставляет по-другому трактовать семантическую оппозицию каузатива и рефлексива. За внешними грамматикализованными их различиями видны категориальные семантические сходства: их значениям в равной степени оказывается имманентным каузативный элемент.

Впервые эта точка зрения была систематически изложена в статье А. Вежбицкой "Why "kill" does not mean "cause to die": the semantics of action sentences", вошедшей затем в книгу "Lingua mentalis" [Wierzbicka 1980].

Отправным пунктом работы А. Вежбицкой явилось заявление о том, что формула толкования *"убить* = каузировать *умереть"*, приводимая многими лингвистами в качестве примера каузативного значения, на самом деле небезупречна. Помимо прочих недостатков, эта формула ничего не сообщает о действительном соотношении *убить* и *умереть*. По мнению А. Вежбицкой, последние не различаются по признаку наличия/отсутствия каузативных компонентов в значении: каузальные отношения представлены в семантических структурах обоих глаголов, и недостаток существующих описаний состоит в том, что у глагола *умереть* они не фиксируются [Wierzbicka 1980: 172].

Эксплицируя каузативное значение в глаголе *умереть*, А. Вежбицка идет вслед за Э. Бенвенистом, утверждавшим: "В активном залоге глаголы обозначают процесс, который исходит из субъекта и развивается вовне. В среднем залоге... глагол указывает процесс, который развивается в субъекте; субъект является внутренним по отношению к процессу" [Бенвенист 1974: 188]. Если учесть, что *умереть (to die)* — "генетически медиальный" глагол (ср. латинское *morior*, классический представитель глаголов группы media tantum, с тем же значением), становится ясно, что сказанное о среднем залоге приложимо и к нему.

Важной в работе А. Вежбицкой является семантическая дескрипция, используемая для экспликации "внутренних" каузальных отношений. Если З. Вендлер, отстаивая непредметный статус объектов, входящих в каузальную связь, предлагает восстанавливать в предложении *John caused the disturbance* предикат *doing — John's doing something caused the disturbance* [Vendler 1967: 174], А. Вежбицка идет дальше. Разделяя мнение о том, что каузальные отношения существуют между положениями дел (то есть пропозиционально ориентированы), она предлагает формулу "неспецифицированного предиката", работающую и в предложениях с неактивным субъектом, — "нечто, что можно сказать о" (something sayable about)[Wierzbicka 1980: 172—173, 183]. Тогда значение конструкции *"X умер"* описывается следующим образом: *"X умер* = нечто, что можно сказать об *X*, каузировало *X* стать неживым" [Wierzbicka 1980: 172].

По А. Вежбицкой, различение "внутренних" (internal) и "внешних" (external) каузаций — и это важно подчеркнуть — основывается не на апелляции к свойствам и отношениям объективной ситуации, а определяется точкой зрения говорящего ("...is often a matter not of objective differences in observable reality, but of the speaker's point of view") [Wierzbicka 1980: 171]. Это замечание, ассоциируемое с идеями философской феноменологии, объясняет принадлежность каждого члена данной оппозиции разным возможным мирам.

Вычленение в значении медиального глагола каузативного компонента побуждает А. Вежбицку пересмотреть известные представления о каузативных глаголах. К ним, по ее убеждению, наряду с традиционными глаголами, соответствующими русским *убить, сломать* относятся "медиальные" *умереть, сломаться*, а также *есть, читать, мыть, копать, кипятить* ("basically transitive verbs", по Дж. Лайонзу). К

каузативам А. Вежбицка относит и интранзитивные глаголы физических действий *садиться, вставать, идти,* которые, по ее мнению, семантически не менее транзитивны, чем *садить, поднимать, отправлять* и т.д.

Можно с недоверием относиться к наклеиваемым А. Вежбицкой семантическим ярлыкам: распространение термина "каузатив" на все перечисленные выше глаголы — в их числе интранзитивные — противоречит традиционным семантическим и формально-грамматическим представлениям. Можно упрекнуть автора в безмерном расширении понятия каузативности в сторону его онтологизации и включении лингвистически нерелевантных черт ситуации в интенсионалы предикатных выражений. (Уместно напомнить, что идея "всюду-каузативности" (over-causativity) предикатных значений, помимо самой Вежбицкой, разделяется многими генеративистами и сторонниками когнитивной семантики, см.: например [Peterson 1985; Talmy 1985].)

Тем не менее пути критики концепции Вежбицкой не меняют сути дела. Эта концепция должна быть принята как взгляд на оппозицию каузатива и рефлексива — как бы второй член ни был поименован — глазами говорящего, в противоположность имеющимся исследованиям, воспринимающим эту оппозицию исключительно с позиций системы языка.

Уточним также, что термины "внутренняя" и "внешняя" каузация, как они используются далее и как трактуются обозначаемые ими соответствующие концепты, имеют истоком эту концепцию А. Вежбицкой.

Таким образом, различия в типах субъектов каузативных конструкций — а ими могут быть имена лиц в функции агенса, а также имена антропоморфных субстанций (*вода, огонь, ветер* и под.) и "высших" сил (*судьба, рок* и пр.) — не дают принципиальных различий в типах ситуаций, этими конструкциями именуемых. Последние едины в одном: это ситуации "внешней" каузации, концептуализованные и представленные говорящим в "чистом" варианте такого типа отношений.

Сложнее обстоит дело с рефлексивами. По А. Вежбицкой, они обозначают ситуации "внутренней" каузации. Здесь информация о причинах разворачивается в текст: хотя можно умереть *от скарлатины* (каузация "внутренняя"), можно и умереть *от руки убийцы* (каузация "внешняя"). В отсутствии каузативного контекста эта информация выводима на уровне импликатур: в условиях "нормальной" жизни сообщение *X умер* будет интерпретировано в духе Вежбицкой. Ср. другую ситуацию: *Она рассердилась*. Вероятные импликатуры: "виновником состояния является внешний фактор — нечто неопределенное и невычленяемое из каузального фона" и "причина — нечто внутреннее, что скрывается в самом субъекте". В поддержку второй интерпретации приведем пример: *Она никак не могла выбросить из головы эту навязчивую идею, а потому постоянно сердилась*. Ср.: *И кот от обиды так раздулся, что казалось, еще секунда, и он лопнет* (М. Булгаков).

В другом примере: *Как и для большинства людей моего возраста, активная и сознательная жизнь окончилась уже давно* (Л. Разгон), — очевидно, что причина кроется в скоротечности самой жизни. Следующее предложение описывает ситуацию вмешательства в ход жизни активного субъекта: *Есть только один способ достойно заканчивать жизнь* (Там же). Ср. показательный пример Н.А. Янко-Триницкой: *Советский Союз превратился, точнее, превратил сам себя во вторую промышленную державу в мире* (Из газеты). Еще пара примеров: *Необходимость следить сразу за действием нескольких механизмов выработала у Коли особую манеру речи...* (Б. Пастернак) — против *Сформулированный в "Архипелаге ГУЛАГ" тезис: "Не проси и не надейся" не придуман его автором, он в ы р а б о т а л с я у каждого, кто с открытыми глазами пытался понять свое будущее* (Л. Разгон).

В последних примерах рефлексивные пропозиции описывают "внутреннюю" каузацию. В предикате лексикализован фиксированный взгляд на ситуацию. Поэтому ситуации "внутренней" каузации не типизируются посредством каузативов, ср. пары

превратиться — превратить себя, радоваться — радовать себя, пить — поить себя и др., где вторые члены являются свободными словосочетаниями.

Несмотря на то, что рефлексивные пропозиции достаточно четко очерчивают — в предикате — "сферу обитания" каузирующих факторов, заключая их в субъекте, при контекстной невыраженности набор последних оказывается неопределенным. В метаязыке он сведен к загадочному "нечто" ("нечто, что можно сказать о" у А. Вежбицкой), остающемуся неспецифицированным. Исключение составляют ситуации типа *жизнь окончилась*, где информация о субъекте каузации извлекается из универсального фонда знаний говорящего, и случаи типа *ведро прохудилось*, и устойчивыми каузальными ассоциациями в предикате.

Истоки неопределенности каузатора находятся в двух типах факторов: можно говорить о неопределенности эпистемической (происходящей от незнания ситуации) и прагматической (когда знают, но не говорят). Первая объективна, вторая субъективна. Основания первой кроются в степени осведомленности говорящего о мире, второй — в области знаний о прагматической ситуации. В обоих случаях предпочтение отдается рефлексивам.

Таким образом, к постулируемому А. Вежбицкой значению "внутренней" каузации мы добавляем значение каузации эпистемически или прагматически неопределенной, также специфичную для семантики рефлексивов. Неопределенность может быть качеством и "внешнего" типа каузации. Тогда такие ситуации попадают в сферу влияния рефлексивов.

Однако в ситуации незнания возможны каузативные оппозиции типа *Что-то сильно беспокоило ее*, вызванные прагматическим контекстом. Семантически допустимы и высказывания типа *Нос Сюзан причиняет ей много беспокойства* (пример А. Вежбицкой), содержащее информационный пробел; ср. уточняющие переспросы типа *Что произошло с ее носом?* или *Чем он ее беспокоит?*, рассчитанные на восстановление "урезанной" пропозиции. Из двух последних высказываний только во втором контуры каузатора определенны. А каузальный фон в обоих высказываниях различен: в первом он предельно размыт (*что-то*), охватывая внутреннюю и внешнюю сферы субъекта состояния; во втором ограничен нежелательными качествами носа.

Примером прагматической неопределенности будет последняя реплика в диалоге: — *Ты опять ключи спрятал? — Не брал я их. — Опять эти ключи куда-то спрятались*. Здесь явно цитатное употребление предиката *спрятались*, допускающего в субъектной позиции лишь имя индивида, отсылает к первой реплике, где предполагаемый каузатор эксплицирован.

Итак, в нашей интерпретации семантическая оппозиция каузатива и рефлексива формируется в двух направлениях. Ее суть — в характере явленности субъекта каузации, то есть его определенности/неопределенности, и во "внешнем" или "внутреннем" отношении к объекту. Оппозиция формируется, следовательно, не столько внутренними значениями соответствующих предикатов, сколько обозначаемыми ими ситуациями.

Резюмируем сказанное. Каузативы и рефлексивы неравноправны. Они и их корреляты — ситуации — образуют привативную оппозицию. Каузативные референции при этом составляют ее маркированную область, рефлексивные — конституируют ее немаркированную (привативную) сферу. Ситуация в мире, дескриптивные характеристики которого не могут быть экслицированы говорящим — по эпистемическим или прагматическим причинам — в той мере, насколько это необходимо для ее подведения под каузальный "эталон" (стереотип "внешней" определенной каузации), становятся объектами означивания для рефлексивов. В этом смысле референции контрадикторны.

Соответственно, сферой действия каузативов являются, по преимуществу, отношения "внешней" (в том числе репрезентируемой по ее подобию) каузации, а сферой влияния соотносительных рефлексивов — каузации, отличные от определенной

"внешней" (то есть "внутренняя", а также неопределенная), либо отклоняющиеся от ее прототипического стандарта. Ср.: *Азевич... тут же проснулся от воцарившейся в шалаше подозрительной тишины* (В. Быков). Пути сообщения о такой ситуации — знак связи каузативных и рефлексивных форм: ситуацию, "развернутую" в каузативную конструкцию, можно "свернуть" в рефлексивную. Обратное же не всегда возможно. Семантика рефлексивов шире: их каузативный компонент слабо ориентирован на спецификацию причин. В отрыве от контекста в нем заключены субъекты кто и что, некто и нечто, никто и ничто. В преодолении рефлексивной неопределенности, конкретизации (каузативации) рефлексивной семантики — постулируемая здесь суть эпистемической "бритвы".

Эпистемология ситуации и прагматика общения санкционируют нежесткое распределение рассматриваемых единиц.

* * *

В заключение попытаемся более отчетливо представить себе — на уровне ситуаций — динамику осмысления "внешних" каузальных отношений в той ее части, которая в одних случаях позволяет подводить ситуации под каузальный "эталон", в других же — интерпретировать ситуации как, в нашей формулировке, отклоняющиеся от прототипического стандарта "внешней" каузации. Тем более последние случаи отнюдь не исчерпываются приведенным выше примером.

Итак, признаком "эталонности" (прототипичности) обладают ситуации "внешней" каузации одушевленным произвольно действующим субъектом. Последнему приписывается авторство ситуации. Для акциональной логики возникающая здесь проблема состоит в поисках логических оснований идентификации поведения субъекта именно как д е й с т в и я . А причинная концепция действия — она сформулирована в рамках логики действия — была вызвана потребностью простого и естественного решения этой проблемы.

В соответствии с причинной концепцией "субъекту можно приписать действие, если он является причиной (или одной из причин) появления этого действия" [Ишмуратов 1987: 35].

Можно показать, что даже в случаях определенности причин эта импликация малопродуктивна. Исходя из задач алгоритмизации описания действия, она игнорирует в факторе субъекта прагматический момент: субъект располагает множеством способов "отвести" от себя действие, которое ему "инкриминируется". Например: *Палец свело судорогой и курок н а ж а л с я, я этого не хотел: выстрел произошел сам собой* (пример А.Т. Ишмуратова).

Учет фактора знания и введения в оборот ситуаций с неопределенным набором потенциальных каузаторов дают — в рамках этой концепции — уравнение с двумя неизвестными. Оно лишено предельного числа решений. Очевидно, что вопрос о виновнике уместен в отношении верифицированной каузативной пропозиции — нацелен на заполнение ее субъектной валентности; но преждевремен в отношении пропозиции рефлексивной, обнаруживая недостающее эпистемическое звено. Например, вопрос *Кто убил Джона Кеннеди?* актуален, поскольку известно, что Кеннеди был убит. Однако тот же вопрос кажется неуместным в устах человека, в чьем ментальном мире существует лишь пропозиция *Джон Кеннеди умер*.

Проблема усложняется также тем, что "практическая логика" нередко поставляет ситуации с синкретичным субъектом. Мы имеем в виду случаи, когда одушевленный каузатор сталкивается с превентивным или продуктивным действием других каузирующих субъектов и/или факторов иного порядка (например, природных стихий). Такие ситуации различаются степенью вовлеченности в них интенционально действующего субъекта — показателем, находящимся в обратной зависимости к мере их прототипичности. Меньший личностный вклад и подключение неагентивного каузального фона равносильны большему отступлению от прототипа. Валидность концепций каузального анализа "проверяется на таком "непрототипическом" материале.

Обратимся к фрагменту каузального анализа Г.Х. фон Вригта: "Допустим, что дверь закрыта, но в тот самый момент, когда я ее пытаюсь открыть, открывается "сама собой"... В данном случае это выражение не подразумевает (как иногда думают), что данное событие — движение двери — произошло вообще без всякой причины. Скорее оно подразумевает, что причина события, как бы она ни была, действовала почему-то независимо от поведения агента" [фон Вригт 1986: 154—155]. Основная проблема, которую разрешает здесь фон Вригт, лингвистически релевантна и сводится к следующему: возможна ли в такой ситуации интерпретация действия агента в терминах интенционального поведения. Другими словами, может ли эта ситуация быть описана в терминах контроля, названа как *Я открыл дверь*, или же для ее описания следует использовать пропозицию *Я открыл дверь*, или же для ее описания следует использовать пропозицию *Дверь открылась*.

Ответ фон Вригта следующий: «...то, что агент *несомненно делает*, "сокращается" или "ограничивается" теми действиями, путем совершения которых он стремился выполнить свое действие. Тем самым (последующее) обнаружение причины, действующей независимо от агента, может привести к *переописанию* его действия в "вырожденной" форме» [фон Вригт 1986: 156].

"Последующее обнаружение" происходит на новом этапе (или уровне) познавательной ситуации. Главная ее особенность заключается в том, что мир полного знания в ней осмысляется в "вырожденной" форме, отрицающей интенционально действующего субъекта каузации. Этот мир располагает к каузальной неопределенности и вариантам — при сохранении единого ситуационного "ядра" (инвариантом в дилемме фон Вригта является ситуация "дверь открыта"). Потому языком этого мира будут рефлексивы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Арутюнова Н.Д. 1988 — Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М., 1988.

Барвайс Дж., Перри Дж. 1987 — Ситуации и установки: Пер. с англ. // Философия, логика, язык. М., 1987.

Бенвенист Э. 1974 — Общая лингвистика: Пер. с фр. М., 1974.

фон Вригт Г.Х. 1986 — Логико-философские исследования: Пер. с англ. М., 1986.

Долинина И.Б. 1991 — Рефлексивность и каузативность (категориальная семантика рефлексивных конструкций, соотносительных с каузативными конструкциями) // Теория функциональной грамматики: Персональность. Залоговость. СПб., 1991.

Иммуратов А.Т. 1987 — Логический анализ практических рассуждений (формализация психологических понятий). Киев, 1987.

Марфунина И.А. 1970 — К истории формирования возвратных глаголов [русского языка] (развитие структурных средств выражения сосредоточенности действия в субъекте): Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. М., 1970.

Петров В.В., Переверзев В.Н. 1988 — Ситуационная семантика: Науч.-аналит. обзор. М., 1988.

Пешковский А.М. 1956 — Русский синтаксис в научном освещении. 7-е изд. М., 1956.

Савичюте Г.С. 1980 — Предикаты цели и предикаты каузации (на материале флективных индоевропейских языков): Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. М., 1980.

Степанов Ю.С. 1988 — Балто-славянское и индоевропейское предложение (проблема реконструкции) // Baltictica. XXIV (2). Vilnius, 1988.

Степанов Ю.С. 1989 — Индоевропейское предложение. М., 1989.

Степанов Ю.С. 1994 — Пространства и миры — "новый", "воображаемый", "ментальный" и прочие // Философия языка: в границах и вне границ. Т. 2. Харьков, 1994.

Типология... 1969 — Типология каузативных конструкций: Морфологический каузатив. Л., 1969.

Peterson Ph.L. 1985 — Causation, agency, and natural actions // Papers from the parasession on causatives and agentivity. Chicago (Ill), 1985.

Talmy L. 1985 — Force dynamics in language and thought // Papers from the parasession on causatives and agentivity. Chicago (Ill), 1985.

Vendler Z. 1967 —Linguistics in philosophy. Ithaca; N.Y., 1967.

Wierzbicka A. 1980 — Lingua mentalis: The semantics of natural language. Sydney, etc., 1980.

Wierzbicka A. 1988 — The semantics of grammar. Amsterdam; Philadelphia, 1988.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 5 1996

© 1996 г. Б.Я. ОСТРОВСКИЙ

ОПЫТ СИСТЕМАТИЗАЦИИ ГЛАГОЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ

(на материале языка дари)

1. ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Морфологические категории чаще всего понимаются как "системы противопоставленных друг другу рядов морфологических форм (в пределах определенной части речи) с однородным содержанием" [Бондарко 1976: 10]; подобное же определение грамматической категории содержится и в "Лингвистическом энциклопедическом словаре" (см. [Лопатин 1990: 115]). Такое понимание морфологических категорий, имеющее в языкознании широкое распространение и давнюю традицию, основано на семасиологическом подходе к фактам языка, т.е. на направленности их описания от форм к значениям.

Как известно, наряду с семасиологическим существует и противоположный ему, ономасиологический подход, т.е. направленность описания от значений к формам. При семасиологическом подходе "мы исходим из формы как данной величины, а затем устанавливаем ее значение или функцию", а при ономасиологическом – "наоборот, мы исходим из значения или функции и устанавливаем, как они выражаются в форме" [Есперсен 1958: 39]. В лингвистической литературе все чаще высказывается мнение, что ономасиологический подход к фактам языка дает более адекватное их описание, чем семасиологический (см., например [Кибрик 1992: 123, 130]). "Можно предположить, – считает В.П. Даниленко, – что ономасиологическую грамматику в недалеком будущем ожидает новый научный взлет" [Даниленко 1988: 131].

Ономасиологический подход к идентификации морфологических категорий глагола продемонстрировал в свое время Р.О. Якобсон, который, предложив различать сообщаемый факт, факт сообщения, участника сообщаемого факта и участника факта сообщения и оперируя, в основном, этими четырьмя понятиями, дал классификацию практически всех глагольных категорий, выделяемых обычно в морфологических описаниях (см. [Якобсон 1972: 99–101]).

В данной статье предпринимается еще одна попытка систематизации морфологических категорий личных глагольных форм, базирующаяся на материале современного языка дари (Афганистан)[1]. При этом неукоснительно соблюдается ономасиологический подход к языковым фактам, а в основе предлагаемого описания лежат некоторые исходные посылки классификации, разработанной Р.О. Якобсоном.

---

[1] Современный язык дари существует, как известно, в двух основных стилистических разновидностях: литературно-письменной и устно-разговорной. Для различения этих разновидностей приводимым в данной статье примерам разговорного стиля предпосылается помета "разг." (при этом примеры литературного стиля пометами не сопровождаются). Некоторые из приводимых здесь примеров заимствованы из современной художественной литературы на языке дари, а другие составлены нами специально для иллюстрации отдельных положений (примеры второго рода просмотрены информантом – носителем языка дари).

2. СЕМАНТЫ

Каждая личная глагольная форма в каждом конкретном случае своего употребления тем или иным образом характеризует некоторые исходные семантические сущности, именуемые здесь семантами. Среди семантов различаются 1) события (символически – E, от англ. event "событие") и 2) участники событий (P, от participant "участник")[2].

События (E) бывают четырех типов: 1) излагаемое событие (E^n, от англ. narrated event), 2) действие (E^a, от action event, т.е. событие действия), 3) событие-ориентир (E^r, от reference event) и 4) речевой акт (E^s, от speech event, т.е. событие речи)[3].

Каждое из перечисленных событий имеет своих участников (P), которые сами различаются по типам: 1) участники излагаемого события (P^n), 2) участники действия (P^a), 3) участники события-ориентира (P^r) и 4) участники речевого акта (P^s).

Участники каждого события бывают трех разрядов: 1) активный участник (aP, от active participant), 2) пассивный участник (pP, от passive participant) и 3) косвенный участник (iP, от indirect participant).

В зависимости от типа и разряда различается двенадцать подразрядов участников событий: активный участник события (aP^n), пассивный участник действия (pP^a), активный участник события-ориентира (aP^r), косвенный участник речевого акта (iP^s) и т.п.[4]

2.1. Излагаемое событие и его участники

Излагаемое событие (E^n) – это то самое событие, о котором идет речь во фрагменте текста, содержащем данную личную глагольную форму (но не содержащем более никакой другой личной формы). Активный участник излагаемого события (aP^n), если он явным образом упоминается в этом фрагменте текста, передается подлежащим, пассивный участник (pP^n) – прямым дополнением, а косвенный участник (iP^n) – *каким-либо другим* членом предложения. Например, в (1) *Karimxān ʿādatan dar gēlās ćāy mēnōšid* "Карим-хан обычно пил чай из стакана" E^n – это относящаяся к прошлому привычка данного лица употреблять данный напиток определенным образом; aP^n – само это лицо (т.е. некий Карим-хан); pP^n – употреблявшийся им напиток (т.е. чай); iP^n – использовавшаяся при этом емкость (т.е. стакан).

Семант aP^n налицо в каждом случае употребления личной формы (так как при его отсутствии глагольная форма не может считаться личной). Однако подлежащее, которое способно передавать этот семант, иногда эллиптируется (хотя обычно оно легко восстановимо из контекста или ситуации); например: (2) *Ān waqt ba salāmati-ye sar-e har du sar-e šiša-ye šampāyn rā bāz kard* "И тогда (он, т.е. персонаж цитируемого рассказа по имени Ибрагим) открыл бутылку шампанского (чтобы выпить) за здоровье обеих". Семант aP^n иногда бывает неконкретным, и тогда подлежащее чаще всего отсутствует; например: (3) разг. *Paysē-š-a dozi kardan* "У него украли деньги".

Наличие семантов pP^n и iP^n обязательным не является, так что некоторые из них или даже все они могут отсутствовать; например: (4) *Šaymā mēxandad* "Шайма смеется".

---

[2] Здесь и далее сохранена, насколько возможно, символика, используемая в вышеупомянутой работе Р.О. Якобсона.

[3] В более ранней нашей работе [Островский 1995] излагаемое событие именуется "упоминаемым событием", *событие-ориентир* – "ситуацией", а речевой акт – "упоминанием события" или просто "упоминанием".

[4] Подразумевается, что семанты, касающиеся всякой личной формы во всяком конкретном случае ее употребления, уже заранее известны говорящему. Поэтому описание семантов, содержащееся в пп. 2.1–2.4, представляет собой не строгое их определение, а лишь указания на то, что именно имеется в виду при упоминании того или иного из них.

2.2. Действие и его участники

Действие (E^a) – это событие, которое представляет собой либо собственно действие, либо состояние, либо превращение, непосредственно связанное с излагаемым событием и передаваемое, прежде всего, глагольной лексемой (в одном из ее значений). Активный участник действия (aP^a) – это непосредственный носитель действия, пассивный участник (pP^a) подвергается действию со стороны активного, а косвенный участник (iP^a) связан с действием каким-либо иным образом. Например, в (5) *Sokut dar asar-e fayrhā-ye tofanghā šekastānda šod* "Тишина была нарушена ружейными выстрелами (букв.: выстрелами ружей)" E^a сводится к тому, что один из упоминаемых факторов нарушил другой: это действие передается, прежде всего, глагольной лексемой *šekastāndan* (употребленной здесь в значении "нарушать"; ср. другие ее значения: "ломать", "разбивать" и т.п.) и непосредственно связано с E^n (т.е. с фактом нарушенности тишины); aP^a – фактор, нарушивший тишину (т.е. выстрелы); pP^a – фактор, подвергшийся нарушению (т.е. тишина); iP^a – источник первого фактора (т.е. ружья).

Семант aP^a налицо в каждом случае употребления личной формы, но иногда он бывает неконкретным; например: в (6) разг. *Ma da pōlikelenik do dandān-em-a por kardēm* "Я в поликлинике запломбировал (букв.: наполнил) себе два зуба", где aP^a – это, как можно предположить, не упоминаемый в тексте зубной врач.

Наличие семантов pP^a и iP^a необязательно, так что некоторые из них или даже все они могут отсутствовать; например: (4).

Действие и его участники отличны от излагаемого события и его участников. Правда, во многих случаях aP^a совпадает с aP^n, pP^a – с pP^n, а iP^a – с iP^n; например: (5а) *Fayrhā-ye tofanghā sokut rā šekastāndand* "Ружейные выстрелы нарушили тишину", (6а) разг. *Da pōlikelenik dāktar do dandān-em-a por karda* "В поликлинике врач запломбировал мне два зуба". Однако и отступления от этих соответствий наблюдаются достаточно часто; например, в (5) aP^a (выстрелы) совпадает с iP^n, pP^a (тишина) – с aP^n, а в (6) iP^a (говорящий) совпадает с aP^n.

2.3. Событие-ориентир и его участники

Событие-ориентир (E^r) – это некая ситуация, на фоне которой и с ориентацией на которую излагается событие E^n. Активный участник события-ориентира (aP^r), если он выражен в явном виде, передается подлежащим, пассивный участник (pP^r) – прямым дополнением, а косвенный участник (iP^r) – каким-либо другим членом предложения. Например, в (7) *Dar in waqt Maryam dar nāheya-ye gorda-aš ke sē sāl pēš 'amaleyyāt šoda bud dard-o sōzeš-ē xafif ehsās namud* "В этот момент Марьям почувствовала слабую боль и жжение в области почки, которая была прооперирована тремя годами ранее", если в качестве E^n рассматривать имевшую место в прошлом хирургическую операцию (т.е. событие, излагаемое в зависимой части предложения), E^r сводится к факту испытывания данным лицом в прошлом (но уже после операции) болезненных ощущений; aP^r – испытывавшее эти ощущения лицо (т.е. некая женщина по имени Марьям); pP^r – испытывавшиеся этим лицом ощущения (т.е. боль и жжение); iP^r – место, где эти ощущения были локализованы (т.е. область почки данного лица).

Во многих случаях событие-ориентир бывает конкретизировано в другом (чаще всего – в соседнем) фрагменте текста; в частности, в (7) оно изложено в главной части того же предложения. Однако не менее часто встречаются и такие случаи, когда событие-ориентир является неконкретным. Например, в (8) разг. *Bād az i uš-et-a begiri* "Впредь будь внимателен" указано лишь время ориентира (момент речи), но не его содержание. Аналогичным образом, в (9) *Ānhā sē-čahār martaba zang zada budand* "Они (тогда уже) позвонили три-четыре раза" событие-ориентир получает лишь косвенное выражение: на него указывает личная форма плюсквамперфекта (из которой следует, что это событие имело место в прошлом). Наконец, в (10) *Man modir-e maktab budam* "Я был директором школы" событие-ориентир вообще не получает никакого внешне-

го выражения (но может быть установлено из более широкого контекста или ситуации).

Наличие семантов aP^r, pP^r и iP^r обязательным не является, так что любой из них (даже aP^r) может отсутствовать. В частности, в тех случаях, когда событие-ориентир неконкретно, отсутствуют и все его участники; например: (8)–(10).

2.4. Речевой акт и его участники

Речевой акт (E^s) – это факт передачи сообщения об излагаемом событии. Активный участник речевого акта (aP^s) – это лицо, которое передает сообщение (говорящий, пишущий и т.п.); пассивный участник (pP^s) – лицо (или ли́ца), которому (-ым) адресовано сообщение (слушающий, читающий и т.п.); косвенный участник (iP^s) в речевой акт не вовлечен, но упоминается в сообщении. Например, в заимствованной из пьесы реплике (11) разг. Laylā: *Amidjān! Farzāna ēnāli pošt-em myāya* "Лейла: Хамид-джан! Сейчас за мною зайдет Фарзана́" E^s сводится к уведомлению одним лицом другого о предстоящем событии; aP^s – это лицо, чья реплика здесь воспроизведена (т.е. девочка по имени Лейла); pP^s – лицо, к которому обращена эта реплика (т.е. брат Лейлы по имени Хамид); iP^s – лицо, не участвующее в разговоре, но упоминаемое в реплике (т.е. подруга Лейлы по имени Фарзана́).

Семант aP^s налицо в каждом случае употребления личной глагольной формы, хотя он может быть и неизвестен; семант pP^s также обычно налицо, хотя он может быть и неконкретным. Например, в (12) *Lotfan segret nakašēd* "Не курите, пожалуйста" (надпись в коридоре какого-либо учреждения) aP^s неизвестен (это, предположительно, администрация данного учреждения), а pP^s неконкретен (это любое лицо, способное прочитать и понять данную надпись).

Наличие семанта iP^s необязательно, так что он может отсутствовать; например: (13) разг. *Fāmidom* "Я понял".

2.5. Семанты (итоги)

Таким образом, в данной работе у личных глагольных форм дари выделяется 16 семантов; все они представлены в табл.1 (семанты, способные отсутствовать, заключены в круглые скобки).

Таблица 1

Семанты личных глагольных форм языка дари

Виды и разряды семантов	Типы и подразряды семантов			
	действие и его участники	излагаемое событие и его участники	событие-ориентир и его участники	речевой акт и его участники
события	E^a	E^n	E^r	E^s
участники событий:	P^a:	P^n:	P^r:	P^s:
активный участник	aP^a	aP^n	(aP^r)	aP^s
пассивный участник	(pP^a)	(pP^n)	(pP^r)	pP^s
косвенный участник	(iP^a)	(iP^n)	(iP^r)	(iP^s)

3. МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ И ГРАММЕМЫ

Семанты во всяком конкретном случае употребления личной глагольной формы могут быть определенным образом охарактеризованы по ряду семантических призна-

ков, каждый из которых хотя бы у одного из этих семантов способен принимать несколько разных значений.

Пусть имеется некий семантический признак Feat (от англ. feature "признак"), способный принимать следующие три значения: "=", "+" и "–" (содержательное наполнение этих признаков в данном случае безразлично)[5]. При характеристике некоего семанта S по семантическому признаку Feat, т.е. при характеристике {Feat: S}, могут встретиться перечисляемые ниже ситуации.

I. Семант S никогда не характеризуется ни одним из значений признака Feat. Так, речевой акт никогда не характеризуется ни одним из значений, принимаемых признаком пола ("мужской" – "женский"), так как никакие события, в том числе и E^s, по этому признаку не различаются. Далее в подобных случаях говорится, что данный признак применительно к данному семанту не имеет смысла.

II. Семант S всегда характеризуется одним и тем же значением признака Feat, например, всегда характеризуется как =S. Так, речевой акт всегда характеризуется всего одним из значений, принимаемых количественным признаком ("один" – "два" – "три" и т.д. либо "один" – "более одного"), а именно – значением "один", так как всякий фрагмент текста есть результат не более, чем одного речевого акта. Далее в подобных случаях говорится, что данный признак применительно к данному семанту не имеет различительной силы.

III. Семант S способен характеризоваться разными значениями признака Feat, например, то значением =S, то значением +S, то значением –S. В этой ситуации возможны перечисляемые ниже частные случаи.

IIIa. Различия между этими значениями никогда не получают морфологического выражения, т.е. значения =S, +S и –S всегда выражаются одинаково. Так, активный участник излагаемого события (aP^n) может характеризоваться разными значениями признака пола, но это различие в языке дари (в отличие, например, от русского) никогда не получает морфологического выражения; ср.: (14а) *Parwin* ***āmad*** "Парвин ***пришла***" – (14б) *Solaymān* ***āmad*** "Сулейман ***пришел***". Далее в подобных случаях говорится, что данный признак применительно к данному семанту не имеет морфологической значимости.

IIIb. Различия между некоторыми (но не всеми) из этих значений хотя бы иногда получают морфологическое выражение, т.е., например, значения =S и +S всегда выражаются одинаково, а значение –S хотя бы иногда выражается иначе, чем значения =S и +S. Так, активный участник излагаемого события (aP^n) может характеризоваться разными значениями количественного признака: "один" – "два" – "три" и т.д.; ср.: (14аб) (один участник) – (14в) *Parwin-o Solaymān* ***āmadand*** "Парвин и Сулейман ***пришли***" (два участника) – (14г) *Parwin-o Solaymān-o Zalmina* ***āmadand*** "Парвин, Сулейман и Зальмина ***пришли***" (три участника) и т.д. Далее в подобных случаях говорится, что данный признак применительно к данному семанту имеет морфологическую значимость.

IIIc. Различия между всеми этими значениями хотя бы иногда получают морфологическое выражение, т.е. значение =S хотя бы иногда выражается иначе, чем значения +S и –S; значение +S – иначе, чем значения =S и –S; значение –S – иначе, чем значения =S и +S. Так, активный участник излагаемого события (aP^n) может характеризоваться разными, но несколько иными, чем в IIIb, значениями количественного признака, а именно: "один" – "более одного"; ср. (14аб) – (14вг). Далее в подобных случаях говорится, что данный признак применительно к данному семанту имеет морфологическую значимость.

Если данный семантический признак применительно к данному семанту имеет морфологическую значимость, т.е. в случаях типа IIIb и IIIc, характеристика {Feat: S}

---

[5] Здесь и далее значения признаков обозначаются посредством математических знаков, знаков препинания и т.п.

образует морфологическую категорию. Такую категорию образует в языке дари количественная характеристика активного участника излагаемого события (см. выше).

Морфологические категории обозначаются здесь при помощи формул, каждая из которых состоит из символа семантического признака, после которого помещается двоеточие, и одного либо двух символов типов (или, при необходимости, подразрядов) семантов, характеризуемых этим признаком; вся формула заключается в фигурные скобки. В частности, только что упомянутая морфологическая категория формулируется как {Comp: aP^{n}} (Comp – символ признака "состав семанта").

Каждое значение имеющего морфологическую значимость признака Feat или несколько значений, если они всегда получают одинаковое морфологическое выражение, образуют одну граммему. Всякая морфологическая категория различает, таким образом, две или более граммем: в случае IIIb – граммемы {Feat: –S} и {Feat: =+S} (где запись типа "=+" означает "= или +"), а в случае IIIc – граммемы {Feat: =S}, {Feat: +S} и {Feat: –S}. Так, в вышеприведенном примере морфологическая категория {Comp: aP^{n}} насчитывает две граммемы: "одно лицо (или предмет)" (символически – {Comp: •aP^{n}}) и "несколько лиц (или предметов)" ({Comp: •••aP^{n}}).

Морфологические категории бывают двоякого рода: 1) категории-десигнаторы, каждая из которых характеризует семант S безотносительно к другим семантам; 2) категории-коннекторы, каждая из которых характеризует отношение между двумя разнотипными (т.е. не относящимися к одному и тому же типу) семантами S_1 и S_2.

4. КАТЕГОРИИ-ДЕСИГНАТОРЫ

Категории-десигнаторы у глаголов дари характеризуют семанты по следующим семантическим признакам: 1) по составу (символически – Comp, от англ. composition), 2) по объему (Size), 3) по существованию, т.е. по признаку наличия – отсутствия (Exis, от existence), 4) по опознаваемости (Iden, от identifiability).

4.1. Состав семантов

Семантический признак состава семанта ({Comp: S}) принимает у глаголов дари два значения, способные образовывать граммемы: 1) целостность семанта (символически – {Comp: •S}), 2) расчлененность семанта ({Comp: •••S}).

Применительно к событиям (E) признак состава касается количества эпизодов, составляющих данный семант: •E – это единый (пусть даже растянутый во времени) эпизод, а •••E – несколько однородных эпизодов.

Категория {Comp: E^{n}} (состав излагаемого события) различает граммемы {Comp: •E^{n}} и {Comp: •••E^{n}}; ср.: (15а) *Mastura dar ān emtehān kāmyāb šod* "Мастура́ успешно сдала тот экзамен" (букв.: "Мастура́ на том экзамене ***стала*** преуспевшей") (•E^{n}) – (15б) *Mastura aksaran dar emtehānhā kāmyāb mēšod* "Мастура́ чаще всего успешно сдавала экзамены" (букв.: "Мастура́ большей частью на экзаменах ***становилась*** преуспевшей") (•••E^{n}).

У действия и события-ориентира признак состава не имеет морфологической значимости; ср., например, характеристику {Comp: E^{a}}: (16а) разг. *Yag dafa to-ra goftom ke namēša* "Я тебе один раз ***сказал***, что нельзя" (•E^{a}) – (16б) разг. *Bist dafa to-ra goftom ke namēša* "Я тебе двадцать раз ***говорил*** (или ***сказал***), что нельзя" (•••E^{a}). Здесь уместно отметить, что характеристика {Comp: E^{a}} (не образующая морфологической категории) отлична от рассмотренной выше категории {Comp: E^{n}}; ср.: (16а) (•E^{a}, •E^{n}) – (16б) (•••E^{a}, •E^{n}) – (16в) разг. *Ar rōz to-ra mēgoftom ke namēša* "Я тебе каждый день ***говорил***, что нельзя" (•E^{a}, •••E^{n}) – (16г) разг. *Ar rōz čandin dafa to-ra mēgoftom ke namēša* "Я тебе каждый день по нескольку раз ***говорил***, что нельзя" (•••E^{a}, •••E^{n})[6].

---

[6] Значение •••E^{a} соответствует так называемому мультипликативному типу множества ситуаций, а значение •••E^{n} – итеративному типу (см. [Храковский 1989: 24]).

У речевого акта признак состава всегда принимает значение $\bullet E^s$, т.е. не имеет различительной силы.

Применительно к участникам событий (P) признак состава касается количества лиц или предметов, составляющих данный семант: •P – это либо одно лицо или предмет, либо единая, нечленимая совокупность лиц или предметов, а •••P – несколько воспринимаемых раздельно лиц или предметов.

Категория {Comp: aP^n} (состав активного участника излагаемого события) различает граммемы {Comp: •aP^n} и {Comp: •••aP^n}; ср.: (17а) *In doxtar hanōz xord **ast*** "Эта девочка *(**есть**)* еще маленькая" **(•aP^n)** – (17б) *In doxtarān hanōz xord **hastand*** "Эти девочки *(**суть**)* еще маленькие" **(•••aP^n)**[7].

Состав прочих участников событий (а именно – pP^n, iP^n, P^a, P^r и P^s) в языке дари не имеет морфологической значимости; ср., например, характеристику {Comp: pP^n}: (18а) *Mā Ahmad rā **nadidēm*** "Мы ***не видели*** Ахмада" **(•pP^n)** – (18б) *Mā Ahmad-o Mahmud rā **nadidēm*** "Мы ***не видели*** Ахмада и Махмуда" **(•••pP^n)**[8].

4.2. Объем семантов

Семантический признак объема семанта ({Size: S}) принимает у глаголов дари четыре значения, способные образовывать граммемы: 1) компактность семанта (символически – {Size: -S}), 2) диффузность семанта ({Size: –S}), 3) сверхкомпактность семанта ({Size: ·S}), 4) сверхдиффузность семанта ({Size: —S}).

Применительно к событиям (E) признак объема касается способа развертывания данного семанта во времени: -E – это простой факт; –E – процесс; ·E – мгновенный акт; —E – постоянное свойство одного из участников.

Категория {Size: E^n} (объем излагаемого события) различает граммемы {Size: - ·E^n}, {Size: –E^n} и {Size: —E^n}; ср.: (19а) разг. *Zalmay ćand daqa amrā-yešān paštō **gap zad*** "Зальмай несколько минут ***(по)говорил*** с ними на языке пашто" **(-E^n)** – (19б) разг. *Zalmay yágdafa paštō **gap zad*** "Зальмай вдруг ***заговорил*** на языке пашто" **(·E^n)** – (19в) разг. *Zalmay da u waxt paštō **gap mēzad*** "Зальмай в тот момент ***говорил*** на языке пашто" **(–E^n)** – (19г) разг. *Zalmay da xāna faqat paštō **gap mēzad*** "Зальмай дома ***разговаривал*** только на языке пашто" **(—E^n)**. Из (19аб) видно, что значения -E^n и ·E^n по внешнему выражению совпадают (ввиду чего они и образуют одну граммему). Что касается значений –E^n и —E^n, которые в (19вг) также внешне совпадают, то различие между ними внешнее выражение иногда все же получает; ср.: (20а) *In mard az Herāt **āmada ast*** "Этот человек приехал (букв.: ***есть приехавший***) из Герата" **(–E^n)** – (20б) *In mard az Herāt **mēāyad*** "Этот человек родом (букв.: ***приезжает***, т.е. проистекает) из Герата" **(—E^n)**.

Категория {Size: E^a} (объем действия) различает граммемы {Size: -E^a} и {Size: –E^a}; ср.: (21а) *Hawā tārik **mēšod*** "***Становилось*** темно" **(-E^a)** – (21б) *Hawā tārik **šoda mēraft*** "***Постепенно становилось*** темно" **(–E^a)**. Значений сверхкомпактности и сверхдиффузности действие не принимает. Данная категория отлична от рассмотренной выше категории {Size: E^n}; ср.: (21а) **(-E^a, -E^n)** – (21б) **(–E^a, –E^n)** – (21в) *Hawā tārik **šod*** "***Стало*** темно" **(-E^a, -E^n)** – (21г) *Hawā tārik **šoda rafi*** "***Постепенно стало*** темно" **(–E^a, -E^n)**.

---

[7] Разумеется, категория {Comp: aP^n} может различать и более двух граммем; в частности, в арабском языке, где у глаголов (как и у имен) различаются, как известно, формы единственного, двойственного и множественного числа (см., например [Гранде 1963: 148]), данная категория насчитывает три граммемы: {Comp: •aP^n} (один участник), {Comp: ••aP^n} (два участника) и {Comp: •••aP^n} (три или более участников).

[8] Характеристика {Comp: pP^n} вполне способна образовывать морфологическую категорию; так обстоит дело, в частности, в языке пашто, где в эргативной конструкции глагол согласуется в числе (равно как и в лице, и в роде) не с активным, а с пассивным участником события, или, в более привычной терминологии, не с субъектом, а с объектом (см., например [Грюнберг 1987: 219–220]).

Категория {Size: E^s} (объем речевого акта) различает граммемы {Size: -E^s}, {Size: ·E^s} и {Size: —E^s}[9]; ср.: (22а) разг. *Ma i mōtar-a mēxarom* "**Я *покупаю*** эту машину (т.е. занимаюсь ее покупкой)" (-E^s) – (22б) разг. *Xu, ma i mōtar-a **xaridom**!* "Ладно, я покупаю (букв.: ***купил***) эту машину (т.е. согласен ее купить)!" (·E^s); (23а) *Ān xayyātān bā mahārat-e ferāwān lebās **mēdōzand*** "Те портные ***шьют*** одежду с большим мастерством" (сообщение) (-E^s) – (23б) *Sōzan āla-yē rā gōyand ke xayyātān bā ān lebās **dōzand*** "Иглой именуют орудие, которым портные ***шьют*** одежду" (разъяснение) (—E^s)[10]. Значения диффузности речевой акт не принимает.

Объем события-ориентира не имеет морфологической значимости; ср. характеристику {Size: E^r}: (24а) *Čun hawā xēlē garm **bud** bāğbān golhā rā ābpāši namud* "Так как ***было*** очень жарко, садовник полил цветы" (-E^r) – (24б) *Čun hawā xēlē garm **bud** bāğbān golhā rā ābpāši mēnamud* "Так как ***было*** очень жарко, садовник поливал цветы" (–E^r).

Применительно к участникам событий (P) признак объема касается статуса данного участника в социуме: -P – это объект нейтрального отношения, –P – объект уважения, ·P – объект уничижения (в том числе и самоуничижения), а —P – объект поклонения.

Категория {Size: aP^n} (объем активного участника излагаемого события) различает граммемы {Size: - —aP^n} и {Size: – ·aP^n}; ср.: (25а) разг. *Berādar, ki-ra **mēpāli**?* "Приятель, кого (ты) ***ищешь***?" (-aP^n) – (25б) разг. *Modir-sayb, ki-ra **mēpālēn**?* "Господин директор, кого (Вы) ***ищете***?" (–aP^n). Значения -aP^n и —aP^n образуют одну граммему; ср.: (26а) *Padar, bar man **rahm kon**!* "Отец, ***сжалься*** надо мной!" (-aP^n) – (26б) *Xodāyā, bar man **rahm kon**!* "Боже, ***сжалься*** надо мной!" (—aP^n). Подобным же образом, одну граммему образуют значения –aP^n и ·aP^n; ср.: (27а) *Dar bālā **tazakkor dādēm** ke...* "Выше Мы (царствующая особа) ***упомянули,*** что..." (–aP^n) – (27б) *Dar bālā **tazakkor dādēm** ke...* "Выше мы (автор сочинения) ***упомянули,*** что..." (·aP^n)[11].

Объем прочих участников событий (а именно – pP^n, iP^n, P^a, P^r и P^s) не имеет морфологической значимости; ср., например, характеристику {Size: pP^s}: (28а) разг. *Az tu yak xāyeš **dārom*** "У меня есть к тебе просьба" (букв.: "***Имею*** к тебе просьбу") (-pP^s) – (28б) разг. *Az Šomā yak xāyeš **dārom*** "У меня есть к Вам просьба" (букв.: "***Имею*** к Вам просьбу") (–pP^s).

4.3. Существование семантов

Семантический признак существования семанта {Exis: S} принимает у глаголов дари два значения, способные образовывать граммемы: 1) наличие семанта (символически – {Exis: +S}), 2) отсутствие семанта ({Exis: –S}).

---

[9] Компактный речевой акт (-E^s) является по тональности нейтральным, сверхкомпактный (·E^s) – резким, как бы мгновенным (он употребляется при категоричных заявлениях, например, приказах), а сверхдиффузный (—E^s) – неспешным, как бы бесконечно растянутым во времени (он употребляется при поучениях, разъяснениях непонятного, изречении "вечных истин" и т.п.). Следует оговориться, что эти признаки вовсе не предопределяют интонацию, с которой излагается событие E^n, так что, например, приказ или поучение могут быть произнесены и спокойным, и энергичным, и заунывным тоном.

[10] Поскольку тексты, где встречаются значения ·E^s и —E^s, весьма несхожи между собой по стилю, едва ли возможно подобрать пару примеров, которые различались бы только этими значениями. Однако, несмотря на трудности в обнаружении и подборе "минимальных пар", речь несомненно идет о разных граммемах, так как вышеупомянутые значения выражаются резко неодинаковыми морфологическими средствами.

[11] Значения –aP^n и ·aP^n могут образовывать и разные граммемы; так обстоит дело, например, в русском языке: *Вы **читаете*** (при почтительном обращении к одному лицу) (–aP^n) – *Мы **читаем*** (при фамильярном обращении к одному лицу) (·aP^n). Следует, по-видимому, различать, с одной стороны, "множественное вежливости" и "множественное величия" (форма множ. числа соответствующего лица) и, с другой, "множественное авторское" и "множественное насмешки" (форма 1-го лица множ. числа) (см. [Ахманова 1966: 236–237]).

Применительно к событиям (E) признак существования сводится к утверждению либо отрицанию наличия данного события (при данном составе его участников): +E – это нечто утверждаемое, а –E – отрицаемое.

Категория {Exis: E^a} (существование действия) различает граммемы {Exis: $+E^a$} и {Exis: $-E^a$}; ср.: (29а) *Hasan ba daftar* ***mērawad*** "Хасан ***ходит*** на работу" ($+E^a$) – (29б) *Hasan ba daftar* ***namērawad*** "Хасан ***не ходит*** на работу" ($-E^a$).

Категория {Exis: E^n} (существование излагаемого события) различает граммемы {Exis: $+E^n$} и {Exis: $-E^n$}; ср.: (29а) ($+E^n$) – (29в) *Hasan ba daftar* ***mēraft, ammā mariz dārad*** "Хасан ***ходил бы*** на работу, но ухаживает за больным" ($-E^n$). Данная категория отлична от рассмотренной выше категории {Exis: E^a}; ср.: (29а) ($+E^n$, $+E^a$) – (29б) ($+E^n$, $-E^a$) – (29в) ($-E^n$, $+E^a$) – (29г) *Hasan ba daftar* ***namēraft****, ammā majbureyyat dārad* "Хасан ***не ходил бы*** на работу, *но вынужден (ходить)*" ($-E^n$, $-E^a$).

У события-ориентира признак существования не имеет морфологической значимости; ср. характеристику {Exis: E^r}: (30а) *Agarće masruf* ***hastēm****, bāz ham bā ēšān molāqāt mēkonēm* "Хотя мы ***(есмы)*** и заняты, мы все же встретимся с ними" ($+E^r$) – (30б) *Agarće masruf* ***hastēm****, bāz ham bā ēšān molāqāt mēkardēm* "Хотя мы ***(есмы)*** и заняты, мы все же встретились бы с ними" ($-E^r$). У речевого акта признак существования всегда принимает значение $+E^s$, т.е. не имеет различительной силы.

Применительно к участникам событий (P) признак существования сводится к утверждению либо отрицанию участия данного лица или предмета в данном эпизоде. Однако ни у одного из этих семантов признак существования не имеет самостоятельной морфологической значимости; ср., например, характеристики {Exis: aP^a}, {Exis: pP^a} и {Exis: iP^a}: (31) разг. *Ma i kawk-a amrā-ye tofang* ***nakoštēm*** "***Я не убивал*** эту куропатку из ружья" ($+aP^a$, $+pP^a$, $+iP^a$) – "Эту куропатку из ружья ***убил не я***" ($-aP^a$, $+pP^a$, $+iP^a$) – "Я ***убил*** из ружья ***не*** эту куропатку" ($+aP^a$, $-pP^a$, $+iP^a$) – "Я ***убил*** эту куропатку ***не*** из ружья" ($+aP^a$, $+pP^a$, $-iP^a$).

4.4. Опознаваемость семантов

Семантический признак *опознаваемости семанта* {Iden: S} принимает у глаголов дари пять значений, способных образовывать граммемы: 1) конкретность семанта (символически – {Iden: =S}), 2) неопознанность семанта ({Iden: ?S}), 3) абстрактность семанта ({Iden: ≠S}), 4) желательность семанта ({Iden: !S}), 5) внемодальность семанта ({Iden: #S}).

Применительно к событиям (E) признак опознаваемости касается способа проецирования данного эпизода на объективную действительность: =E – это объект констатации; ?E – объект предположения; ≠E – объект допущения; !E – объект волеизъявления; #E – объект простого упоминания.

Категория {Iden: E^n} (опознаваемость излагаемого события) различает граммемы {Iden: $=E^n$}, {Iden: $?E^n$}, {Iden: $\neq E^n$}, {Iden: $!E^n$} и {Iden: $\#E^n$}; ср.: (32а) разг. *Farida xāna* ***ast*** "Фарида ***(есть)*** дома" ($=E^n$) – (32б) разг. *Farida xāna* ***xātbud*** (или ... ***xātbāša***, или ... ***bāša***) "Фарида, ***вероятно, (есть)*** дома" ($?E^n$) – (32в) разг. *Aga Farida xāna* ***ast*** (или ... ***bāša***) *xub ast* "Если Фарида ***(есть)*** дома, это хорошо" ($\neq E^n$) – (32г) разг. *Farida xāna* ***bāša!*** "Пусть Фарида будет дома!" (букв.: "***Да будет*** Фарида дома!") ($!E^n$) – (32д) разг. *Gomān namēkonom ke Farida xāna* ***bāša*** "Не думаю, чтобы Фарида была (т.е. ***была бы***) дома") ($\#E^n$). Значения $!E^n$ и $\#E^n$, которые в (32гд) внешне совпадают, в других случаях получают неодинаковое выражение; ср.: (33а) *Bāyad rāst* ***mēgoftēd*** "Вы ***должны были сказать*** правду" ($!E^n$) – (33б) *Bāyad rāst* ***gofta bāšēd*** "Вы, ***должно быть, сказали*** правду" ($\#E^n$).

Категория {Iden: E^a} (опознаваемость действия) различает граммемы {Iden: $=E^a$} и {Iden: $?E^a$}; ср.: (34а) разг. *Nāser u xat-a* ***mēxānd*** "Насер ***читал*** то письмо" ($=E^a$) – (34б) разг. *Nāser u xat-a* ***xānda mētānest*** "Насер ***мог прочитать*** то письмо" ($?E^a$). Данная категория отлична от рассмотренной выше категории {Iden: E^n}; ср.: (34а) ($=E^a$, $=E^n$) – (34б) ($?E^a$, $=E^n$) – (34в) разг. *Nāser u xat-a* ***xānda xātbud*** "Насер, ***вероятно, читал*** то

письмо" (=E^a, ?E^n) – (34г) разг. *Nāser u xat-a xānda tānesta xātbud* "Насер, ***вероятно, мог прочитать*** то письмо" (?E^a, ?E^n). Значений абстрактности, желательности и внемодальности действие не принимает.

У события-ориентира опознаваемость не имеет морфологической значимости; ср. характеристику {Iden: E^r}: (35а) *Gōšt-ē rā ke az bāzār* ***xarida-yi*** *poxta mēkoni* "Ты варишь мясо, которое ***купил*** на базаре" (=E^r) – (35б) *Gōšt-ē rā ke az bāzār* ***xarida-yi*** *poxta kon* "Свари мясо, которое ты ***купил*** на базаре" (!E^r). У речевого акта этот признак всегда принимает значение =E^s, т.е. не имеет различительной силы.

Применительно к участникам событий (P) признак опознаваемости касается отождествимости данного семанта с объективно существующим лицом или предметом: =P – это определенное лицо или предмет; ?P – неопределенное лицо или предмет; ≠P – обобщенное лицо или предмет. Значений желательности и внемодальности участники событий не принимают.

Категория {Iden: aP^n} (опознаваемость активного участника излагаемого события) различает граммемы {Iden: =aP^n}, {Iden: ?aP^n} и {Iden: ≠aP^n}; ср.: (36а) *Hargāh dar rā* ***bekōbad*** *darwāzabān ān rā mēgošāyad* "Если (он, т.е. некое определенное лицо) ***постучится*** в дверь, привратник ее отворит" (=aP^n) – (36б) *Hargāh dar rā* ***bekōband*** *darwāzabān ān rā mēgošāyad* "Если ***постучатся*** в дверь, привратник ее отворит" (?aP^n) – (36в) *Hargāh dar rā* ***bekōbi*** *darwāzabān ān rā mēgošāyad* "Если постучаться (букв.: ***постучишься***) в дверь, привратник ее отворит" (≠aP^n).

Опознаваемость прочих участников событий (а именно – pP^n, iP^n, P^a, P^r и P^s) морфологической значимости не имеет; ср., например, характеристику {Iden: aP^r}: (37а) *Garće jāy tang* ***ast*** *motawajjeh-e ān namēšawad* "Хотя и тесно (букв.: место ***есть*** тесное), он (т.е. некое определенное лицо) на это не обращает внимания" (=aP^r) – (37б) *Garće jāy tang* ***ast*** *motawajjeh-e ān namēšawand* "Хотя и тесно (букв.: место ***есть*** тесное), на это не обращают внимания" (?aP^r) – (37в) *Garće jāy tang* ***ast*** *motawajjeh-e ān namēšawi* "Хотя и тесно (букв.: место ***есть*** тесное), на это не обращаешь на это внимания" (≠aP^r).

4.5. Категории-десигнаторы (итоги)

Таким образом, у личных форм глаголов языка дари выделяется 11 категорий-десигнаторов, которые характеризуют четыре семанта: E^n, E^a, E^s и aP^n; это показано в табл. 2.

Таблица 2

Категории-десигнаторы личных глагольных форм языка дари

Семантические признаки	С е м а н т ы			
	излагаемое событие	действие	речевой акт	активный участник излагаемого события
состав	{Comp: E^n}	–	–	{Comp: aP^n}
объем	{Size: E^n}	{Size: E^a}	{Size: E^s}	{Size: aP^n}
существование	{Exis: E^n}	{Exis: E^a}	–	–
опознаваемость	{Iden: E^n}	{Iden: E^a}	–	{Iden: aP^n}

5. КАТЕГОРИИ-КОННЕКТОРЫ

Категории-коннекторы у глаголов дари характеризуют семанты по следующим семантическим признакам: 1) по темпоральным отношениям между двумя разнотипными семантами (символически – {Temp: S_1/S_2}); 2) по идентификационным отношениям между двумя разнотипными семантами ({Iden: S_1/S_2}).

5.1. Темпоральные отношения между семантами

Семантический признак темпоральных отношений между двумя разнотипными семантами ({Temp: S_1/S_2}) принимает у глаголов дари три значения, способные образовывать граммемы: 1) одновременность первого семанта второму (символически – {Temp: $S_1 \| S_2$}), 2) следование первого семанта за вторым ({Temp: $S_1 < S_2$}), 3) предшествование первого семанта второму ({Temp: $S_1 > S_2$}).

В темпоральные отношения могут входить только события (E). Применительно к двум событиям признак темпоральных отношений касается их взаимного расположения на временно́й оси.

Категория {Temp: E^r/E^s} (темпоральное отношение события-ориентира к речевому акту) различает граммемы {Temp: $E^r \| E^s$}, {Temp: $E^r < E^s$} и {Temp: $E^r > E^s$}; ср.: (38а) *Mā emrōz* ***kār mēkonēm*** "Мы сегодня ***работаем***" ($E^r \| E^s$) – (38б) *Mā fardā* ***kār xwāhēm kard*** (или ... ***kār mēkonēm***) "Мы завтра ***будем работать***" ($E^r < E^s$) – (38в) *Mā dirōz* ***kār mēkardēm*** "Мы вчера ***работали***" ($E^r > E^s$).

Категория {Temp: E^n/E^r} (темпоральное отношение излагаемого события к событию-ориентиру) различает граммемы {Temp: $E^n \| E^r$}, {Temp: $E^n < E^r$} и {Temp: $E^n > E^r$}; ср.: (39а) *Ānhā hamēša bā man* ***komak mēkonand*** "Они всегда ***помогают*** мне" ($E^n \| E^r$) – (39б) *Ānhā az in ba ba'd hamēša bā man* ***komak mēkonand*** (или ... ***komak xwāhand kard***) "Они впредь всегда ***будут помогать*** мне" ($E^n < E^r$) – (39в) *Ānhā tā hāl hamēša bā man* ***komak karda-and*** (или ... ***komak mēkardand***) "Они до сих пор всегда ***помогали*** мне" ($E^n > E^r$). Данная категория отлична от рассмотренной выше категории {Temp: E^r/E^s}: их различие проявляется в том, что граммемы этих двух категорий с одинаковыми значениями иногда выражаются по-разному; ср.: (40а) *Man in felm rā tā konun sē bār* ***tamāšā karda-am*** "Я уже (т.е. к настоящему моменту) ***смотрел*** этот фильм три раза" ($E^n > E^r \| E^s$) – (40б) *Man dar ān rōzhā in felm rā sē bār* ***tamāšā kardam*** "Я в те дни ***смотрел*** этот фильм три раза" ($E^n \| E^r > E^s$).

Категория {Temp: E^a/E^n} (темпоральное отношение действия к излагаемому событию) различает граммемы {Temp: $E^a \| < E^n$} и {Temp: $E^a > E^n$}; ср.: (41а) разг. *Solaymān-a ke didom bālāpōš* ***mēpōšid*** "Когда я увидел Сулеймана, тот ***надевал*** пальто" ($E^a \| E^n$) или "Когда я увидел Сулеймана, тот ***намеревался надеть*** пальто" ($E^a < E^n$) – (41б) разг. *Solaymān-a ke didom bālāpōš* ***pōšida bud*** "Когда я увидел Сулеймана, тот был в пальто (букв.: ***был надевшим*** пальто)" ($E^a > E^n$). Данная категория отлична от рассмотренной выше категории {Temp: E^n/E^r}: их различие проявляется в том, что граммемы этих двух категорий с одинаковыми значениями иногда выражаются по-разному; ср.: (42а) *Tu yak hafta mariz* ***šodi*** "Ты проболел (букв.: ***сделался*** больным) неделю" ($E^a > E^n \| E^r$) – (42б) *Tu qabl az ān wāqe'a mariz* ***šoda budi*** "Ты заболел (букв.: (еще раньше) ***сделался*** больным) до того происшествия" ($E^a \| E^n > E^r$). Данная категория отлична и от рассмотренной ранее категории {Temp: E^r/E^s}; ср.: (43а) *Ahmad pošt-e mēz* ***nešasta ast*** "Ахмад сейчас сидит за столом (букв.: ***есть севший*** за стол)" ($E^a > E^n \| E^r \| E^s$) – (43б) *Ahmad dar ān hangām pošt-e mēz* ***mēnešast*** "Ахмад в тот момент ***садился*** за стол" ($E^a \| E^n \| E^r > E^s$).

Прочие темпоральные отношения между событиями (а именно – E^n/E^s, E^a/E^r и E^a/E^s), морфологической значимости не имеют; ср., например, характеристику {Temp: E^a/E^s}: (44а) разг. *Tu ālē* ***myāmadi*** "Ты ***собирался приехать*** сейчас" ($E^a \| E^s$) – (44б) разг. *Tu sabā* ***myāmadi*** "Ты ***собирался приехать*** завтра" ($E^a < E^s$) – (44в) разг. *Tu dinarōz* ***myāmadi*** "Ты ***собирался приехать*** вчера" ($E^a > E^s$).

5.2. Идентификационные отношения между семантами

Семантический признак идентификационных отношений между двумя разнотипными семантами ({Iden: S_1/S_2}) принимает у глаголов дари два значения, способные образовывать граммемы: 1) нетождественность первого семанта второму (символически – {Iden: $S_1 \neq S_2$}), 2) тождественность первого семанта второму ({Iden: $S_1 = S_2$}).

Применительно к двум участникам событий (P) признак идентификационных отношений сводится к совпадению либо несовпадению семанта одного типа с тем или иным семантом другого типа.

Категория {Iden: pP^a/aP^n} (идентификационное отношение между пассивным участником действия и активным участником излагаемого события) различает граммемы {Iden: $pP^a \neq aP^n$} и {Iden: $pP^a = aP^n$}; ср.: (45а) *Laylā Mastura rā dar maktab* ***did*** "Лейла ***увидела*** Мастуру в школе" ($pP^a \neq aP^n$) – (45б) *Mastura dar maktab* ***dida šod*** "Мастуру видели (букв.: Мастура ***была увидена***) в школе" ($pP^a = aP^n$).

Следует отметить, что участники одного и то же события не могут считаться тождественными, даже если их денотаты совпадают; поэтому в случаях возвратного и взаимного действия, например, в (45в) *Laylā xod rā dar āyina* ***did*** "Лейла посмотрелась (букв.: ***увидела*** себя) в зеркало" и в (45г) *Laylā-wo Mastura hamdigar rā dar maktab* ***didand*** "Лейла и Мастура увиделись (букв.: ***увидели*** друг друга) в школе" семант aP^a нетождествен семанту pP^a, а семант aP^n – семанту pP^n. Не случайно (45д) ***Laylā Laylā** rā dar āyina did* "Лейла увидела Лейлу в зеркале" и (45е) ***Laylā-wo Mastura Mastura-wo** Laylā rā dar maktab dídand* "Лейла и Мастура увидели Мастуру и Лейлу в школе" едва ли могут быть признаны приемлемыми (разве что речь идет о двух разных Лейлах и двух разных Мастурах). Следовательно, в (45вг), в отличие от (45б), налицо граммема {Iden: $pP^a \neq aP^n$}.

Категория {Iden: aP^n/aP^s} (идентификационное отношение между активным участником излагаемого события и активным участником речевого акта) различает граммемы {Iden: $aP^n \neq aP^s$} и {Iden: $aP^n = aP^s$}; ср.: (46а) *Hālā dar hawēli* ***dāxel mēšawad*** "(Он) сейчас ***войдет*** во двор" ($pP^n \neq aP^s$) – (46б) *Hālā dar hawēli* ***dāxel mēšawam*** "(Я) сейчас ***войду*** во двор" ($pP^n = aP^s$).

Категория {Iden: aP^n/pP^s} (идентификационное отношение между активным участником излагаемого события и пассивным участником речевого акта) различает граммемы {Iden: $aP^n \neq pP^s$} и {Iden: $aP^n = pP^s$}; ср.: (46а) ($aP^n \neq pP^s$) – (46в) *Hālā dar hawēli* ***dāxel mēšawi*** "(Ты) сейчас ***войдешь*** во двор" ($aP^n = pP^s$).

Если денотат семанта aP^n представляет собой совокупность лиц, тождественность этого семанта тому или иному участнику речевого акта может касаться не всех, а лишь некоторых из этих лиц; например: (46г) *Hālā dar hawēli* ***dāxel mēšawēm*** "(Я и он, я и они) сейчас ***войдем*** во двор" ($aP^n = aP^s + iP^s$), (46д) *Hālā dar hawēli* ***dāxel mēšawēd*** "(Ты и он, ты и они) сейчас ***войдете*** во двор" ($aP^n = pP^s + iP^s$). Поэтому граммемы категорий {Iden: aP^n/pP^s} и {Iden: aP^n/pP^s} могут сочетаться между собой любыми логически возможными способами; ср.: (46а) ($aP^n \neq aP^s$, $aP^n \neq pP^s$) – (46бг) ($aP^n = aP^s$, $aP^n \neq pP^s$) – (46вд) ($aP^n \neq aP^s$, $aP^n = pP^s$) – (46е) *Hālā har du dar hawēli* ***dāxel mēšawēm*** "(Мы с тобой) сейчас ***войдем*** во двор" ($aP^n = aP^s$, $aP^n = pP^s$).

Прочие идентификационные отношения между разнотипными участниками событий (а именно – aP^a/P^n, pP^a/pP^n, pP^a/iP^n, iP^a/P^n, P^a/P^r, P^a/P^s, P^n/P^r, aP^n/iP^s, pP^n/P^s, iP^n/P^s и P^r/P^s), морфологической значимости не имеют; ср., например, характеристику {Iden: aP^a/aP^n}: (47а) *Šomā pērāhan-etān rā ba dast-e xod* ***mēdōzēd***? "Вы ***шьете*** себе платье сами (букв.: собственными руками)?" ($aP^a = aP^n$) – (47б) *Šomā pērāhan-etān rā bālā-ye xayyāt* ***mēdōzēd***? "Вы ***шьете*** себе платье у портного?" ($aP^a \neq aP^n$); ср. также характеристики {Iden: pP^n/aP^s} и {Iden: pP^n/pP^s}: (48а) разг. *Unā ma-ra* ***našnāxtan*** "Они меня ***не узнали***" ($pP^n = aP^s$, $pP^n \neq pP^s$) – (48б) разг. *Unā to-ra* ***našnāxtan*** "Они тебя ***не узнали***" ($pP^n \neq aP^s$, $pP^n = pP^s$) – (48в) разг. *Unā u-ra* ***našnāxtan*** "Они его ***не узнали***" ($pP^n \neq aP^s$, $pP^n \neq pP^s$)[12].

Применительно к двум событиям (E) признак идентификационных отношений сводится к их совпадению либо несовпадению, а это определяется характеристиками

[12] В языках, допускающих эргативную конструкцию (например, в пашто – см. выше сноску 8), характеристики {Iden: pP^n/aP^s} и {Iden: pP^n/aP^s} имеют морфологическую значимость и образуют морфологические категории.

каждого из этих событий (что рассмотрено в п. 4) и совпадением либо несовпадением их участников (что рассмотрено *выше*). *Поэтому идентификационные отношения между событиями сами по себе морфологической значимости не имеют.*

Применительно к событию и участнику события (E и P) признак идентификационного отношения сводится к совпадению либо несовпадению одного из событий (вместе со всеми его участниками) с одним из одним из участников другого события.

Категория {Iden: E^n/P^r} (идентификационное отношение между излагаемым событием и любым из участников события-ориентира) различает граммемы {Iden: $E^n \neq P^r$} и {Iden: $E^n = P^r$}; ср.: (49а) *Nārāzi šodam agarče berādar-am mosābeqa* ***borda bud*** "Я огорчился, хотя мой брат и ***выиграл*** состязание" ($E^n \neq P^r$) – (49б) *Ba man ma'lum šod ke berādar-am mosābeqa* ***borda ast*** (или ... ***borda bud***) "Мне стало известно, что мой брат ***выиграл*** состязание" ($E^n = aP^r$) – (49в) *Dānestam berādar-am mosābeqa* ***borda ast*** (или ... ***borda bud***) "Я узнал, что мой брат ***выиграл*** состязание" ($E^n = pP^r$) – (48г) *Ettelā' yāftam ke berādar-am mosābeqa* ***borda ast*** (или ... ***borda bud***) "Я получил известие, что мой брат ***выиграл*** состязание" ($E^n = iP^r$).

Что касается прочих идентификационных отношений между событиями и участниками событий, то о содержании этого признака трудно сказать что-либо определенное; однако ни одно из них морфологической значимости не имеет.

5.3. Категории-коннекторы (итоги)

Таким образом, у личных глагольных форм языка *дари выделяется* 8 категорий-коннекторов, которые характеризуют девять семантов: E^n, aP^n, E^a, pP^a, E^r, P^r, E^s, aP^s и pP^s; это показано на схеме 1 (где эти семанты расположены так же, как в табл.1).

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Как явствует из пп. 4–5, у личных форм глаголов языка дари обнаруживается 18 морфологических категорий, каждая из которых различает от двух до пяти граммем.

Некоторые из рассмотренных здесь глагольных категорий имеют соответствия среди категорий, классифицированных в работе [Якобсон 1972: 100–101]: категории {Comp: E^n} и {Size: E^n} соответствуют виду, {Comp: aP^n} – числу, {Exis: E^a} – статусу, {Iden: E^n} – наклонению, {Temp: E^r/E^s} – времени, {Temp: E^n/E^r} – *таксису*, {Iden: pP^a/aP^n} – залогу, {Iden: aP^n/aP^s} и {Iden: aP^n/pP^s} – *лицу*, а {Iden: E^n/P^r} – засвидетельствованности. *Ни одной из прочих* рассмотренных здесь категорий никакая глагольная категория, упоминаемая Р.О. Якобсоном, не соответствует[13].

В описаниях систем личных форм глаголов языка дари и близкородственных ему персидского и таджикского языков принято выделять не более четырех-пяти морфологических категорий: залога, наклонения, времени (и вида), лица и числа[14]. Это объясняется тем, что при традиционном, семасиологическом подходе к фактам языка (см. п. 1) морфологические категории выделяются обычно с таким расчетом, чтобы каждая из них располагала специфическими, присущими только ей способами и средствами выражения. Прочие же категории либо "подстегиваются" к уже выделенным, либо

---

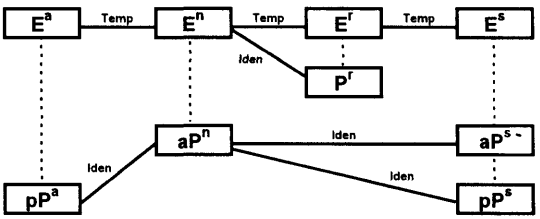
[13] Впрочем, среди классифицированных Р.О. Якобсоном глагольных категорий есть такая, которой не соответствует ни одна из категорий, перечисленных в данной статье: это категория рода, которая в языке дари, как уже упоминалось ранее (см. п. 3), отсутствует. В тех языках, где эта категория имеется, можно выделить пятый семантический признак, образующий категории-десигнаторы (помимо четырех, выделенных в п. 4): это признак класса, характеризующий участников событий (aP^n, а в эргативных конструкциях – pP^n) и принимающий два, три или более значений (чаще всего – "мужской" и "женский", иногда – "мужской", "женский" и "средний"). Есть основания полагать, что признак класса способен характеризовать и некоторые события (разумеется, в этом случае он не имеет отношения к признаку пола).

[14] См., например [Киселева 1985: 78; Рубинчик 1960: 74; Расторгуева, Керимова 1964: 31].

попросту игнорируются. Например, поскольку характеристики {Comp: aP^n} и {Size: aP^n} выражаются одними и теми же морфологическими средствами, их принято объединять в категорию числа[15].

Схема 1

Категории-коннекторы личных глагольных форм языка дари



При том подходе к языковым фактам, который соблюдается в данной статье, установление соотношений между граммемами и средствами их морфологического выражения составляет уже следующий этап описания значений личных форм (который выходит за пределы рассматриваемой здесь темы)[16]. Применительно к глаголу языка дари (как, впрочем, и многих других языков) этот этап описания оказывается весьма сложным и трудоемким, так как способы выражения разных категорий часто пересекаются друг с другом, иногда – самым причудливым образом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ахманова О.С. 1966 – Словарь лингвистических терминов. М., 1966.

Бондарко А.В. 1976 – Теория морфологических категорий. Л., 1976.

Гранде Б.М. 1963 – Курс арабской грамматики в сравнительно-историческом освещении. М., 1963.

Грюнберг А.Л. 1987 – Очерк грамматики афганского языка (пашто). Л., 1987.

Даниленко В.П. 1988 – Ономасиологическое направление в истории грамматики // ВЯ, 1988. № 3.

Есперсен О. 1958 – Философия грамматики. М., 1958.

Кибрик А.Е. 1992 – Соотношение формы и значения в грамматическом описании // *Кибрик А.Е.* Очерки по общим и прикладным вопросам языкознания. М., 1992.

Киселева Л.Н. 1985 – Язык дари Афганистана. М., 1985.

Лопатин В.В. 1990 – Грамматическая категория // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

Островский Б.Я. 1995 – Способы выражения видо-временных значений в формах изъявительного наклонения глагола дари // ВЯ. 1995. № 5.

Расторгуева В.С., Керимова А.А. 1964 – Система таджикского глагола. М., 1964.

Рубинчик Ю.А. 1960 – Современный персидский язык. М., 1960.

Храковский В.С. 1989 – Семантические типы множества ситуаций и их естественная классификация // Типология итеративных конструций. Л., 1989.

Якобсон Р.О. 1972 – Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.

---

[15] Уместно отметить, что даже при семасиологическом подходе это спорно применительно к таджикскому языку, где значения $\bullet\bullet\bullet aP^n$ и $-aP^n$ (при $aP^n=pP^s$) выражаются не вполне одинаково (см. [Расторгуева, Керимова 1964: 28]).

[16] Один из фрагментов такого описания содержится в нашей работе [Островский 1995].

№ 5 1996

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский, М.Н. Михайлов, П.Б. Паршин, И.О. Романова. **Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике.** Около 8000 терминов. Т. 1./Под ред. А.Н. Баранова и Д.О Добровольского. М.: Помовский и партнеры, 1996. 642 с.

В науковедении доказано, что уровень исследовательских результатов зависит не только от интеллектуального потенциала ученого, но и от той научной среды, в которой он работает. Можно утверждать, что англоязычная лингвистическая литература образует в наше время ту среду, которая необходима для становления любого ученого-лингвиста. Известно, что в англо-американской лингвистической среде сформировалось большое количество научных школ, оказывающих существенное влияние на развитие мировой лингвистики. Отсюда следует, что описание англоязычной лингвистической терминологии важно как с точки зрения воспитания молодых лингвистов, так и с точки зрения выбора научного социума, стимулирующего появление новых результатов, отвечающих уровню мировой лингвистики.

В этом отношении опубликованный недавно "Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике" представляется явлением уникальным. Впервые русскоязычные языковеды могут получить информацию, необходимую для чтения и понимания английских и американских работ по лингвистике и семиотике. Будучи абсолютно оригинальным, словарь тем не менее опирается на определенную лексикографическую традицию.

Одна из первых российских словарных работ[1], в которой представлена английская лингвистическая терминология, — это словарь О.С. Ахмановой [Ахманова 1969]. Словарь в свое время заполнил существенную лакуну в описании лингвистической терминологии, но, учитывая бурное развитие современной лингвистики за последние два десятилетия, его вряд ли можно считать словарем современной лингвистической терминологии. Относительную ценность сохраняет лишь терминология, относящаяся к базовым понятиям лингвистической теории. В любом случае словарь Ахмановой не может рассматриваться как двуязычный словарь лингвистических терминов. Имелись и более ранние прецеденты, например [Трахтеров 1962], посвященный английской фонетической терминологии. Он, как и книга Ахмановой, существенно устарел, кроме того, по жанру это не двуязычный словарь, а справочник.

Развитие лингвистической теории обнаружило недостаточность существующих словарных изданий. Более того, стало ясно, что некоторые важнейшие типы словарей вообще не представлены в лексикографической практике. Как реакция на это в конце 70-х — начале 80-х годов появляются два выпуска работы В.З. Демьянкова [Демьянков 1979; 1982]. По ряду параметров этот словарь остается на данный момент непревзойденным. Он, например, включает обширную аннотированную библиографию, привязанную к лингвистическим теориям и терминам. Кроме того, в структуру словарной статьи введен комментарий, близко к тексту воспроизводящий интерпретацию источника[2]. Тем

[1] Зарубежная традиция словарного описания лингвистической терминологии с интересующей нас точки зрения (наличия английских и русских терминов) представлена в основном многоязычными словарями [Nash 1968; ССЛТ 1977]. Многоязычные словари, как правило, ограничены по словнику и не содержат комментариев и примеров. В силу этого здесь они не рассматриваются.

[2] См. также аналогичное представление терминологии порождающей грамматики в [Abraham 1988].

не менее, это издание тематически ограничено и, кроме того, включает целый ряд терминов, актуальных для 70-х годов, но совершенно не использующихся сейчас.

В конце 80-х — начале 90-х годов для немецкого и французского языков образовавшаяся лакуна была заполнена словарями [Баранов, Добровольский 1993; Назарян 1989]. Словарь Назаряна в первую очередь ориентирован на задачи преподавания французского языка. Словарь Баранова и Добровольского, направленный скорее на решение чисто научных задач, для некоторых терминов включал английские эквиваленты и был снабжен индексами, позволявшими использовать его и для поиска русских эквивалентов к английским терминам. Однако, поскольку наличие английских эквивалентов было в нем вспомогательным, отсутствие англо-русского словаря лингвистической терминологии не компенсировалось.

Рецензируемая работа охватывает довольно большой пласт лингвистической терминологии. В ней представлено более 8000 терминов. Здесь терминологию, отраженную в словаре, можно условно разбить на несколько больших групп: 1) традиционная лингвистическая терминология; 2) английская традиционная грамматическая терминология; 3) терминология новых лингвистических направлений; 4) терминология "стыка наук" и 5) названия языков и языковых групп.

Поскольку традиционная лингвистическая терминология более или менее подробно представлена в словаре О.С. Ахмановой и других упоминавшихся выше, изданиях, авторы словаря, очевидно, не стремились давать детальный комментарий по общеизвестным традиционным терминам типа *morphology* или *noun*. Развернутые комментарии по терминам такого рода (которые, несмотря на свою "традиционность", все же не являются однозначными и навсегда определенными) превратили бы словарь из переводного в энциклопедический. Разумеется, в традиционной терминологии есть малоизвестные и редко употребляющиеся термины, например, названия падежных форм в неиндоевропейских языках (*allative*, *essive*, *illative* и т.п.), которые подробно комментируются в рецензируемом издании.

Особо следует выделить традиционную английскую грамматическую терминологию. Это названия различных грамматических форм английского языка — названия именных форм типа *possessive case*, глагольных форм, например, *gerund*. Особое место здесь занимают названия английских грамматических временных форм, например, *present continuous*, *past perfect* или *possessive pronoun*. Этот пласт терминологии достаточно часто встречается не только в научной литературе, но и в литературе справочного характера, и поэтому представляют интерес не только для профессиональных лингвистов, но и для людей, изучающих английский язык, тем более что в английской грамматике не существует единой традиции и многие из терминов имеют по нескольку синонимов, например, *present indefinite* и *present simple*. Следует отметить, что в отечественных лингвистических словарях традиционная английская лингвистическая терминология представлена плохо. Например, словарь О.С. Ахмановой не фиксирует эти термины, так как "вход" у словаря — русский, в работе В.З. Демьянкова, посвященной терминологии прикладной лингвистики, эти термины также отсутствуют.

Однако авторы словаря обращают особое внимание не на первые две группы терминов (термины первой группы в большинстве случаев можно найти в других словарях, термины второй группы фиксируются в грамматических справочниках), а на терминологию следующих двух групп, которые в словарях почти не представлены. К числу немногих исключений относится уже упоминавшийся словарь В.З. Демьянкова [1979; 1982].

Итак, в словаре наряду с традиционной лингвистической терминологией зафиксирована терминология, характерная для новых лингвистических направлений, сформировавшихся за последние десятилетия, таких как грамматика зависимостей, порождающая грамматика, порождающая семантика, теория речевых актов, лингвистика текста и т.п. Очень многие из этих лингвистических теорий сформировались в англоязычной лингвистической традиции, поэтому именно форма англо-русского словаря оказалась необычайно удачной для описания этой части лингвистической терминосистемы[3]. В сло-

[3] Отметим, что в "Немецко-русском и русско-немецком словаре лингвистических терминов" [Баранов, Добровольский 1993], терминология по многим из "новых направлений" представлена заметно хуже, и это произошло именно оттого, что большинство терминов порождающей грамматики, порождающей семантики, теории речевых актов и

варе также представлены термины совсем молодых направлений — теории управления и связывания, метрической и автосегментной фонологии, когнитивной лингвистики, теории аргументации, логического анализа естественного языка. Эта терминология представляет большие проблемы для лингвистов, читающих на английском языке, поскольку она сильно отличается от терминологической системы русистики и традиционного языкознания. Почти все из перечисленных направлений активно пользуются терминологией, заимствованной из математики и математической логики, что также представляет определенные сложности для лингвиста, работающего в рамках традиционного языкознания. Все термины из этих областей, представленные в словаре, подробно комментируются, что в какой-то степени помогает компенсировать недостаток фоновых знаний у части потенциальных пользователей словаря. Следует отметить, что переводы некоторых из новых терминов предложены самими авторами, поскольку в русской лингвистической традиции эти термины еще не употребляются, а соответствующие работы не переведены на русский язык. Примером могут служить некоторые термины лингвистики текста из работ Р. де Богранда (R. de Beaugrande), например *recurrence-of* — «отношение "повтор"», *cause-of* — «"быть причиной", отношение "причина"», некоторые термины психолингвистики, например, *fatherese* — "отцовский язык", *motherese* — "материнский язык" и т.д. Таким образом, в ряде случаев рецензируемое издание функционирует как источник данных для нормативного словаря.

В большинстве случаев отечественные лингвистические словари не включают междисциплинарную терминологию. Между тем видно, что современная лингвистическая теория не может нормально развиваться без использования знаний, накопленных в других гуманитарных науках — в психологии, философии, логике, семиотике. С другой стороны, фонетика и фонология тесно связаны с естественными науками — акустикой, физикой, физиологией. Особо следует отметить последствия компьютерной революции, приведшей к проникновению в лингвистическую терминологию и жаргон лингвистов значительного числа компьютерных терминов. В словаре можно найти довольно много терминов смежных дисциплин, таких, как нарратология, теория концептуальных зависимостей, машинный перевод, психолингвистика, компьютерная лингвистика и др. Важное место занимают здесь термины, связанные с применением компьютера для исследования языка и речевых процессов, такие, как *interface, natural language processing, search, parsing* и т.п. Эти термины малоизвестны лингвистам, работающим в рамках традиционного языкознания, что нередко приводит к путанице, поэтому их фиксация имеет большое значение.

Составители рецензируемого словаря сочли уместным включить в него лингвонимы — названия языков и диалектов мира, хотя обычно такую информацию помещают в энциклопедические, а не терминологические словари. Тем не менее наличие в данном англо-русском словаре лингвистической терминологии, который, как подчеркивается в предисловии к книге "является в первую очередь переводным", обширного корпуса лингвонимов — свыше 700 названий — представляется весьма полезной инновацией по нескольким причинам. Прежде всего словарем могут и — мы надеемся — станут пользоваться не только специалисты-лингвисты, но и люди, не обладающие специальными познаниями в лингвистике, но изучающие английский язык или уже владеющие им. Доступные англо-русские словари, как правило, содержат крайне скудную номенклатуру лингвонимов и включают лишь наиболее распространенные из них, а значит, не вызывающие сомнений. Между тем английское название языка может сильно отличаться от привычного русского названия, и тогда поиск русского эквивалента превращается в утомительное занятие, требующего дополнительного времени и знаний. Например, *эвенский язык* из семьи тунгусо-маньчжурских языков до сих пор принято называть *Lamut (language)*, хотя соответствующий русский эквивалент — "ламутский язык" считается устаревшим. Язык дунган, живущих в Узбекистане, Киргизии и Казахстане, по-английски называется *Dungan*, а язык той же этноконфессиональной группы (китайцев-мусульман), но проживающих в Китае — *Hui-zu*. Список подобных примеров можно продолжить.

С другой стороны, очевидно, что при отборе названий языков учитывались ин-

---

т.п. "импортированы" в немецкий из английского языка и используются как заимствования.

тересы лингвистов-теоретиков. В словаре представлены названия основных (по числу носителей, степени изученности, культурно-исторической значимости) языков и диалектов всех языковых семей, включая мертвые языки. Наряду с названиями языков, включены названия самих языковых семей и ветвей или основных групп языков внутри семьи. Необычно полно для издания на русском языке представлены названия языков индейцев Северной и Южной Америки и австралийских языков. Между тем традиция передачи их названий на русском языке практически полностью отсутствует, поэтому в отечественных типологических работах один и тот же язык — по усмотрению авторов — может называться по-разному (например, североамериканский индейский язык *Tlingit* называют и "тлингит", и "тлинкит"). Словарь, таким образом, берет на себя задачу нормирования русских вариантов названий "экзотических" языков, данные которых уже вошли в обиход мировой лингвистической типологии.

Весьма полно, практически исчерпывающе, представлены в словаре названия языков бывшего СССР. Это окажет значительную помощь отечественным лингвистам, специализирующимся по данным языкам и все чаще получающим в последние годы возможность печатать свои работы на английском языке.

Словарная статья при термине-названии языка имеет следующую структуру. Для каждого языка указывается генетическая принадлежность на уровне языковой семьи, а в случае разветвленной структуры семьи — вплоть до ветви, группы или даже подгруппы. Следует отметить, что в определении генетической принадлежности языка авторы следуют наиболее *авторитетной для каждого* конкретного случая классификации. В случае неопределенности генетических связей языка или семьи языков приводятся соответствующие комментарии, например:

«**Ainu** айский (язык), айну ✧ Язык айнов — жителей о-вов Хоккайдо, Хонсю, Сахалина, Курильских о-вов, южн. части п-ова Камчатки. Генетические связи не установлены. Согласно другой точке зрения, относится к алтайским языкам...

Yuman (languages) язык юма ✧ Семья индейских языков Сев. Америки. Традиционно относятся к языкам хока».

Полная генетическая справка приводится и при вариантном названии языка, причем отсылкой сопровождается каждое из вариантных названий в том случае, если они не являются графическими вариантами. Статьи, которые включают орфографические *варианты лингвонимов*, поданы как отсылочные и не содержат никакой дополнительной информации. Но и в этом случае в словарной статье при основном варианте есть отсылка к второстепенному (орфографическому) варианту/вариантам названия языка. Синонимичные названия помечены римскими цифрами, например:

«**Norse I** общескандинавский (язык)
Norse II древнеисландский (язык)».

Зона комментария содержит весьма разнородную информацию, в том числе, помимо лингвистической — о генетической отнесенности, различных подходах к классификации, употребительности термина и т.п., — также информацию энциклопедического характера. Так, для языков с длительной литературной традицией приводятся сведения о времени ее зарождения и/или существования, а также о форме существования литературной нормы (например, для норвежского языка); приводятся сведения о наиболее ранних письменностях. Для некоторых языков указывается их статус (государственный, дипломатический, лингва франка и т.п.). В тех случаях, когда это существенно, указывается географический ареал распространения языка. Обилие информации в комментариях к названиям языков отражает идеологию *составителей* — сделать не просто терминологический, а толковотерминологический словарь, что значительно повышает познавательную ценность издания.

Словник словаря расположен по алфавитному принципу. Термины-словосочетания упорядочиваются по первому слову, например, термин *nominal classification* следует искать по алфавитному месту слова *nominal*. Пробелы, дефисы и т.п. при алфавитизации не учитываются. В качестве примера приведем небольшой фрагмент словника словаря:

...
neutralizable
neutralizable opposition
neutralization
neutral use of gradable adjective
neutral vowel
new
...

Способ организации материала отличается от традиционно используемого в терминологических словарях "гнездового принципа". В этом случае в словарной статье фиксируется не один термин, а однословный термин и группа производных от него терминов-словосочетаний. Таким образом, термин-словосочетание в таком словаре следует искать внутри словарной статьи на однословный термин. Например, в "Большом англо-русском и русско-английском словаре по бизнесу" [БАРБ 1993] в статье "security" фиксируются также термины *security by an advance, security clause, security for a claim through the court, assignment of right to security, insured security* и т.д. Принцип, предлагаемый авторами рецензируемого словаря, несколько менее экономен. Однако представляется, что в конечном итоге словарь, организованный по такому принципу, оказывается более удобным для пользователя, которому не нужно думать, на какое слово следует искать термин *neutral use of gradable adjective* — на *neutral, use, gradable* или *adjective*.

Подчеркнем, что рецензируемое издание является только первым томом задуманного словаря. Второй том, который уже подготовлен к печати, включает комплекс индексов и указателей, облегчающих поиск нужного термина. В частности, второй том содержит русско-английский индекс, позволяющий по русскому термину найти его эквиваленты, представленные в первом томе. Кроме того, содержащийся там же англо-английский указатель фактически реализует идею гнездовой организации словника.

Словарная статья имеет довольно сложную структуру. Это связано с тем, что во многих случаях недостаточно просто привести русские эквиваленты. Например, перевод английского термина "application" — "аппликация" ничего не даст пользователю словаря, который не знает этого термина, а тот, кто знает значение русского термина, вряд ли будет искать его в словаре. В этих случаях необходим комментарий, описывающий сферу употребления термина. Например, для термина "application" предлагаемый в словаре комментарий имеет следующий вид: "Применимость лингвистических единиц в определенных контекстах и ситуациях" [с. 40].

Словарная статья "Англо-русского словаря по лингвистике и семиотике" включает восемь зон: (1) вход — термин в исходной форме; (2) зона грамматической и стилистической информации; (3) русские переводные эквиваленты; (4) комментарий, содержащий элементы толкования и языковые примеры; (5) принятое сокращение; (6) отсылки к (квази)синонимам; (7) отсылки к гипонимам, когипонимам и/или гипероним; (8) отсылки к (квази)антони-мам.

1. Особенность первой зоны заключается в том, что все варианты термина (орфографические, словообразовательные и т.п.) оформляются как отдельные словарные статьи. Такой вид представления существенно облегчает поиск термина в словаре.

Следует отметить, что одна из характерных особенностей английской орфографической традиции — отсутствие четких правил, определяющих слитное или раздельное написание, употребление дефиса, а также орфографическое оформление некоторых грамматических форм. Например, встречаются написания *co-ordination* и *coordination, loanblend* и *loan blend, cognise* и *cognize, esophageal* и *oesophageal*. Определить, какое из написаний правильное, зачастую представляется проблематичным. Существуют британский и американский варианты английского языка, традиции орфографии в этих вариантах несколько отличаются. На какой вариант опираться? Это не очевидно, так как во-первых, часть терминов введена американскими лингвистами, а другая часть — английскими, а, во-вторых, во многих случаях не удается даже установить, для какого варианта английского языка характерно данное написание. Поскольку рецензируемое издание не преследует целей нормирования английской терминологии, в той или иной форме учитываются все зафиксированные варианты написания терминов.

Многозначные термины, представлены в словаре в виде отдельных словарных статей под римскими цифрами I, II, III. Например:

«**concord I** согласование ✧ Вид синтаксической связи. ⇳ agreement, congruence

concord II согласованность ✧ Соотношение между целями персонажей повествования, при котором цели одного персонажа совместимы с целями другого. Термин нарратологии и прикладной лингвистики.. ⇔ *competition*».

2. Во второй зоне словарной статьи

помещается информация о наиболее существенных грамматических характеристиках термина.

Если термин — словосочетание или имя существительное без каких-либо грамматических особенностей, то зона остается незаполненной. Для существительных, не имеющих формы единственного числа или, как правило, употребляющихся во множественном числе, дается помета *pl*, например, «**alveoles** *pl*». Если множественное число образуется нерегулярным способом, то такая форма указывается, например, «**corpus** *pl corpora*».

При глаголах даются сведения об их переходности (*vt*) или непереходности (*vi*), в случае, если глагол может выступать и как переходный и как непереходный, ставится помета *v*, например, «**command II** *vt*», «**coalesce** *vi*», «**aspirate II** *v*».

Для прилагательных и наречий пометами *a* и *adv* указывается их частеречная принадлежность: «**common I** *a*», «**literally** *adv*».

Термины-словосочетания не имеют в словарной статье никакой грамматической информации. Например:

«**literary stylistics** стилистика художественного текста».

3. Переводы (если их более одного) помещаются, как правило, в порядке их предпочтительности, например:

«**local dialect** местный диалект, региональный диалект, территориальный диалект».

Зона переводных эквивалентов заполняется обязательно и остается пустой лишь в двух случаях:

а) в словарных статьях на аббревиатуры, не имеющие соответствия в русском языке, например:

«**MLU** → *mean length of utterance*»;

б) в отсылочных словарных статьях, например:

«**Mojave** → *Mohave*».

4. Помимо собственно перевода, словарная статья в необходимых случаях включает также краткий комментарий. Это сближает данный словарь с толковыми лингвистическими словарями. Наличие комментария оказывается весьма существенным фактором, способствующим выбору правильного эквивалента при переводе лингвистического текста.

Зона комментария вводится знаком ✧.Например:

«**monogenesis theory** теория моногенеза ✧ Теория о происхождении всех естественных языков из одного источника».

В комментарии могут указываться различные значения термина. Этот способ представления полисемии реализуется в тех случаях, когда для разных значений термина используются одни и те же переводные эквиваленты:

«**multilingualism** многоязычие ✧ Владение человеком/группой людей несколькими языками, употребление нескольких языков в пределах некоторой социальной общности. ⇕ *bilingualism, monolingualism*».

В случае, если термины, имеющие одинаковые переводные эквиваленты, относятся к совершенно разным предметным областям, используется описанное выше представление с римскими цифрами, например:

«**affix I** аффикс ✧ Грамматический. ⇕ *prefix, suffix, infix*

affix II аффикс ✧ Элемент синтаксической структуры предложения, такой, как "past", "present", "-ing", "-be" и т.п. Термин трансформационной порождающей грамматики».

В ряде случаев в зону примечаний включаются языковые примеры, что повышает «дружественность» словаря и помогает пользователю в интерпретации значения лингвистического термина. Например,

«**agentless** *a* бессубъектный ✧ О синтаксических конструкциях с формально не выраженным агенсом. Например, *The man was bitten [by a snake]*».

Для терминов, имеющих фиксированную сферу употребления или связанных с определенной лингвистической теорией, в комментарий вводятся соответствующие отсылки, например, "термин глоссематики", "термин трансформационной порождающей грамматики", "термин логического анализа естественного языка" и другие.

5. После знака ⊏ даются употребительные сокращения термина. Например:

«**automated data processing** автоматическая обработка данных ✧ С использованием вычислительной техники. Термин искусственного интеллекта и компьютерной лингвистики. ⊏ *ADP*».

6. Зона (квази)синонимов вводится знаком ⇨ . Например:

«**automatic translation** автоматический перевод, машинный перевод ✧ Термин прикладной лингвистики. ⇨ *machine translation, MT*».

7. Зона гипонимов, когипонимов и гиперонимов вводится знаком ⇳. Например:

«**coherence** связность, когерентность ✧ Характеристика текста. <...> Термин искусственного интеллекта, лингвистики текста и прикладной лингвистики. ⇳ *cohesion, conceptual connectivity*».

8. Зона (квази)антонимов вводится знаком ⇔ . Например:

«**etic** *а этический* ✧ *Не обладающий* семиотической значимостью. ⇔ *emic*».

В заключение сделаю несколько критических замечаний. Анализ текста словаря показывает, что степень подробности описания терминов различных лингвистических теорий и дисциплин не всегда одинакова. Авторы явно отдают предпочтение сфере семантики и прагматики, а также некоторым областям прикладной лингвистики. Например, терминология теории речевых актов, логического анализа естественного языка, когнитивной семантики, нарратологии в комментариях описана более полно, чем терминология современной фонетики и фонологии. Эта же претензия может быть предъявлена и к другим терминам. Так, термин *gradability* "градуируемость" мог бы содержать комментарий, в котором выявлялись бы отличия *gradability* от *grading* — известного семантического термина Э. Сэпира. Нет в рецензируемом словаре термина, обозначающего новейшее направление лингвистических исследований — "теоретическая семантика катастроф" [Wildgen 1982]. В библиографии отсутствуют ссылки на фундаментальную энциклопедию по семиотике под редакцией Т. Себеока [Sebeok 1990] и на двухтомный немецко-русский словарь лингвистической терминологии, выпущенный в Германии [Göschel, Parwanowa 1985] и на известный словарь Дж. Патерноста [Paternost 1965]. Некоторые написания языков не являются собственно английскими (ср. *Dargin* вместо *Dargwa, Archin* вместо *Archi*).

Подводя итог, следует сказать, что "Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике" является очень интересным и *полезным изданием — первым англо*-русским лингвистическим словарем достаточно большого объема, заполняющим значительную лакуну. Его следует рекомендовать как профессиональным лингвистам, так и студентам филологических специальностей, слушающим основные и дополнительные курсы по лингвистике и семиотике.

Нельзя также не упомянуть, что издание этой очень нужной книги стало возможным благодаря финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Ахманова О.С. 1969 — Словарь лингвистических терминов. М., 1969.

Баранов А.Н., Добровольский Д.О. 1993 — Немецко-русский и русско-немецкий словарь лингвистических терминов (с английскими эквивалентами). В 2-х томах. М., 1993.

БАРБ 1993 — Большой англо-русский и русско-английский словарь по бизнесу. М., 1993.

Демьянков В.З. 1979 — Англо-русские термины по прикладной лингвистике и автоматической обработке текста. Порождающая грамматика. М., 1979.

Демьянков В.З. 1982 — Англо-русские термины по прикладной лингвистике и автоматической обработке текста. Вып. 2. Методы анализа текста. М., 1982.

Назарян А.Г. 1989 — Французско-русский учебный словарь лингвистической терминологии. М., 1989.

ССЛТ 1977 — Словарь славянской лингвистической терминологии = Dictionary of Slavonic linguistic terminology / Ved. red. prof. dr. Alois Yedlička. Praha., 1977.

Трахтеров А.Л. 1962 — Английская фонетическая терминология. М., 1962.

Abraham W. 1988 — Terminologie zur neueren Linguistik. 2. Aufl., Tübingen, 1988.

Göschel B., Parwanowa E. 1985 — Russisch-deutsches Wörterbuch der linguistischen Terminologie. 1—2. Münster, 1985.

Nash R. 1968 — Multilingual lexicon of linguistics and philology: English, Russian, German, French. Florida, 1968.

Paternost *Y. 1965* — English-Russian glossary of linguistic terms. Pennsylvania State University, 1965.

Sebeok Th. (ed). 1990 — Encyclopeadic dictionary of semiotics. 1—3. Berlin, 1990.

Wildgen W. 1982 — Catastrophe theoretic semantics. Amsterdam; Philadelphia, 1982.

М.М. Маковский

Павлович Н.В. **Язык образов: Парадигмы образов в русском поэтическом языке.** М., 1995. 491 с.

Труд, посвященный проблеме образа, обречен на то, чтобы привлечь к себе повышенное внимание. Эта проблема затрагивает природу языка, его онтологию, существенна для исследований в области семантики и прагматики, принципиально важна при изучении языка в его эстетической функции, имеет выходы в лексикографию.

Среди лингвистов, историков литературы, эстетиков, философов до сих пор бытует *миф о наличии цельной теории* (художественного) образа, созданной Гумбольдтом и Гегелем, перенесенной на русскую почву Белинским, развитой Потебней и его школой (Овсянико-Куликовский, харьковские лезинские *сборники*). Однако при попытке познакомиться с этой теорией убеждаешься, что речь идет только об отдельных разрозненных замечаниях, не приведенных в систему ни одним из названных исследователей. Можно напомнить еще исключительно ценные замечания В.В. Виноградова о разномасштабности образов [Виноградов 1963: 119–120], но они опять-таки высказаны вне общей концепции. Если же мы попытаемся вычленить основной тезис этой мифической теории, то как в конце XIX в., так и в конце XX в. встретим одну и ту же тривиальную и никак не обоснованную формулировку: ученый мыслит понятиями, а художник – образами.

В начале XX в. неблагополучие всей проблемы образа нащупала формальная школа. Шкловский по сути предложил *вовсе отказаться от этого конструкта* [Шкловский 1919: 3–6]. Мировая наука охотно последовала его совету, что можно рассматривать как лучшее свидетельство отсутствия до последнего времени всякой теории образа. В свое время сильное впечатление произвел раздел "Поэзия без образов" замечательного доклада [Якобсон 1961; Якобсон 1983]. Предельно ограничена область употребления термина "образ" в наиболее популярной во всем мире "Теории литературы" Уэллека и Уоррена [Wellek, Warren 1977: 26; Уэллек, Уоррен 1978: 44]. Вовсе без конструкта "образ" обходится монументальный труд М.Р. Майсновой [Maycnowa 1974].

Советская теория литературы ставила художественный образ во главу угла; однако все читатели этой рецензии будучи студентами *сдавали соответствующие* экзамены и, вероятно, помнят, насколько бездоказательны заклинания соответствующих *пособий о том, что в художественном произведении* – все образ. Если пытливый студент не желал принимать этот постулат на веру, то найти какие-нибудь аргументы в его поддержку он не мог. Призыв Щербы ограничить это учение *о тотальной образности* [Щерба 1957: 32] прошел незамеченным.

Так что труд Н.В. Павлович в сущности впервые подверг строгой процедуре научного анализа несомненно значительную и несомненно не изученную проблему.

Центральным положением рецензируемой книги является совершенно новая мысль о том, что "понять образ означает узнать его парадигму" (с. 12). Как правило, каждый образ имеет в истории поэзии цепь аналогичных предшественников и преемников, и все вместе они образуют парадигму. "Чем *больше образов – членов* парадигмы – будет найдено, тем точнее удастся определить их инвариант" (с. 12).

Например, в XIX в. огонь со зверем соотнес Тютчев: *Словно красный зверь какой. Пробираясь меж кустами, Пробежит огонь живой!* Возможно, именно он положил начало парадигме ***огонь → зверь*** в новой русской поэзии. В XX в. этот образ продолжает жить в поэтическом языке: *И невиданным зверем багровым На равнинах шевелится пламя* (Н. Гумилев); *Как щенята из-под брюха суки, языки пламени жадно лизали и посасывали края железных крыш или неистовствовали, вырываясь наружу* (Б. Пастернак); *По сонному фасаду бесстыже, озорно, гориллой краснозадою извивается окно!* (А. Вознесенский, "Пожар в Архитектурном институте") и т.д.

Художественный образ интересует и лингвистов, и исследователей литературы. Пока только подчеркнуто лингвистический подход Н.В. Павлович позволяет поставить изучение этого явления на твердую почву.

Она формулирует много положений, столь же весомых, сколь и неожиданных, расширяя представления даже тех читателей, которые длительное время профессионально занимаются изучением поэзии. Например, как ответить на вопрос: "Каждый ли образ имеет парадигму?" (с. 54). Романтики *приучили нас ощущать* единственность, неповторимость почти любого явления поэзии. Обширный материал, собранный Н.В. Павлович, поз-

воляет ей утверждать, что изолированных образов нет, что любой образ входит в ту или иную парадигму. Если изысканный Набоков *арабески освещенных окон виллы* сравнил с *игральными картами*, то он только включился в парадигму образов, созданных Блоком, Маяковским, Тихоновым, Исаковским, Вознесенским, Бродским.

Столь же значимо положение, согласно которому каждая парадигма образов стремится быть обратимой, т.е. иметь зеркального двойника, у которого правый и левый члены те же, только поменялись местами. Импонирует осторожность, с которой формулирует свое наблюдение Н.В. Павлович: "стремится быть обратимой". Осторожность оправдывается, заметим, в частности хронологическими соображениями. Например, до Тютчева, у Пушкина нет образов, которые принадлежали бы к парадигме ***огонь → зверь***, упомянутой выше; но у него есть образы, входящие в парадигму ***зверь → огонь*** (*конь... скребет копытом, весь огонь* и др.).

Не менее значителен и закон амбивалентности парадигм, устанавливаемый автором рецензируемой книги: если в языке есть парадигма вида ***X → A***, то в языке есть и парадигма ***X → не-A*** (с. 95). Иными словами, если есть парадигма, в которой солнце соотносится с чем-либо положительным (*солнце радостное, светлое, веселое* и т.д.), то есть парадигма, в которой солнце соотносится с чем-либо отрицательным (*солнце печальное, черное, злобное* и т.д.).

Исследовательница отмечает, что один и тот же образ может принадлежать разным парадигмам (с. 223); иными словами, образ не всегда равен самому себе; в большой степени его семантика зависит от того, в какую парадигму он включен. Образ *опал луны* входит в единственную парадигму ***свет → драгоценное.*** Образ *мертвый опал луны* входит в предыдущую парадигму и одновременно в парадигму ***луна → неживой.*** Образ *луна холодеет мертвым опалом* входит в две парадигмы, указанные только что, и кроме того в парадигму ***луна → холодный.***

Легко заметить, что здесь к парадигматическому аспекту присоединяется синтагматический. Вопрос уже не только в том, какой образ из данной парадигмы выбирает автор, или какую парадигму из всех, имеющихся в его распоряжении, он выбирает, но и как он сочетает между собой единицы разных парадигм и разные парадигмы. В труде Н.В. Павлович во всей полноте и наглядности выступает и исследуется поэтическая функция языка как проекция оси выбора на ось сочетания, оси парадигматики на ось синтагматики.

Легко и естественно автор переходит от вопросов поэтического языка к поэтической речи. В приложении 5 приведены различные данные по образам Бунина, Исаковского, Твардовского, Вознесенского, Кушнера. Как они показательны! Один пример: самая продуктивная именная парадигма образов у Твардовского ***земля → человек;*** такая же у Кушнера – ***часть слова → часть мира.***

Таковы лишь немногие избранные особенности книги, которые мы имеем возможность отметить в рамках настоящей рецензии.

Из всей книги Н.В. Павлович у нас вызывает некоторое недоумение единственное обстоятельство – определение образа. Совершенно очевидно, что Н.В. Павлович исследует тропы в традиционном смысле этого термина, в европейской культуре идущем от Аристотеля, т.е. случаи, когда одно слово или выражение употребляется вместо другого слова или выражения или когда одно слово или выражение соотносится с другим словом и выражением. Она посвящает довольно большой абзац рассуждению о разнице между тропом в традиционном понимании и образом, как он понимается в ее книге (с. 20–21), но нам этот абзац не показался убедительным.

Вместо того, чтобы сказать о том, что она исследует образ на уровне тропа (что нам представлялось бы наиболее естественным), Н.В. Павлович выдвигает к образу следующее требование: соотносимое понятие (основание сопоставления, левый член) должно находиться с тем понятием, с которым оно соотносится (с образом сопоставления, правым членом) "в отношении противоречия с точки зрения нормативного общелитературного языка" (с. 13).

Чтобы это требование выглядело соблюдаемым, автору приходится понимать противоречие предельно широко, включая в него и контрадикторные, и контрарные, и субконтрарные отношения (с. 14). И все-таки в материале, которым оперирует исследовательница, и тем более в поэтическом языке имеется большое количество

образов, не отвечающих предъявленному правилу. Например, *луна* и *неживой* с точки зрения языка, с точки зрения логики ни в каком смысле не могут быть признаны находящимися в отношении противоположности. В логике понятия в таких парах называются несравнимыми. В стихе *Ребята, не Москва ль за нами?* понятие *Москва*, метонимически замещающее понятие *Россия*, находится с ним в отношении pars pro toto, но не в отношении противоположности.

Предоставляем наши сомнения на усмотрение автора и читателей; на этом критическая часть рецензии кончается. Следует сказать о перспективах, которые рецензируемый труд открывает.

Кроме основания сопоставления и образа сопоставления, в структуре образа и парадигмы присутствует еще один элемент – tertium comparationis, тот признак, по которому соотносятся левый и правый член образа и парадигмы. Скажем, в образе *опал луны* луна соотносится с опалом, как нам представляется, по трем признакам: по цвету, по форме и по ценности ее для носителя авторского сознания. Так вот изучение признаков сопоставления представляет, как нам кажется, заманчивую и многообещающую задачу.

В упомянутом выше высказывании Виноградов отмечает, что словесный образ "может состоять из слова, сочетания слов, из абзаца, главы литературного произведения и даже из цельного или целого литературного произведения" [Виноградов 1963: 119]. Область исследования Н.В. Павлович до сих пор – образы, состоящие из отдельного слова или сочетания слов. Заманчивой и необходимой представляется постановка вопроса о том, как от уровня слов и словосочетаний перейти к уровням сверхфразового единства, главы, целого произведения; говоря иными словами – как включить теорию парадигм образов в теорию текста. Для нас очевидны три вещи: 1) такой переход возможен, 2) он потребует модификации методики исследования, 3) работы в данном направлении последуют, как только труд Н.В. Павлович будет освоен филологами.

Н.В. Павлович подготовила "Словарь русских поэтических образов". Это замечательное пособие для изучения поэтического языка, истории поэзии, художественного мира отдельных авторов. Когда он попадет к нам в руки, мы будем удивляться, как это до сих пор умудрялись обходиться без него. Но хочется обратить внимание на то, что этот словарь только отчасти имеет прикладное значение. Это больше, чем справочник. Это воплощенная эпистемология поэтического языка. Он позволит понять природу и механизмы поэтического языка намного полнее и глубже, чем мы понимаем их сейчас. И он породит, конечно, новые работы, а, возможно, – целое направление.

Книга о парадигмах образов в русском поэтическом языке – ценное многоаспектное исследование актуальной проблемы, она открывает многообещающие перспективы в целом ряде филологических дисциплин.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Виноградов В.В. 1963 – Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963.

Уэллек Р., Уоррен О. 1978 – Теория литературы. М., 1978.

Шкловский В.В. 1919 – Потебня // Поэтика: Сборник по теории поэтического языка. Т. II. 1919.

Щерба Л.В. 1957 – Избранные работы по русскому языку. М., 1957.

Якобсон Р.О. 1961 – Поэзия грамматики и грамматика поэзии // Poetics. Poetyka. Поэтика. Warszawa, 1961.

Якобсон Р.О. 1983 – Поэзия грамматики и грамматика поэзии // Семиотика. М., 1983.

Mayenowa M.R. 1974 – Poetyka teoretyczna. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1974.

Wellek R., Warren A. 1977 – Theory of literature. N.Y.; L., 1977.

В.С. Баевский

CONTENTS

G.M. Hoenigswald (Philadelphia). Polysemy: the view of a historian; A. Timberlake (Berkely). To eat from the Tree of Knowledge and be filled with fear; variety in the development of accusative-genitive case (on V.B. Krys'ko's book "The development of animateness in the history of the Russian language"); V.B. Krys'ko (Moscow). Marginalia to "The Old Slavonic dictionary"; I.G. Ruzin (Moscow). Possibilities and limits of the conceptual explanation of language facts; A.N. Baranov, D.O. Dobrovol'skij (Moscow). Idiomaticity and idioms; H. Andersen (Los Angeles). A glimpse of the Homeland of the Slavs: Ecological and cultural change in prehistory; K.A. Pereverzev (Moscow). The semantics of causation on the background of lexical and propositional typology; B.Ya. Ostrovskij (Moscow). On the systematization of verbal categories (founded on the materials of the Dari language); **Reviews:** M.M. Makovskij (Moscow). *A.N. Baranov, D.O. Dobrovol'skij, M.N. Mixailov, P.B. Parshin, O.I. Romanova:* An Anglo-Russian dictionary on linguistics and semiotics: Baevskij V.S. (Smolensk). *N.V. Pavlovich.* The language of images: The paradigms of images in the Russian poetical language.

Технический редактор *О.Н. Никитина*

Сдано в набор 29.06.96 Подписано к печати 16.08.96 Формат бумаги $70\times100^{1}/_{16}$
Офсетная печать Усл.печ.л. 11,7 Усл.кр.-отт. 19,9 Уч.-изд.л. 14,1 Бум.л. 4,5
Тираж 1663 экз. Зак. 174

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка 18/2. Институт русского языка, телефон 201-74-42
Московская типография № 2 РАН, 121099 Москва, Г-99, Шубинский пер., 6

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1.Рукописи представляются в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке или на компьютере через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

3. Библиография в журнале оформляется следующим образом:

3.1. Список использованной литературы дается в конце статьи по алфавиту фамилий авторов и оформляется так:

– "Код работы" (фамилия и инициалы авторов, год выхода цитируемой работы), тире, название работы. В случае, если авторов больше двух, допустимо указывать только одного автора плюс выражения типа "и др." или "et al.".

– Если это монография, то после точки указываются место и год издания, например:
Успенский Б.А. 1994 – Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.

– Если это статья, то после двойного слэша (//) указывается журнал (допустимы при этом стандартные сокращения) или выходные данные сборника, например:
Трубецкой Н.С. 1990 – Общеславянский элемент в русской литературе // ВЯ. 1990. № 2, 3.

– Если это сборник или иное аналогичное издание, то "кодом" является одно из двух:

а) фамилия и инициалы редактора (или редакторов; допустимы сокращения как и в ссылке на авторскую работу, см. выше) с указанием "ред." (для других языков – ed., hrsg. и т.п.) и год;

б) сокращенное название и год.

В обоих последних случаях вслед за ключом после тире указывается полное название работы, а *после точки – место, запятая, год издания, например*:
Greenberg J. ed 1978 – Universals of human language. V. 1. Method and theory. Stanford (California), 1978.
Universals... 1978 – Universals of human language. V. 1. Method and theory. Stanford (California), 1978.

3.2. В тексте ссылки на литературу даются в квадратных скобках: фамилия (и инициалы автора, если это необходимо во избежание недоразумений), год публикации работы с указанием цитируемых страниц (если это существенно). Например [В.В. Иванов 1992: 34], [W. Jones, 1890]. Если в библиографии упоминаются несколько работ одного и того же автора и года, используются уточнения типа: [W. James 1890a]. Под этим же кодом упоминается данная работа в списке литературы.

3.3. Подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

4. Непринятые рукописи возвращаются по просьбе авторов.

5. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются.

6. Автором публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам не высылается.

Статьи, оформленные не в соответствии с указанными выше правилами, к рассмотрению в журнале "Вопросы языкознания" не принимаются.